

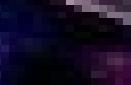
Платформа

Игровых

Симуляторов

Крейсера

Форум



Annotation

Роман «Крейсера» — о мужестве наших моряков в русско-японской войне 1904-1905 годов. Он был приурочен автором к трагической годовщине Цусимского сражения.

- [Валентин Пикуль](#)
 - [Часть первая. Устрашение](#)
 - [Часть вторая. Клещи](#)
-

Валентин Пикуль

Крейсера

*Светлой памяти ВИКТОРА, который мечтал о
море — и море забрало его у нас — НАВСЕГДА.*

Автор

Часть первая. Устрашение

Ржавое и уже перетруженное железо рельсов жестко и надсадно скрежетало под колесами сибирского экспресса...

— Не пора ли укладываться? Скоро приедем. Кипарисов разъезд ничего не дал для обозрения, кроме гигантских поленниц дров, заготовленных на зиму для жителей близкого города; за станцией Седанка, где уютно раскинулись дачи, за разъездом Первая Речка, где квартирует вечно голодная рота саперов и зашибают деньгу бывшие сахалинские каторжане, — за всем этим блаженством, далеко не райским, пассажирский состав, огибая берег Амурского залива, устремлялся дальше — к призрачному городу. Владивосток вырос на широтах Флоренции и Ниццы, но зимою бухта Золотой Рог сковывала в тисках ледостава русские крейсера, которые экономно подогревали свои ненасытные желудки-котлы дорогим английским углем кардифом...

Проводники уже обходили вагоны, собирая чаевые:

— Дамы и господа, спешить не стоит, потому как Россия кончается: далее ехать некуда. Рекомендуем гостиницы для приезжих: «Тихий океан», где ресторация с женским хором и тропическим садом, неплоха «Европейская» с цыганским пением, а в номерах Гамартели до утра играют на скрипках румыны...

Ну, кажется, мы приехали куда надо. Даже страшно вылезать из вагона, когда задумаешься, что здесь конец и начало великой России, а дальше океан вздымает серебристые волны. Чуточку задержимся на перроне, чтобы послушать разговоры прадедушек и прабабушек, заранее извинив их наивность:

— О, как мило, что вы нас встретили!

— Ждали, ждали... Что новенького в России?

— Да ничего. Наташа все-таки разводится с Володей.

— Кошмар! Такая была страсть, и вдруг... кто поверит?

— Сейчас, мадам, у Елисеева уже продают котлеты-консервы. Вскроешь банку — все готово. С ума можно сойти, как подумаешь, что мы станем лопать через сто лет.

— Петряев ничего больше не пишет?

— Где там писать! Уже посадили.

— Такой милый человек... за что?

— За политику. За что же еще людей сажают?

— Скажите, дает ли теперь концерты Рахманинов?

— Не знаю, душечка. Но мне показывали его жену. Плоская как доска.

Нет, не такая жена нужна великому Рахманинову.

— А как столичные газеты? Оживились?

— Да. Цензура везде вычеркивает слово «ананас».

— За что же такие репрессии против ананасов?

— Вы разве не слышали? Наш бедный Коля в тронной речи сказал: «А на нас господь возложил...» Это же нецензурно!

Кончалось лето 1903 года. Американцы недавно уокошили своего третьего президента, а из окон белградского дворца-конака сербы выкинули короля Обреновича с его дамою сердца — Драгою Машиной. После Гаагских конференций о всеобщем разоружении все страны начали срочно вооружаться. Россия с Японией вежливо раскланивались на дипломатических раутах, созванных по случаю очередного обмена мнениями по корейскому вопросу. Американцы тем временем спешно прокладывали в Сеуле водопровод и канализацию, желая соблазнить бедных корейцев удобством своих роскошных унитазов. Теодор Рузвельт, новый президент США, высказался, что в споре Токио с Петербургом американская сторона будет поддерживать японцев. Английские солдаты готовились штурмовать кручи Тибета, их канонерки сторожили устье Янцзы, из гаваней Вэйхайвэя британский флот вел наблюдение за русскою эскадрою в Порт-Артуре...

Пассажиры у вокзала нанимали извозчиков:

— Трудно поверить, что я на краю света. Это и есть Светланская? Значит, ваш Невский проспект... А куда теперь заворачиваем? На Алеутскую... боже, как это все романтично!

Владивосток терялся в гибких окраинах Гнилого Угла, там же протекала и речка Объяснений, где уединялись влюбленные, чтобы, отмахиваясь от жалящих слепней, объясняться в безумной страсти. Ярко-синие воды Золотого Рога и Босфора покачивали дремлющие крейсера; под их днищами танцевали стаи креветок, сочных и вкусных, проползали на глубине жирные ленивые камбалы, а сытые крабы шевелили громадными клешнями...

Владивосток — край света. Дальше ничего нету.

— И уже не будет, — утверждали обыватели.

Еще никто не помышлял о войне, и шесть нотных магазинов Владивостока имели богатый выбор для любителей музыки. Молоденъкий мичман Сережа Панафидин купил для своей виолончели «Листок из альбома» Брандукова, на Алеутской в магазине братьев Сенкевичей ему предложили «Souvenir de Spa» знаменитого Франсуа Серве (тоже для виолончели).

— Не пожалеете, — сказали братья, — ведь это лейпцигское издание старой фирмы Брейткопфов... Кстати, господин мичман, вы ведь, кажется, с крейсера «Богатырь»?

— Да, младший штурман. Почти целых полгода шли из Штеттина вокруг «шарика», пока не бросили якоря на рейде в Золотом Роге... стоим как раз напротив Гнилого Угла.

— Неужели плыли со своей виолончелью?

— Пришлось держать ее в платяном шкафу. Очень боялся не уберечь от сырости, особенно в Индийском океане.

— Вам бы надо бывать в доме доктора Парчевского.

— Простите, не извещен. Кто это?

— Ну как же! Известный доктор. Человек очень богатый. Принимает клиенток под вывеской на Алеутской. Сам-то Франц Осипович не играет, но у него по субботам собирается квинтет или квартет... Кто там? Почтовый чиновник Гусев — первая скрипка. Полковник Сергеев из интендантского управления, этот больше на альте. Бывает и молодежь.

— Благодарю, это интересно, — отвечал Панафидин.

— Заходите к нам. Премного обяжете... Мы давно ждем новых поступлений из московской фирмы Юргенсонов!

Нет, еще никто не думал о войне. В отряде крейсеров легкомысленно дурачились офицеры флота, словно одуревшие от вина и свободы, от скуки и бешеных денег. Однажды ночью они перевесили в городе вывески самых ответственных учреждений. В результате утром две роженицы с парохода, орущие благим матом, поступили на дом коменданта Владивостока, а приказы по гарнизону о неукоснительном отдании чести на улицах изучались хохочущими ординаторами в женской клинике...

Николай Карлович Рейценштейн, начальник отряда крейсеров, покончил с завтраком.

— Мичман Житецкий, — обратился он к адъютанту, — вы случайно не догадываетесь, кто сотворил все это?

Благообразный Игорь Житецкий сделал умное лицо:

— Доносчиком никогда не был. Но в ту ночь видели едущими в одной коляске мичмана Плавовского с «Рюрика» и мичмана Панафицина с

«Богатыря»... С ними была и госпожа Нинина-Петипа, в которой, по слухам, всякие черти водятся.

— Э-э-э, — ответил начальник. — Плазовский получил юридическое образование, и он должен бы знать, чем эта история пахнет. А госпожа Нинина-Петипа... неужели с чертями?

В канцелярии штаба отряда крейсеров зазвонил телефон.

— Николай Карлович, — спрашивал комендант, — вы отыскали виновных в своем разнузданном отряде?

— Конечно! Но доносчиком никогда не был. Если вам так уж прижгло, чтобы найти виноватых, считайте, что вывески перебазировал лично я... Можете сажать меня на гауптвахту. Что? Зачем сделано? Просто вспомнил свою безумную мичманскую младость... с чертями! Всего доброго. Честь имею.

Летом 1903 года жители Владивостока последний раз видели из окон своих квартир всю грозную броневую мощь Порт-Артурской эскадры — под флагом вице-адмирала Старка. Эскадру видели мы, русские, но за нею пристально следили японцы, жившие во Владивостоке; через оптические призмы дальномеров ее подвергли изучению офицеры британских крейсеров, поспешивших в Золотой Рог с «визитами вежливости». Наконец адмирал Старк отдал приказ — к походу, и, лениво пошевеливая винтами, словно жирные моржи окоченевшими ластами, тяжкие громады броненосцев России ушли зимовать в Порт-Артур, а на рейде Владивостока, внезапно опустевшем, остались осиротелые крейсера — «Россия» и «Громобой», «Богатырь» и «Рюрик». В отдалении от мыса Эгершельд подымливалась большая транспортная лохань — «Лена», акваторию гавани оживляли привычною суетой номерные миноносцы, служащие на побегушках, за что их называли не совсем-то уважительно «собачками».

Если матрос с крейсеров провинился, ему угрожали:

— Ты что, или на «собачку» захотел? Смотри, там соленой воды нахлебаешься, никакая медицина не откачет...

Но обычно на крейсерах разбирались «келейно», применяя краткий и общедоступный способ. Командир орал с мостика:

— Боцман, ну-ка! Вон тому, рыжему... дай «персика».

Следовал замах кулака, затем щелчок зубов: «персик» съеден. Давненько не было персиков в городской продаже, зато на крейсерах ими просто объедались. Рейценштейн рассуждал:

— Ну а как прикажете иначе? Ведь если эту сволочь не шпиовать, так она совсем взбесится...

Военный министр Куропаткин недавно вернулся из Японии; в своих бодрых отчетах он заверил правительство, что Япония к войне не готова, а русский Дальний Восток превращен в нерушимый Карфаген. Художник Верещагин был тогда во Владивостоке, собираясь навестить Японию. Он никому не давал никаких отчетов, но своей любимой жене в частном порядке сообщал: «По всем отзывам, у Японии и флот, и сухопутные войска очень хороши, так что она, в том нет сомнения, причинит нам немало зла... у них все готово для войны, тогда как у нас ничего готового, и все надобно везти из Петербурга...»

Из Петербурга везли! Да с такой разумной сноровкой, что эшелон боеприпасов для Владивостока пришел в Порт-Артур, и снаряды иного калибра не влезали в пушки; а эшелон для Порт-Артура прибыл во Владивосток, и, когда один бронебойный «засобачили» в орудие, то едва выбили его обратно.

— Во, зараза какая! — сатанели матросы. — Ну где же глаза-то были у этих сусликов из Питера?

Эскадра адмирала Старка, вернувшись в лоно Порт-Артура, перешла в «горячее» состояние, приравненная к боевой кампании; при этом портартурцы получали двойное жалованье и лучшее довольствие. Отряд крейсеров Владивостока оставили в «холодном» положении, что не нравилось их экипажам.

— Чем мы хуже? — говорили на крейсерах.

Был день как день. К осени чуточку похолодало.

Сергей Николаевич Панафидин заглянул в «Шато-де-Флер», где по вечерам бушевало кабаре с шансонетками, а с утра кафешантан превращался в унылую харчевню с китайскою прислугою в белоснежных фраках. В зале было еще пусто.

— Народы мира! — позвал мичман, щелкая на пальцах. Моментально выросла фигура официанта Ван-Сю, на пуговицах его фрака было вырезано по-французски: *bonjour*.

— Чего капитана хотела? Капитана говоли.

— Сообрази сам... на рупь с мелочью. Без вина!

Ван-Сю отправился за лососиной в майонезе. В ожидании скромного блюда мичман со вздохом, почти страдальческим, развернул гектографированные лекции по грамматике японского языка. С большим

усилием он повторил сакримальную фразу, над произношением которой настрадался еще вчера:

— Ватаси-ва камэ-но арика-о тадзунэгао-ни вадзавадзе тан-су-но хо-э итта митари... Боже, как это просто по-русски: я делаю вид, будто ищу то место, куда спряталась черепаха.

Он услышал за спиной шорох дамских одежд и, как предупредительный кавалер, даже не обернувшись, заранее привстал со стула. Перед ним стояла местная «дива» — Мария Мариусовна Нинина-Петипа, державшая во Владивостоке театральную антрепризу. Прижившись в этих краях, гордая своей знаменитой фамилией, она обожала офицеров с крейсеров.

— Сережа, слышали, что стряслось в Чикаго?

— Да нет, мадам. А что?

— Пожар! Страшный пожар... такие жертвы!

— Не удивлен: Чикаго горел уже не раз. Американцы, как и дети, никогда не умели обращаться со спичками.

— Однако, — сказала Мария Мариусовна, — на этот раз дотла сгорел грандиозный театр «Ирокез». Все выходы публика заполнила столь плотно, что люди бежали по головам. Прыгали из окон. Даже с крыши. Теперь разбирают обгорелые трупы.

Петипа добавила, что из Петербурга поступило грозное предупреждение антрепренерам — срочно проверить противопожарные средства, быть бдительными с огнем.

— Теперь я в прострации! Знаете, как бывает на Руси: стоит поберечься от пожара, как пожар сразу и начинается. — Она склонилась над столом, разглядывая размытые строчки лекций. — Слушайте, милый Сережа, что за белиберду вы читаете?

— Винительный падеж при имени существительном в японском языке, — сознался мичман, покраснев так, будто ляпнул какую-то глупость. — Прошу, не презирайте меня...

Петипа величаво удалилась, а мичман разделил свое внимание между лососиной и той японской черепахой, которую следовало искать под комодом. Потом отправился на Пушкинскую, где гордо высилось здание Восточного института. Он догадывался, что его ждет: профессор Недошивин давно обеспокоен его отставанием в учебе. В раздевалке мичману встретился сокурсник — молодой иеромонах с крейсера «Рюрик», Алексей Конечников, якут по происхождению, одетый в монашескую рясу.

— Привет! — сказал он дружески. — Сергей Николаевич, я слышал, у вас какие-то нелады с командиром «Богатыря»?

— От кого слышали, отец Алексей?

— От мичмана Плазовского... он ваш кузен?

— Да, кузен. А капитан первого ранга Стемман невзлюбил меня еще с того времени, когда «Богатырь» околачивался в Свюнемунде. Накануне он велел покидать за борт все гармошки и балалайки матросов, а тут в панораме его прицела появляюсь и я — с громадным футляром виолончели...

На круглом и плоском лице якута раскосые глаза светились усмешкою человека, знающего себе цену. Он был умен.

— Сознайтесь, вы уже играли у Парчевских?

— Играл. Благопристойная семья. Хороший дом. К субботе я должен блеснуть в Боккерини своим пиццикато.

— Вы поосторожнее с этим квартетом...

— А что?

— В городе ходят слухи, что для доктора Парчевского все эти музыкальные вечера — лишь удобная приманка для улавливания выгодных женихов для его балованной дочери.

— Боюсь, что это сплетня. Вия Францевна — чистое воздушное созданье, и она вся светится, как волшебный фонарь.

— Чувствую, вас уже накренило... Красивая?

— Как сказать. Наверное. Если девушка надевает шляпу, не глядя в зеркало, значит, убеждена в своей красоте. И что ей я? Всего лишь мичман. Да тут, во Владивостоке, плюнь хоть в кошку, а попадешь в мичмана... Ну, я спешу, — заторопился Панафидин, — профессор Недошивин просил не опаздывать.

— С богом, — благословил его крейсерский поп...

...Судьба этого якута необычна. Рожденный в убогом улусе, где табачная жвачка во рту и тепло дымного очага были главными радостями жизни, он стал послушником в Спасо-Якутской обители. Подросток жаждал знаний, а монастырь давал обеспеченный покой, сытную трапезу и доступ к книгам. Самоучкой он освоил английский язык, что казалось тогда невероятным подвигом. Слава о таежном самородке дошла до властей духовных. Конечникова вызвали в консисторию: «С флота поступил запрос — требуются грамотные священники для кораблей со знанием английского языка. Пойдешь?..» Так он, иеромонах, сделался священником крейсера «Рюрик», а теперь в институте поглощал грамматику и фонетику японского языка. В лице якута было что-то неуловимое для европейцев, понятное лишь азиатам. Японский консул Каваками однажды здорово ошибся, приняв его за японца с острова Хоккайдо. Включенный в боевое

расписание, отец Алексей («отцу» было тогда 33 года) должен был помогать врачам при операциях, провожать на тот свет умерших или погибших. Он не слишком-то церемонился со своей буйной паствой:

— Вы бы хоть лбы перекрестили! С утра одни матюги слышу...

В марте 1903 года маркиз Ито, министр иностранных дел Японии, произнес речь на собрании грозной партии «Сэйюкай»:

— Великая Сибирская железная дорога, соединяющая Крайний Восток с Крайним Западом, уже почти закончена русскими, и разделявшее их расстояние может быть преодолено теперь в какие-то две недели... Подобное сокращение расстояния требует от японцев самого серьезного внимания. Улучшением путей сообщения Россия производит полную революцию в положении народов (читай: русского и японского). Приведу пример: десять лет назад ни одна западная держава еще не могла и подумать о посыпке на Дальний Восток стотысячной армии... Теперь это стало возможно! Буря, — заключил маркиз Ито, — может разразиться в любую минуту. Вот что отнимает у меня покой...

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) возникла из стратегических соображений. КВЖД являлась логическим завершением Великого Сибирского пути; это не просто рельсы, протянутые в сторону Порт-Артура и Дальнего, — это скорее центральная платформа русско-китайского альянса, обогащенная двумя важными факторами. Фактор первый: там, где раньше ядовито полыхали опийно-маковые плантации, быстро возник торговый город Харбин. Фактор второй: Владивосток обзавелся Восточным институтом, ставшим научным придатком КВЖД и всей той запутанной политики, которая возникла на отдаленных рубежах нашего государства.

Восточный институт готовил не только переводчиков, он выпускал толковых администраторов, негоциантов, товароведов и даже счетоводов, приспособленных действовать в азиатских условиях. Выбор языков был обширен: китайский, японский, корейский, монгольский, наречья маньчжурские — и обязательное знание английского. Учили крепко: помимо языков давали политэкономию, историю религий Азии, этнографию, новейшую историю стран Дальнего Востока. Понятно, почему аудитории института заполнили офицеры, армейские и флотские. Если бородатые штабс-капитаны, уже обремененные семьями и невзгодами

жизни в захудальных гарнизонах, мечтали о льготах, положенных им, как студентам, тешаили себя надеждами на прибавку к скучному жалованью, то молодежь стремилась в институт по иным причинам. Подпоручикам и мичманам требовалось заполнить опасный вакуум, который невольно возникал в свободное от службы время... Они рассуждали примерно так:

— Не мотать же юность по шантанам! А тут, глядишь, годы пролетят, язык знаешь, диплом в кармане. Как говорят бабки в народе, наука на вороту не виснет. В жизни все пригодится...

К числу таких юнцов, мысливших здраво, принадлежал и мичман Панафидин. В кабинете директора он ожидал сегодня хорошего нагоняя, и профессор Недошивин, правда, щадить его не стал.

К сожалению, как выяснилось из неприятного разговора, он оказался давним партнером каперанга Стеммана по игре в бридж и потому хорошо разбирался в обстановке на крейсерах.

— Не советую, господин мичман, ссыльаться на занятость службою. Вы ведь еще не стали вахтенным начальником «Богатыря», вы — по юности лет — пока числитесь лишь вахтенным офицером. И мне известно, где вы бываете по субботам...

(«Где я бываю по субботам... Неужели известно?»)

— Да, — продолжал Недошивин, — мне ваша история с виолончелью знакома... от Александра Федоровича Стеммана. Если бы вы меньше пиликали в доме Парчевского, у вас больше бы оставалось времени для серьезных занятий в институте.

(«Боже, и Парчевские... все знают», — думал мичман.) Недошивин встал из-за стола, педантично передвинув от края китайского бокса здоровья и житейского благополучия.

— К февральской репетиции вы сдадите все экзамены, чтобы впредь я неставил вас, офицера, в неловкое положение...

«Репетициями» назывались годовые экзамены; их было три — осенняя, февральская и мартовская. Внизу у института мичмана поджидал рюриковский священник — якут Алексей:

— Ну как? Дым с копотью? Или обошлось?

— Договорились на февраль. Как-нибудь выкручуясь.

Конечников предложил взять коляску до пристани, чтобы к четырем часам поспеть на катер с крейсеров. Но Панафидин сказал, что до «Богатыря» доберется вечерним катером:

— У меня еще дело, отец Алексей, в штабе бригады... Даниилу Плазовскому, ему одному, можете по секрету сказать, что я уже подал рапорт о списании меня с «Богатыря».

— О списании... куда же, мичман?
— На ваш «Рюрик»...

Сначала Панафидин повидал в канцелярии штаба своего однокашника по Морскому корпусу — тоже мичмана Игоря Житецкого, занятого активным подшиванием входящих-исходящих. Каждый человек на Руси — кузнец своего счастья, и каждый кузнец выковывает свое счастье как умеет. Житецкий еще гардемарином облюбовал свою карьеру в голубых снах — службою на берегу, подальше от кораблей и поближе к начальству, без качки и блевотины по углам, без кошмарных аварий иочных передряг на мостиках.

— Ну что? — спросил он Панафицина, точным жестом проставляя синий штемпель на казенную бумагу: «Секретно». Мичман завел речь о своем рапорте...

— Знаю, — перебил его Житецкий. — Твой рапорт у Рейценштейна...
Значит, решил идти на таран?

— Выхода нет: Стемман меня ест живьем.

С рейда четырежды пробили склянки: смена вахт!

— Не думай, Сережа, что на «Рюрике» тебе будет легче...

Но корпоративная солидарность со времен учебы еще оставалась в силе между бывшими гардемаринами, и потому Житецкий преподал Панафидину краткий урок о том, как правильнее вести себя с Рейценштейном:

— Поменьше лирики. В разговоре следи за его левым глазом. Как только он начнет его задраивать, словно иллюминатор перед штурмом, ты сразу снимайся с якоря... Полный ход!

Рейценштейн сидел за столом — лысый, а бородища лопатой, как у Кузьмы Минина. Бахрома эполет, почерневшая от морской сырости, свисала с его дряблых плеч, как подтальные сосульки с перегретой крыши. Дело прошлое, но приличное жалованьеочно припаяло Николая Карловича к этим проклятым крейсерам, и если бы не эти проклятые деньги, то он давно бы плонул на всю поганую экзотику дальневосточных окраин...

Разговор он начал сам — с вопроса:

— Так куда мне вас... на «собачку»? Как раз вчера врачи выписали мичману Глазенапу с миноносца № 207 очки такой диоптрии, что он...

Э-э-э... ни хрена не видит.

Панафидин объяснил причины своей просьбы:

— Мой дед плавал еще под парусами на клипере «Рюрик», мой родитель служил на паровом фрегате «Рюрик». Традиции семьи обязывают меня служить под флагом того корабля, который развевался и над головами моих прапорщиков. Не так ли?

Это была лирика, от которой Житецкий предостерегал. Но левый глаз адмирала был широко распялен, внушая доверие.

— Похвально, мичман... э-э-э, даже очень. Но я, — продолжал он, экая дальше, — могу пойти навстречу вашим желаниям лишь в том случае, если вы честно доложите мне о своих несогласиях с Александром Федоровичем Стемманом.

— Он требует, чтобы я оставил виолончель на берегу. Но, посудите сами, где же оставить? Не на вокзале же в камере хранения. Он этого не понимает. Между тем инструмент очень ценный. Проверьте, это так... Когда я посещал классы консерватории, профессор Вержболович обнаружил, что моя виолончель работы Джузеппе Гварнери. Это подтвердил и Брандуков...

Веко на глазу Рейценштейна слабо дрогнуло.

— Стемман прав! Любые дрова на боевом крейсере опасны в пожарном отношении. Наконец, у вас на «Богатыре» полно клопов, которые из вашей виолончели могут устроить для себя великолепный разбойничий притон... Откуда у вас «гварнери», мичман?

— Наследство из семьи адмирала Пещурова.

— Его дочь, случайно, не жена адмирала Керна?

— Так точно. Софья Алексеевна.

— Э-э-э...

И тут мичман заметил, что Рейценштейн начал задраивать один глаз. Только не левый, а правый (о чем Житецкий не предупреждал). Как быть в этом случае? Панафидин решил, что сигнал о близости шторма к нему не относится.

— Почему вы не любите своего командира?

— Александр Федорович сам не любит меня.

— А зачем ему любить офицера с музыкальным образованием? Ему нужна служба! Если каждый мичманец будет выбирать себе корабли по мотивам, далеким от служебного рвения, во что же тогда превратится флот нашего государя императора... А?

Все ясно. В канцелярии Житецкий каллиграфическим почерком перебеливал казенное «отношение» и по одному лишь виду своего однокашника догадался о печальной судьбе его рапорта.

— Ну и что? — браво сказал он Панафидину. — Ты бы знал, сколько я набегался, пока не заслужил права сидеть за вот этим столом... Хоть бы войны поскорее! — произнес Житецкий.

— Какая война? Ты почитай газеты. Сейчас в Петербурге все наши дипломаты вспотели, борясь за мир с Японией.

— Так дипломатам за эту борьбу и платят больше, чем Ивану Поддубному. А нам, офицерам, возражать против войны — все равно что жарить курицу, несущую для нас золотые яйца...

Белые крейсера неясно брезжили в сиреневых сумерках. Корабли, как заядлые сплетники, переговаривались меж собою короткими и долгими проблесками сигнальных прожекторов. Стерильно-праздничная окраска крейсеров заставила Панафицина вспомнить визит англичан — у них крейсера были грязно-серые, даже запущенные, но зато в отдалении они сливались с морским горизонтом. Поговаривали, что адмирал Хэйхатиро Того уже начал перекрашивать японские корабли в такой же цвет... Зябко вздрогнув, мичман Панафидин толкнул двери ресторана, который к вечеру наполнялся разгульным шумом. Рослая певичка с припудренным синяком под глазом уже репетировала из ночного репертуара:

Папа любит маму.
Мама любит папу.
Папа любит реддерер.
Мама любит гренадер.

Панафидин поманил к себе китайца Ван-Сю:

— Рюмку шартреза. Полную. И поскорее.

Выпив ликер, прошел в швейцарскую — к телефону:

— Барышня, пожалуйста, номер триста двадцать восьмой, квартиру доктора Парчевского... статского советника.

— Соединяю, — ответила телефонистка на станции.

Зажмурившись от удовольствия, мичман ясно представлял себе, как сейчас в обширной квартире — одна за другой — разлетаются белые двери комнат, через анфиладу которых спешит на звонок телефона... она! Хищные черные драконы на полах желтого японского халата движутся вместе с нею, ожившие, страшные, почти безобразные, и от этого пленительного ужаса она еще слаще, еще недоступнее, еще желаннее.

— У аппарата Вия, — прозвучало в трубке телефона.

Много ли слов, но даже от них можно сойти с ума! Потрясенный, мичман молчал, и тогда Виечка пококетничала:

— Кто это... Жорж? Ах, ну перестаньте же, наконец. Я узнала: это вы, лейтенант Пелль? Хватит меня разыгрывать. Я догадалась — мичман Игорь Житецкий... вы?

Панафидин повесил трубку на рычаг. Среди множества имен своих поклонников божественная Виечка не назвала только его имени... Ну ладно. В субботу он снова ее увидит.

Он покорит ее своим удивительным пицциато!

Как ни странно,ссор среди офицеров,личных или политических,на кораблях почти не возникало: кают-компания с ее бытом,сложившимся на основе вековых традиций,сама по себе нивелировала расхождения и привычки людей с различными взглядами,чинами и возрастом. Офицеры с высшим положением подвергались всеобщей обструкции,если осмеливались заявлять претензии на свое превосходство перед младшими.

Здесь один старший человек — это старший офицер!

Навещая на «Рюрике» кузена Даниила Плазовского,бывая для обмена лекциями у священника «Рюрика», мичман Панафидин давно стал своим человеком в рюриковской кают-компании, которую украшала громадная клетка для птиц, собранных в одну певчую семью. Старшим офицером «Рюрика» был Николай Николаевич Хлодовский. В этом лейтенанте с пушкинскими бакенбардами многое казалось загадочным. Хлодовский не был еще здоров после дуэли из-за одной вдовы... Своему сородичу Панафидин сказал:

— Наверное, он и застрял в чине лейтенанта из-за этой дуэли. Как ты думаешь, Даня?

Плазовский покручивал в пальцах шнурок пенсне.

— Нет. Николай Николаевич... ссылочный! Не понял? Ну, есть же люди, которыхсылают на Сахалинили в морозы Якутии, а Хлодовского сослали на крейсера Владивостока.

— Господи, да за что?

— Ему бы следовало сидеть в кабинете Адмиралтейства, размышляя о судьбах флотов, а его держат на «Рюрике», чтобы не мешал завистникам думать не так, как думают они. Это прирожденный теоретик эскадренного боя, который через некоторое количество лет мог бы заменить нам Степана Осиповича Макарова... Ты присмотрись к нему — это трагическая личность!

— Неужели?

— Да, да. Именно трагическая...

Тогда на крейсерах еще не знали, что смолоду Хлодовский был замешан в революционной агитации, его юность была связана дружбою с юностью лейтенанта П. П. Шмидта. Но при этом Николай Николаевич оставался большим поклонником Екатерины II:

— Если бы мне сказали, кого я хочу воскресить Из царства мертвых, я бы поднял из гроба Екатерину Великую, при которой русский флот являлся важнейшим инструментом международной политики. Эта дама, да простим ей женские грехи, понимала значение кораблей, как хирург понимает значение скальпеля. К сожалению, сейчас наш флот выродился в погоне за чистотой и казарменной дисциплиной...

Хлодовский доказывал в верхах несовершенство тактики эскадренного боя, сам был автором новой тактики, читал в Петербурге публичные лекции, писал брошюры, нервничал от непонимания, но все... как горохом об стенку! Хлодовского затирали. Кафедра военно-морских наук в академии отвергала его прогнозы. Из теоретика войны на море его умышленно превратили в практика корабельной службы. Панафидину не забылось, как однажды мичман Щепотьев высказался перед собранием офицеров, что «техника ни при чем, а войну выигрывают люди!».

— Простите, — ответил ему Хлодовский, — если у японцев машины крейсеров лучше наших, то мои кочегары, будь они хоть золотыми, все равно не выжмут тех узлов, какие нужны для победы. В современной войне на море многое зависит именно от брони и калибра, даже от качества топлива...

Конечно, Николай Николаевич давно заметил «богатырского» мичмана, частенько сидевшего за его столом. Однажды он сам остановил Панафидина на палубе «Рюрика», которая всегда поражала своей пустынностью — хоть в футбол тут играй:

— Видите? Вся артиллерия упрятана в бортовых казематах, как во времена Нельсона и Ушакова... Броня слабенькая. Руки в железных перчатках, а тело осталось голое. Вы, — неожиданно спросил Хлодовский, — хотите, я слышал, променять новейший «Богатырь» на наш маститый «Рюрик».

Панафин разъяснил отношения со Стемманом.

— Напрасно! — отвечал Хлодовский. — Александр Федорович хороший и знающий офицер. Жаль, что вы с ним не ладите.

Опечаленный, мичман возвращался на свой «Богатырь», но хотел бы остаться на «Рюрике»... Ему взгрустнулось:

— Ах, крейсера, крейсера! И кто вас выдумал?

Посмотришь на них снаружи — все строгое, неприступное, холодное, что-то даже зловещее. И кажется, что люди там всегда в синяках от постоянных ударов локтями и коленками о железные углы и выступы брони — острые, как лезвия топоров. Но спустись вниз, и тебя ласково охватит уютное тепло человеческого жилья, удивит обилие света, убаюкает почти музыкальное пение моторов и элеваторов, ты научишься засыпать под бойкую стукотню люков и трапов, и в тревоге проснешься от внезапной тишины, ибо тишина кораблям не свойственна...

Крейсера переняли свое название от немецкого слова «крейц» (крест); их задача — перекрещивать курсами обширные водные пространства, выслеживая добычу. По сути дела, это — лихие партизаны морской войны, созданные для того, чтобы вносить панику и смятение в глубоких тылах противника. За счет ослабления бортовой брони крейсера России обладали неповторимой для других флотов мира способностью надолго отрываться от своих берегов, не зная усталости, не ведая трагического истощения бункеров, погребов и провизионок...

На рождение «Рюрика» королевская Англия нервно реагировала спешною закладкой своих крейсеров типа «Поверфул», резко усилив их скорость, броневой пояс и артиллерию. Это был своего рода политический демарш Уайтхолла, вызванный усилением России на океанских коммуникациях. Впрочем, английские эксперты вскоре успокоились сами, а заодно они успокоили и своих союзников — японских адмиралов:

— Мы напрасно пороли горячку с закладкою «Поверфула». Достаточно нескольких попаданий в батарейную палубу «Рюрика», и смерч разящих осколков выкосит половину орудийной прислуги. Ненадежность искусственной тяги в котлах заставила русских ставить на своих крейсерах по три и даже по четыре дымовые трубы. При хороших попаданиях трубы полетят к чертям, скорость крейсеров резко снизится, они станут беззащитными мишенями...

«Рюрик» родился в 1892 году, и в молодости он считался лучшим крейсером мира. Но годы и бешеная гонка вооружений капиталистических государств взяли свое, в борьбу с новейшими крейсерами новой эпохи он вступал уже ослабленным, устаревшим. Но именно он, когда-то гордый красавец, сохранился для нас,увековеченный даже на страницах новейших

энциклопедий. А такая честь оказана не всем кораблям.

Биография «Рюрика» еще не была написана...

Солнечный свет ярко дробился в его иллюминаторах, и, радуясь теплу и свету, птицы оглашали крейсер своим пением.

«Богатырь» обзавелся иной живностью. От немцев в Штеттине ему достались клопы, а в Сингапуре при погрузке австралийских углей крейсер приобрел клубки ядовитых змей, которых кочегары убивали потом в бункерах горячим паром высокого давления.

Среди четырех крейсеров Владивостока «Богатырь» был самым молодым, его борта были обшиты никелевой сталью. 24 орудия и 6 минных аппаратов делали из него могучий кулак, способный разрушить любое сопротивление противника. Каперанг Стемман мог гордиться, что ему доверена такая грозная боевая машина...

— Катер у трапа! — доложили ему.

Описав дугу по вечернему рейду, катер доставил Александра Федоровича под трап левого борта «Рюрика»; при его появлении горнисты, вскинув трубы к темнеющим небесам, исполнили сигнал «захождения», а барабанщики отбили нервную «дробь».

Стеммана приветствовал вахтенный начальник:

— Честь имею, мичман Плазовский! Евгений Александрович у себя в салоне, и он изволит ожидать вас...

Капитан 1-го ранга Трусов, командир «Рюрика», принял командаира «Богатыря» по-приятельски; будучи при мундире, он позволил своим ногам отдыхать в домашних шлепанцах.

— Здравствуй, Саня, садись. Может, выпьем?

— Не откажусь... Слушай, Женя, что это за странный у тебя мичман, принявший меня у трапа? На груди у него сиамский орден «Белого Слона» и какой-то академический значок.

— Это значок Училища правоведения. Плазовскому прочили блестательную карьеру по министерству юстиции, но он экстерном сдал экзамены в Морском корпусе, и вот... Как видишь, даже на сиамского короля он произвел впечатление своим интеллектом и пенсне со шнурком, как у чеховского героя.

На столе появилось виски с японской этикеткой.

— Кстати, Даниил Антонович Плазовский — кузен твоего мичмана

Панафицина, который уже был у Рейценштейна с рапортом о списании его с «Богатыря»... ко мне, на «Рюрик»!

Стемману было неприятно это известие:

— Мне он надоел со своей музыкой. Думаю, одного рояля в кают-компании вполне достаточно для исполнения гимна. Наконец, для команды я купил граммофон, не пожалев своих денег. Одна пластинка из американского каучука — полтора рублика...

Трусов всадил штопор в пробку японской бутыли.

— Прости, Саня, — сказал он Стемману. — Но мне кажется, что в основе вашего конфликта заложена сословная рознь. Панафицин из старой дворянской семьи, а ты... кто ты? Сын ветеринара из Кронштадта, который всю жизнь ставил клизмы стареющим болонкам адмиральских вдов. Эти-то вдовы и составили тебе могучую протекцию для поступления в Морской корпус его величества.

Трусов не хотел этого, но невольно задел больную струну в душе Стеммана, который с большим трудом все же проник в элиту флотского общества и теперь ожидал эполеты адмирала.

— Ах, Женя! — поморщился он. — Ну при чем здесь дворяне, при чем тут разночинцы? Мы живем в такое время, когда все сословия империи уравниваются их служебным положением...

Трусов, человек деликатный, не стал хвастать, что его прапур, некий Матвей Трус, занесен в «Бархатную Книгу», и глупо было бы требовать от Стеммана справки из «Готтского Альманаха». Он с улыбкою наклонил бутылку над бокалами:

— Я все-таки позову своего старшего. Николай Николаевич умнее нас с тобою и следит за политикой, аки бабка за капризным дитятей. Пусть он просветит нас, грешных...

Хлодовский явился в салоне. Мимо крейсера проходил номерной миноносец и, разведя крутую волну, сильно раскачал все 12000 тонн броненосного крейсера «Рюрик».

— Как ваше здоровье? — спросил Стемман. — Как дела?

Хлодовский цепкоставил ноги по шаткой палубе.

— Ничего. Спасибо. Паршиво. Пулю из меня вынули.

— Как же вы, Николай Николаич, человек передовых взглядов, и вдруг решились драться на дуэли из-за женщины?

— Видите ли, российское законодательство, столь могучее при охране имущества, оказывается бессильно, когда задета честь человека. В таком случае один выход — стать к барьери... Я согласен, — продолжал Хлодовский, — что указ императора, вменяющий дуэли в обязанности

офицерской службы, напоминает фальшивую монету, изготовленную в преступном мире. Но согласитесь, что иногда даже честные люди бывают вынуждены пользоваться фальшивой монетой, коли она попала им в руки.

Затем лейтенант поведал, что журнал «Морской сборник» недавно опубликовал его последнюю работу:

— ...Но конец ее безжалостно ампутировали. А в конце-то я сказал основное: нельзя держать главные силы Тихого океана в мышеловке Порт-Артура, где адмирал Того может запечатать эскадру Старка... Вот! — И Хлодовский постучал пальцами по японской этикетке. — Новая марка виски называется «банзай». Не странно ли, что самураи, всегда очень осторожные, назвали свой алкоголь воплем своего грядущего торжества?

Мимо промчался куда-то еще один миноносец, и Трусов — при качке — успел перехватить падающую бутыль:

— Носятся как угорелые, только уголь пережигают...

Стемман закусил виски арахисовым орешком:

— Ну а Китай? Чего нам ждать от Пекина?

— Ничего не ждать, — отвечал Хлодовский. — Старая карга, императрица Цыси, помалкивает выжиная. Но в будущем, я уверен, Япония повесится на кишках Китая.

— А что в Сеуле? — любопытствовал Трусов.

— Американцы изо всех сил стараются выжить из Кореи японцев. Теперь они взялись наладить в Сеуле трамвайное движение. Корейца на трамвай и редискою не заманишь, так эти янки в конце трамвайного маршрута дают пассажирам бесплатные аттракционы с канатными плясунами. А кто проехал маршрут дважды, тому в конце пути показывают фильму из жизни техасских ковбоев...

— Ну и чем вся эта возня кончится?

— Три трамвая корейцы уже сожгли. Не без помощи самураев, которым невыгодно влияние Америки в делах Востока...

Александр Федорович Стемман глянул на часы:

— Ну ладно. Жена-то, наверное, заждалась...

Катер доставил его на городскую пристань, дома его встретила супруга с билетами в театр. Переодеваясь, Стемман украсил себя орденами: румынским — Железного Креста, прусским — Красного Орла, французским — Почетного легиона, японским — Священного Сокровища. Из русских орденов он имел только Станислава и Владимира с мечами. Жена помогла ему вдеть хрустальные запонки в гремящие от крахмала манжеты.

— Знаешь, Любочка, — сказал он ей между прочим, — этот негодяй

Панафидин все-таки был у Рейценштейна... наверное, плакался! Случись война, я выкину его виолончель за борт сразу же и буду прав. По уставу все деревянные вещи на кораблях во время боевых действий должны быть уничтожены...

Стемман ожидал войны с Японией, он даже хотел ее, чтобы оснастить свои плечи эполетами контр-адмирала.

Из своей каюты Панафидин выглянул в коридор.

— А что, братцы, нет командира? — спросил вестовых.

— Никак нет, ваше благородие. На берегу ночуют.

— Слава богу! Хоть сыграть можно...

Сергей Николаевич вышел из мелкопоместных дворян, могилы которых затерялись на кладбищах Кронштадта, на бедных погостах тверских деревушек. Со времен Петра I служба на флоте стала для Панафиных наследственной, редко кто изменял кораблям. В паузах между плаваниями женились, производили потомков, которых и покидали еще в колыбелях — ради новых путешествий. В роду Панафиных давно выявилась склонность к литературе (но, кажется, никто из них не грешил музыкой). Виолончель работы Джузеппе Гварнери, эта случайная находка в кладовке, поставила мальчика на развилке двух дорог, между двумя бурными стихиями...

Вестовой Гаврюшка постучал в двери каюты:

— Извиняйте. Я вам чайку принес.

— Спасибо, братец. Поставь.

— А можно послушать, как вы играете?

— Конечно. Буду рад. Слушайте...

Сомнения подростка разрешила бабушка, сложившая за божницу две записочки. На одной было начертано «консерватория», на другой — «морской корпус». Отмолившись святым угодникам, бабушка вытащила наугад ту из них, которая и привела ее внука в каюту крейсера «Богатырь». В дверях каюты, нарочно приоткрытых вестовым, стояли безмолвные матросы.

— Нравится? — спросил их Панафидин.

— Очень. А мы вам не мешаем?

— Да нет. Сен-Сане... как не нравиться?

Будучи гардемарином, Панафидин посещал классы при столичной

консерватории и на всю жизнь сохранил похвалу профессора Вержболовича: «Вы сильны в смычке, у вас хорошая фразировка. Нет, конечно, еще виртуозности, но в пассажах вы... ничего, ничего!» Инструмент и правда был по-старинному благороден. Волнистые «эфы» (прорези FF в теле виолончели) хорошо резонировали звучание. И было даже стыдно держать инструмент в платяном шкафу, будто украл его, а теперь надо прятать... Под музыку вспоминалась дедовская усадьба, старые портреты на стенах, родня и соседи, средь которых еще не угасла память о Пушкине. Иногда мичману было даже неловко: пушкинисты писали о Вульфах, Кернах, Пещуровых, Жандрах и Вельяшевых, а для мичмана это была просто родня, просто соседи, жившие на древней тверской земле...

Матросы дослушали его игру до конца.

— Премного благодарны, — сказал один из них. — Сами знаете, от такой жисти, как наша, иногда и опупнуть можно. А вот как послушаешь музыку, так оно и легче... Спасибо!

Они тихо прикрыли двери, а мичман уложил виолончель в удобное ложе из голубого бархата. Перед сном лениво просмотрел газеты. Будет война или нет? Наверное, все-таки не будет, потому что граф Кейзерлинг, хозяин китобойной флотилии, перенес своюkontору из Владивостока в Нагасаки.

— Спать, — сказал себе мичман. — Лучше спать...

Уснул в надеждах, что до субботы ожидать недолго.

(Знаменитый виолончелист Пабло Казальс гастролировал тогда в России; он писал, что молодые русские люди «жаждали трудиться для своего народа, открыть ему новые горизонты, и в то же время терзались от сознания собственного бессилия. Многие из них увлекались музыкой, искали в ней какой-то компенсации, какого-то утешения. Когда грянула революция 1917 года, я этому нисколько не удивился...».)

Выпускников курса гардемаринов, в котором числился и Панафидин, император Николай II проводил унылым напутствием: «Многие из вас уходят с кораблями на Дальний Восток, и один бог знает, что вас ждет там...» Между тем уже в Штеттине поговаривали на верфях, что адмирал Того выбрал для своего флота из английских проектов самые лучшие варианты крейсеров — цельная броня, повышенная скорость, орудийные

«спарки» в броневых башнях! Юному мичману тогда еще не хотелось верить, что гордые белые лебеди, плывущие на защиту дальневосточных рубежей отчизны, уступят врагу хоть в самой малости... не верил!

А положение в мире делалось все напряженнее.

Престарелая королева Виктория уже отошла в небытие, но колониальные заветы викторианства оставались нерушимы для ее наследников. На все упреки в ограблении мира у Лондона был готов стереотипный ответ: «Наше присутствие здесь (или там) необходимо, ибо любое постороннее вмешательство затронуло бы сферу интересов великобританской короны...» Заняв Лхасу, они кричали, что спасли Индию от нашествия русских конкистадоров; их канонерки на Янцзы, оказывается, спасали Китай от броненосцев Германии; присутствие в Сиаме англичане оправдывали тем, что бедных сиамцев надо спасать от французских колонизаторов; эскадры Англии привычно утюжили воды Персидского залива, а Уайтхолл изошелся воплями на тему о том, что они ограждают несчастных персов от русской алчности...

Россия еще не знала этих кровоточащих строчек:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки?
Кто своею кровью склеит
Двух столетий позонки?..

Но историк Ключевский уже предупреждал студентов:

— Пролог двадцатого века — это пороховой арсенал...

Сама Англия воевать с Россией остерегалась. Но, постоянно натравливая Японию на Россию, викторианцы желали укрепить свои позиции в Азии, чтобы легче было им эксплуатировать богатства Китая. При этом кайзеровская Германия исподтишка подталкивала царя-батюшку в Корею и Маньчжурию, ибо в Берлине понимали: ослабив Россию на Востоке, Германия усилит свои позиции в Европе — против Франции и той же Англии...

Примерно такова подоплека войны, которая готовилась.

Наивные русские обыватели еще удивлялись:

— Чего там милые япоши волнуются? Мы, русские, никогда не лезли к ним с пушками, как это делали англичане и американцы. Между нами никогда не было, да и быть не могло, пограничных недоразумений... О чем там думает маркиз Ито?

Люди более осведомленные поговаривали:

— Гаагская мирная конференция, созванная по инициативе Петербурга, призвала все государства ко всеобщему разоружению. Мы в этом случае оказались в одиночестве. Ведь скажи дикарю, чтобы оставил свою дубину, он тут же, назло тебе, изготовит таких дубин еще три штуки...

Редьярд Киплинг в свое время писал о японцах: «Очень жаль, что такие маленькие люди обладают не в меру громадной амбицией». Токио возвещало миру, что пребывание русской эскадры в Порт-Артуре угрожает народам всей Азии. При этом самураи деликатно помалкивали, что в том же регионе Германия владела фортами Кью-Чао (Циндао), английский флот громыхал броней крейсеров в Вэйхайвэе, а французы торопливо осваивали Куан-Чжоу. Все равно: виноваты останутся одни русские! Японские амбиции непомерно возросли, когда Англия заключила с Токио договор, направленный против России...

— Россия оказалась в пиковом положении, — рассуждали офицеры на эскадре Старка. — Она и хотела бы выбраться из Маньчжурии, но уже не может, ибо, уйди мы отсюда, завтра же сюда хлынут японские дивизии. Петербург, как проклятый, все время шлет в Токио проекты новых и новых уступок. Но японцы на все предложения к миру стараются не отвечать...

Именно теперь японские газеты (а их было в Японии несметное количество) открыто призывали к войне, именуя русских «давними и злостными врагами народа Ямато». Вот что писалось в них: «Напрасно думать, будто война с Россией будет продолжаться 3-5 лет. Русская армия сама уйдет из Маньчжурии, как только будет разгромлен русский флот».

В эти дни князь Эспер Ухтомский, знаток стран Дальнего Востока, выступал в Петербурге с публичными лекциями:

— Если бы Россия лучше изучила Японию, а Япония лучше знала Россию, если бы русские и японцы встречались не только на базарах Владивостока, а жили бы едиными соседскими интересами, о войне между нашими странами не могло быть и речи. Эта война, если она возникнет, может быть выгодна только миллионерам Англии, Германии и Америки, но она окажется бедственна для наших народов...

Свое выступление князь Ухтомский закончил словами: «Между русскими и японцами возможна самая тесная дружба, доказательством которой — любовь к России простых японцев, которым довелось жить и работать в России!»

Алеутская после Светланской — лучшая улица Владивостока; здесь магазины подержанных вещей, конторы нотариусов и адвокатов, торговля дамскими туалетами и ароматной парфюмерией Востока; здесь снимают квартиры иностранные консулы, падкие до сплетен, и заезжие этуали в гигантских шляпах, весьма падкие до чужих денег. А чуть профланируй подалее, и увидишь в витрине прекрасный гроб, весь в лакомых завитушках, словно праздничный торт с цукатами; при виде этого совершенства прохожий невольно загрустит о блаженстве смертных и скучности живущих. Гроб расположен под вывеской «Одесская контора похоронных процессий». Каким фертом одесситы умудрились монополизировать отправку на тот свет владивостокских покойников — об этом надо спрашивать не здесь, а у пижонов на Дерибасовской...

В богатом доме на Алеутской господа Парчевские снимали второй этаж; при входе висела доска с крупной надписью: «Д-р Ф. О. ПАРЧЕВСКИЙ», ниже мелкими буквами: «Женские болезни, тайна визита сохраняется», а внизу доски совсем мизерно: «Плата по соглашению». Наивный мичман Панафидин не сразу сообразил, что Парчевские разбогатели от тех несчастий, что иногда случаются с женщинами...

Ладно! Он был поглощен предстоящим концертом.

По субботам в городе трудно перехватить свободного извозчика, и потому от самой пристани тащил виолончель на себе. На повороте какой-то юркий старик спросил его:

— Случайно, не продаете? Могу и купить.

— Нет, не продаю. Сам играю...

Его утешала лучезарная мысль, что в квартете Боккерини есть одно место, где виолончели отведена заглавная партия, и он надеялся выстрадать на струнах такое пылкое пиццикато, которое не может не оценить прекрасная дочь гинеколога. Может, именно сегодня она ему наконец-то скажет: «Я так благодарна вам. Почему вы приходите только по субботам?..»

Двери мичману открыла сама она, и по торопливости, с какой ее шаги отзывались на его звонок, любой опытный мужчина сразу бы догадался, что Вия кого-то ожидала.

— Ах, это вы... — протянула она разочарованно и тут же, обратясь в глубину квартиры, крикнула: — Папа, это опять к тебе! Тут еще один игрец пришел...

Слово «игрец» повергло мичмана в бездну отчаяния, но он еще не терял надежды на свое пиццикато. А пройти в «абажурную», где собирались любители музыки, предстояло через обширную залу,

занимаемую посторонними. Кажется, их влекла сюда не музыка, а лишь насущный вопрос о приданом за Виечкой Парчевской.

Появление мичмана с громадным футляром «гварнери» вызвало среди женихов всеобщее оживление.

— Нет уж, — заговорили они, — если бог накажет талантом к музыке, так лучше играть на флейте... она легче!

Страдая от унижения, Сережа протиснулся в «абажурную»:

— Добрый вечер, дамы и господа. Я не опоздал?

Домашне-семейное музицирование было тогда чрезвычайно модным, но сам господин Парчевский, очевидно, выжидал от музыки Вивальди и Боккерини каких-то иных результатов. Панафидин явился в ту минуту, когда почтовый чиновник Гусев, старожил Владивостока, рассказывал каперангу Трусову:

— Здесь, наверное, и помру. Я ведь покинул Петербург так давно, когда водопровод столицы еще не имел фильтров и по трубам весною перекачивали прямо на кухню свежую невскую корюшку. Они в раковину — прыг-прыг, хватай — и на сковородку! А здесь во Владивостоке, — говорил Гусев, — я вот этими руками пять колодцев откопал. Пять колодцев и две могилы — для своих жен. Вот мое последнее утешение в жизни! — И стариk ласково гладил обтерханные бока плохонькой скрипички, купленной по дешевке на базаре...

Полковник Сергеев, служащий в интендантстве, строго поучал Панафидина, чтобы тот не сбился в такте:

— А после моего смычка последует ваше пиццикато...

Среди слушателей была сегодня жена каперанга Трусова, с материнским сожалением глядевшая на Панафидина:

— Смотрю на вас, а думаю о своем сыне. Вы очень похожи. Он тоже мичманом... на броненосцах в Порт-Артуре. Только б не было войны, — договорила женщина со вздохом.

Виолончель ближе всего к звучанию человеческого голоса, и Панафидину казалось, что в музыке он сегодня выражит все, чего не может сказать словами. Мичман отыскал опору для «шипеля» инструмента, разминая руку, прошелся смычком вдоль всего музыкального грифа. Плохо, что Виечка не сидит рядом; из соседних комнат доносилось бодрое здоровое ржание кавалеров, слышался ее ангельский голосок:

— Нет, это невозможно, господа! Вы меня смущали. Я об этом много слышала, но, клянусь, еще никогда не видела...

(«О господи! Что они ей там показывают?..»)

Исполнители утвердили свои ноты на шатких пультах. Интендант с

мрачным видом исполнил бодрое интермеццо, резко оборвав его, и почти злодейски воззрился на старого бедняка Гусева, который подхватил прерванную мелодию, повел ее вдаль за своей горькой судьбиной — душевно, чисто и свято. Концерт начался. Панафидин, весь в предчувствии своего триумфа, шевелил пальцами, примеряя их к сердечному надрыву на струнах.

Тут раздался звонок с лестницы, и было слышно, как простучали каблучки Вии; из прихожей — знакомый голос:

— А чем я виноват, если не мог поймать извозчика?

(«Голос мичмана Житецкого... и он здесь. О боже!»)

Альт интенданта Сергеева уже выводил нежную кантилену. А через двери вмешивался уверенный тенорок Житецкого:

— Не для мира нас, господа, готовили! Когда же еще, как не на войне, нам, юным офицерам, делать карьеру?..

Это вывело Трусова из себя, он сделал замечание:

— Житецкий, не ради вас тут собрались... потише!

Чувство злости, рожденной от ревности (и даже зависти), опустошило душу, и Панафидин даже не заметил, когда замолк альт в руках интенданта, а Гусев толкнул его под локоть:

— Где же ваше пиццикато, мичман? Проспали?

Сергеев готов был загрызть его за оплошность:

— Так нельзя относиться к серьезной классике! Если уж мы собираемся здесь раз в неделю, так совсем не для того, чтобы господин мичман мух ноздрями ловил...

Трусов, сложив руки на эфесе сабли, сидел спокойно:

— Ну ладно. Бывает. Можно и повторить... не так ли?

Кое-как доиграли концерт Боккерини, и Франц Осипович Парчевский, явно радуясь паузе, стал хлопать в ладоши:

— Дамы и господа, прошу, прошу, прошу... перекусим, что бог послал. Виечка! — позвал он дочь. — Где же твои кавалеры? Господа, господа, — призывал он, — всех прошу к столу...

Мимо поникшего от стыда Панафидина мичман Игорь Житецкий, явно торжествуя, проводил в гостиную очаровательную Вию, которая даже не глянула в сторону «игреца» из папенькиного квартета. Сергей Николаевич защелкнул замки на футляре и удалился. К счастью, от Державинской улицы как раз заворачивал свободный извозчик, и мичман вскинул на сиденье коляски своего драгоценного «гварнери»:

— Гони! Прямо на пристань. Пятаков не считаем...

На одном из поворотов улиц коляску неожиданно остановил городовой

при шашке, сделав офицеру «под козырек»:

— Извините, там на Миллионке ваш матрос дерется.

— Почему мой? Мало ли матросов на свете?

— Крейсерский, ваше благородие. По ленточке видать. Всех там расшиб, теперь его наши лахудры успокаивают...

Панафидин совсем не хотелось ввязываться в эту историю. Тем более что кварталы Миллионки славились тайными притонами с опиокурением, здесь всегда было много всякой швали, включая и беглых каторжников с ножиками за голенищами.

— Ладно, — сказал он, велев кучеру заворачивать. — Сейчас усмирию этого дурака и поедем дальше...

Под жалким керосиновым фонарем стоял бугай-матрос в разодранном бушлате. На каждой его руке, словно на сухах могучего дерева, висли сразу по две-три портовые шлюхи, и, когда матрос взмахивал руцищами, ноги женщин неслись над землей, будто в бешеной карусели. А вокруг этой «карусели» бегала старая лысая японка, выкрикивая лишь одно непонятное слово:

— Никорай, никорай, никорай, никорай, никорай...

Панафидин не спеша подошел к матросу:

— Ты пьян! Сейчас же ступай на свой корабль.

Гигантской глыбой матрос надвинулся на мичмана:

— А ты, хнида, персика не хошь?

Удар кулаком ослепил Панафицина, который, упав на спину, еще целую сажень проехал на оттопыренных локтях.

— Мерзавец, — сказал он матросу и, подхватив с земли его бескозырку, прочел начертанное золотом: РЮРИКЪ. — Куда теперь от меня денешься, сволочь паршивая? Я твою рожу запомнил...

Только в каюте «Богатыря», успокоившись, мичман сообразил, что японцы не умеют выговаривать букву «л», отчего стало ясно, что под загадочным словом «никорай» скрывается матрос по имени Николай... Ну а фамилию-то узнать несложно.

— Вот побегает с тачкой по Сахалину — станет умнее!

Будучи на положении вахтенного офицера, мичман Панафидин числился младшим штурманом крейсера. Сразу же после завтрака Стемман пожелал видеть его в своем роскошном салоне.

— Приятная новость, — сообщил он неожиданно радушно. — Наш отряд крейсеров переводят в «горячее» состояние. Отныне мы приравнены к экипажам в боевой кампании.

Мичман согласился, что новость приятная:

— Но за прибавкою к жалованью не кроется ли нарастание военной угрозы со стороны Токио?

— Возможно, — кивнул Стемман. — Исходя из этой угрозы, я прошу вас, любезный Сергей Николаевич, сверить таблицы девиации магнитных компасов на мостиках крейсера.

— Будет исполнено, Александр Федорович.

— И еще у меня вопрос...

— Слушаю.

— Откуда у вас такой фонарь под глазом? Только не говорите, что, играя на виолончели, нечаянно заехали смычком в глаз.

Панафидин после истории на Миллионке уже остыл, злоба к матросу прошла, и ему совсем не хотелось предстать перед командиром в образе побитого дурачка. Но Стемман оказался в расспросах настойчив:

— Значит, это был матрос с «Рюрика»?

— Судя по ленточке бескозырки.

— Вы могли бы узнать его средь прочих?

— Наверное. Верзила примечательный...

За обедом в кают-компании «Богатыря» офицеры перебирали городские слухи, то пугавшие, то обнадеживающие.

— Пока японский консул Каваками во Владивостоке улыбается всем, нам войны бояться не стоит...

Итак, они в «кампании»! Корабельные ревизоры (выборные офицеры, ведающие закупкой продовольствия) сразу заключили контракты с магазинами на доставку балыков, мадеры, сардин, мандаринов. Матросы радовались колбасе и сыру, карамели и пряникам. Люди старались не думать, что «горячее» положение угрожает войной. Иные даже небрежно отмакивались:

— Обойдется! Не первый раз... Уж мы-то наслышались всяких угроз, а все кончалось обычной словесной эквилибристикой дипломатов. Как-нибудь и теперь они отбоятся...

Стемман снова пригласил к себе Панафидина:

— Сейчас отправитесь на крейсер «Рюрик», отыщете того матроса, который оскорбил вас... Евгений Александрович Трусов столь любезен, что согласился сыграть на своем крейсере «большой сбор», дабы весь экипаж был налицо...

Панафидин был ошеломлен таким решением:

— А можно не делать этого? Поверьте, мне, офицеру, не пристала роль полицейского сыщика. Отысканием своего обидчика я буду поставлен в крайне унизительное положение.

Стемман сидел перед рабочим столом, утопая в кресле-вертушке, сверху мичман видел его прилизанную голову, уже плешивую от жизненных неурядиц и трудностей в карьере.

— Вы, мичман, не понимаете, что матрос, ударивший вас, совершил преступление, которое никак нельзя оставить без наказания. Подобные афронты нижним чинам прощать нельзя...

Пришлось подчиниться приказу, а на «Рюрике» Панафидина встретил сумрачный старший офицер Хлодовский.

— Да, я все уже знаю, — было им сказано. — Сыграем «большой сбор», чтобы никто не увильнул от всеобщего построения.

Пробили «колокола громкого боя»! «Рюрик», казалось, вздрогнул в едином открывании железных дверей и люков, затрещали трапы под чечеткою бегущих матросских ног. Потом затихла мать-в-перемать боцманов, и наступила противная, гнетущая тишина... Хлодовский расправил бакенбарды:

— Команда в большом сбore! Прошу наверх...

С океана рвало знобящим ветром, который лихо закручивал ленты бескозырок вокруг крепких шей матросов. Чеканные ряды застыли вдоль бортов, внешне, казалось, безликие, как монеты единого достоинства, на самом же деле все разные — женатые и холостые, робкие и бесстрашные, пьющие и непьющие, скромные и нахальные, хорошие и плохие, но все одинаково сжатые в единый кулак единого организма, название которому, гордое и прекрасное, — экипаж... Явно стыдясь, Панафидин обошел шеренги левого борта, но там искомого матроса не обнаружил. Он сразу узнал его в шеренгах правого борта, где тот стоял в ряду комендоров второго пушечного каземата.

— Эй! Ты! Сволочь! Имя! — потребовал от него мичман.

— Николай.

— Фамилия?

— Шаламов.

— Так это он? — спросил Хлодовский...

Панафидин еще раз глянул на Шаламова, который посерел лицом перед расплатой. Что ждало его теперь? Тюрьма? Каторга? Сахалин? Тачка?.. Тишина. Ах, какая тишина...

— Нет, это не он, — сказал Панафидин, отводя глаза от Хлодовского в

сторону. — Тот, кажется, выглядел иначе.

— Разойдись по работам! — скомандовал Хлодовский, и «большой сбор» мигом рассыпался, как вода рассыпается брызгами, матросы растворились в проемах дверей и люков, исчезли в клин-кетах и горловинах, а там, где только что качались две черные живые стенки, осталась лишь чистая палуба крейсера, крытая, как паркетом, настилом тиковых досок...

Проницательнее всех оказался иеромонах Алексей Конечников. Якут заманил Панафицина в свою каюту и сказал:

— Удивлен, почему другие не догадались. Виновником этого «большого сбора» был конечно же комендор Николай Шаламов. Вы, мичман, несомненно, поступили по-христиански.

— Жалко стало, — пояснил Панафидин. — Вдруг подумал, что где-то на опушке леса догнивает старая деревенька, а там живет мать и ждет сыночка-кормильца, ждет — не дождется... Вот и решил: зачем я стану портить жизнь человеку?..

За обшивкою крейсера уже зашуршал смерзающийся лед, отчего возникло неприятное ощущение, будто по железу корпуса сам дьявол водил наждачной бумагой. В день 4 января 1904 года сигнальщики с вахты оповестили экипажи отряда:

— На берегу-то что... ой, вот полыхает!

— Да что там? Никак пожар?

— Горит... театр. Со всеми причиндалами!

Панафидин сразу вспомнил Нинину-Петипа, которая после пожара театра в Чикаго резко усилила свою противопожарную бдительность. Пожар начался в разгар утренних репетиций, а к полудню от театра остались черные стены. Владивосток понес убытки на 100 000 рублей. Среди жителей города и моряков отряда собирали пожертвования, чтобы актеры не пошли по миру с протянутую рукой... Ну, вот и зима!

Отряд крейсеров медленно вмерзал в жесткий панцирь ледостава, и каперанг Стемман сказал:

— Вот из-за этого льда, будь он трижды проклят, Порт-Артур сделали главною базой флота на Тихом океане, а Владивосток — лишь вспомогательной, и, чтобы соединить свои усилия, нам не миновать проливов возле Цусимы, откуда давно торчат желтые зубы адмирала

Хэйхатиро Того.

— А кто автор этого соломонова решения?

— Указывают на «Его Квантунское Величество», дальневосточного наместника, адмирала Евгения Ивановича Алексеева.

— Господа, но адмирал Скрыдлов был против этого неразумного «расфасонивания» флота по двум отдаленным базам.

— Ах, что там Скрыдлов? Алексеев — внебрачный сын императора Александра II, и попробуйте-ка с ним поспорить...

На железнодорожных путях осипло и тревожно стонали паровозы, словно в ужасе перед дальней дорогой, которая ждет их там — за лесами Сибири, за паромной переправой через Байкал. Под самое рождество, как бы бросая вызов своей судьбе, мать-Россия НЕ отменила демобилизацию отслуживших возрастов. В январе вокзал заполнили серые шинели Квантунских батальонов и черные бушлаты Сибирской флотилии. Ратники запаса еще не ведали, что поезда, уносящие их в сторону родимых городов и деревень, скоро помчатся назад, а все они будут ехать обратно, снова мобилизованные. Но сейчас черные тряпицы, нашитые — словно траур! — поверх погон, являлись для них порукой мнимой свободы, когда никакой офицер уже не волен поставить их по стойке «смирно». Уходящие в запас сидели на тесных вокзальных лавках, передавая один другому бутыли с водкою, унтеры корявыми пальцами размазывали по горбушкам хлеба ядреную кетовую икру, а гармонисты наяривали:

Прощай, столица, я уезжаю.

Кому я должен — я всех прощаю...

В коридорах и аудиториях института царила необычная толкотня, армейские офицеры допытывались у флотских:

— Неужели вам ничего не говорят? Странно. У нас уже затребовали списки семей для эвакуации, выдают подъемные деньги.

— На флоте пока спокойно. Лед, лед, лед... Чего волноваться? Японский консул Каваками еще не мычит не телится.

— А что консул? Дерьмо собачье...

Лед окреп уже настолько, что между крейсерами протоптали тропинки, как в деревне, матросы веселой гурьбой шлялись с корабля на корабль — в гости к землякам, городские извозчики смело везли подгулявших прямо к трапам — с бубенцами, как в разгульной кустодиевской провинции. Наконец посреди рейда возник городской каток, расцвеченный фонариками, по вечерам резало слух от острого визга

коньков, оркестры крейсеров выдували в почерневшее небо старинные вальсы, звучавшие в эти дни как-то нежно-трагически...

Все тропинки погибли и все катки были разрушены, когда в бухту Золотой Рог вползли японские пароходы, а консул Каваками сразу перестал улыбаться русским офицерам. Японская колония во Владивостоке насчитывала примерно пять тысяч человек. Неизвестно, сколько среди них было шпионов, но о парикмахерах сложилось точное мнение: «Наверняка они постригли нас, побрили и побрызгали вежеталем точно по инструкциям японского генштаба...» Однако грешно думать, будто все японцы были шпионами. Многие из них, честные труженики, нашли в России ту жизнь и то благополучие, о каких на родине и не мечтали. Японцы полировали зеркала, варили пиво, делали игрушки, выпекали пирожные, массажировали больных, учили гимнастике, ловко и честно торговали. Наконец, японские девушки... На родине нужда гнала их на фабрику или в публичный дом, а во Владивостоке их высоко ценили, доверяя им воспитание младенцев. Почти все русские семьи имели няню-японку, которая сама становилась членом русской семьи, самоотверженная, деловитая и чистоплотная...

В широких витринах универмага Кунста и Альбертса в те дни выставляли газетные бюллетени о ходе дипломатических переговоров. Здесь постоянно толпился народ. Петербург опять уступал, но из Токио выдвигали требования, которые Петербург исполнить уже не мог, — и все-таки он снова уступал! Возле этих витрин часто видели плачущих японок, которые баюкали на руках русских детей, но появлялся консул Каваками, и вся японская колония покорно кланялась ему.

— Корабли не могут ждать, — указывал консул. — Ликвидируйте свои дела, все должны срочно уехать домой...

На рейде появился громадный английский транспорт «Африди», чтобы разом покончить с японской колонией во Владивостоке. Японцы за бесценок переписывали свои конторы и магазины на имя китайских купцов, торопились распродать имущество. Скоро по улицам стало не проехать: все тротуары были заставлены вещами, соблазняющими прохожих уникально дешевизной. Гарнитур венской мебели шел за 10 рублей, часы за трешку. Панафидин, гуляя по городу, был удивлен, что русские люди ничего у японцев не покупали. Запомнился один рабочий из доков, с ним была и жена. Семейно приценились к стульям, оглядели шкаф, жена перетрогала безделушки, и... отошли в сторонку, ничего не купив. Мастеровой сказал:

— С чужой-то беды прибыли не надо. Тоже небось своим горбом

наживали. Чего ж я теперь грабить их стану?..

«Африди» завывал сиреной, призывая к посадке. Владивосток еще не видел таких ужасающих сцен, как в эти дни. На пристани полно русских! Все жалели японцев, совали им в руки свертки с едой, дарили чайники, просили писать... А японских нянь было не оторвать от русских детей, ставших для них родными детьми. Слышались истерические рыдания, дети цеплялись за своих «тетя Дзио» и «мама Оку». Тут Каваками показал свое лицо самурая. У него, оказывается, заранее была подготовлена своя «полиция», которая беспощадно отрывала японских женщин от русских семей. Одна молоденькая японка с криком вырвалась от них, она спрыгнула на прибрежный лед, добежала до парящей полыни и...

— Вечная память! — перекрестились русские.

Британский «Африди», словно торжествуя победу, снова взвыл похоронной сиреной, и этот мерзостный вой совместился с истошными криками паровозов, которые покидали Владивосток, развозя по домам демобилизованных. ...Возможно, Россия умышленно пошла на увольнение в запас солдат и матросов, дабы лишний раз показать всему миру, что русские воевать с Японией не собираются, а любой конфликт можно разрешить мирным путем. Но все случилось иначе...

Последующий анализ обстановки, проделанный уже советскими специалистами, показал, что положение нашего флота на Дальнем Востоке не было безвыходным. Дабы успешно противостоять эскадрам адмирала Того, требовалось стратегически верно дислоцировать корабли. Следовало сбрать во Владивостоке сильнейшие крейсера, усилив их быстроходными броненосцами, оставив в обороне Порт-Артура лишь устаревшие корабли с малым ходом. В этом случае самая действенная, самая маневренная часть нашего флота не была бы оторвана от главной базы метрополии, она обрела бы ту боевую активность, какой не могли обеспечить всего лишь четыре крейсера отряда Рейценштейна. Тактические выгоды крейсерской войны могли бы сыграть главную роль в общей стратегии всей войны...

Снова и снова в отряде поминали Макарова:

— Степан Осипыч, господа, не слишком-то уповаает на броненосцы, считая, что крейсерами можно выиграть борьбу на море скорее и легче этих дорогостоящих утюгов...

Вслед за эвакуацией владивостокской колонии японцев произошло их удаление из Порт-Артура, схожее с паническим бегством. Китайская императрица Цыси убеждала Токио в своем строгом нейтралитете, но ее бандиты-хунхузы уже взламывали рельсы на КВЖД. 18 января А. И. Павлов, русский посол в Корее, известил Петербург о том, что в порту

Мазанпо японцы выгружают с кораблей телеграфные столбы, лошадей и гурты ячменя. Корейский император тоже объявил нейтралитет. Под занавесом этого липового «невмешательства» самураи захватили все телеграфы в Корее, оборвали провода связи, не нарушив лишь линию Сеул — Чемульпо, где стоял наш крейсер «Варяг». Посол слал тревожные телеграммы в Петербург и в Мукден (наместнику Алексееву). Как и положено, отправку каждой телеграммы японцы заверяли квитанцией, но телеграммы отправлены ими не были. Павлов вызвал в Сеул командира «Варяга».

— Всеволод Федорович, — сказал он Рудневу, — я не уверен, что Петербург информирован о нашем положении, и потому канонерку «Кореец», стоящую в Чемульпо с вашим крейсером, хорошо бы отправить в Порт-Артур с дипломатической почтой.

— Я, — отвечал Руднев, — вообще не понимаю, зачем наместник заслал моего «Варяга» в Чемульпо, а «Маньчжур» и «Сивуч» застряли в китайских портах... Не кажется ли вам, господин посол, что эти корабли уже обречены на гибель? В лучшем случае мы будем интернированы.

— Ну, — сказал Павлов, — до этого не дойдет. Японцы за последние годы цивилизовались достаточно, если разрыв и случится, то прежде последует официальное объявление войны...

В эти дни в отряде крейсеров Владивостока появился ее начальник Рейценштейн, за которым мичман Житецкий таскал такой разбухший портфель, будто в его недрах уместились все вопросы войны и мира. Панафидин спросил приятеля:

— Чего хорошего, Игорь?

— Пришло время перекрашиваться.

— В какой колер?

— Очевидно, в зеленовато-серый...

Начался срочный аврал, и Владивосток — тысячами окон и глаз — издали наблюдал, как прекрасные «белые лебеди» быстро превращаются в серые и строгие тени. Было неясно, о чем Рейценштейн беседовал с командирами крейсеров, но многие видели в его руках книгу лейтенанта Н. Н. Хлодовского «Опыт тактики эскадренного боя», только что выпущенную в Петербурге.

— До чего мы дожили? — гневался он. — Куда же, черт побери, смотрела цензура? Какой-то лейтенант осмеливается поучать нас, заслуженных адмиралов. Какая распущенность...

Этот выпад против старшего офицера «Рюрика» вызвал недовольство каперантов, и Трусов вступил за Хлодовского:

— Не пойму причин вашего гнева, Николай Карлович, паче того, выводы моего старшего офицера Хлодовского смыкаются с мнениями адмирала Макарова. Не лучше ли нам, готовя корабли к войне, обсудить деловые вопросы. В частности, о запасах угля, об изъятии с крейсеров всякого дерева...

Стемман с удовольствием объявил Панафидину:

— Ну, Сергей Николаевич, пришло время списать вашу виолончель на берег, как непригодную для корабельной службы.

— А куда ж я дену ее? — обомлел Панафидин. — Инструмент старый, цены ему нету... ведь это же «гварнери»!

На лице Стеммана читалось явное злорадство.

— Не знаю, не знаю, — вздыхал он, вроде сочувствуя. — Но еще не встречал я такого музыканта, который бы сознался, что его инструмент соорудил слесарь Патрикеев... даже в одесских шалманах играют на скрипках Страдивари!

Матросы утешили Панафицина тем, что на крейсере полно всяких закоулков, о которых даже главный боцман не знает:

— Только не теряйте хладнокровия! Спрячем так, что и жандармы не сыщут. Будет вашей виолончели и тепло и сухо. Утром на вопрос Стеммана мичман отозвался:

— Нету виолончели! Хотя, честно говоря, рояль в каютах даст больше жару, нежели мой несчастный «гварнери»...

Офицеры «Богатыря» завели скучнейшую беседу о начавшемся падении курса русского рубля. Недоумевали:

— Верить ли, что за наш рубль дают уже полтину?

С этим же вопросом Панафидин навестил своего кузена.

— Увы, — отозвался Плазовский, — получается как у Салтыкова-Щедрина: это еще ничего, если в Европе за рубль дают полтину, будет хуже, если за рубль станут давать в морду!..

— Похоже, что война неизбежна, Даня?

— Похоже. Даже очень похоже...

За дружным столом крейсера «Рюрик» неожиданно возник спор; начал его доселе неприметный мичман Щепотьев, младший штурман. Никто его за язык не тянул, он сам завел речь на тему, что предстоящая война с Японией, как и любая другая война, не вызывает в нем ничего, кроме

отвращения:

— Сколько величайших умов прошлого звали народы к миру, согласию и равенству. А истории плевать на эти призывы, она следует своим путем — разбоя, насилия и оглушения народов ложным чувством дурацкого патриотизма.

— Толстовство, — буркнул Плазовский, сверкая пенсне.

— Болтовня, — добавил минный офицер Зенилов.

— Нет, позвольте! — горячился Щепотьев. — Выходит, праведники в борьбе за истину напрасно всходили на костры, зря гуманисты сидели в тюрьмах, напрасно и Вольтера гоняли, как бездомную собаку, по Европе. Мир остался неисправим...

Хлодовский постучал лезвием ножа о звонкую грань бокала, отчего в клетке сразу запиликали и запели птицы.

— Господин Щепотьев, — сухо сказал он штурману, — я согласен, что война всегда была противна человеческой натуре, но патриотизм никогда противен ей не был. Это первое. А вот и второе: мы носим мундиры не для того, чтобы болтать о философской природе войны. Дав присягу, мы обязаны исполнить ее, как бы тяжко ни было нам ее исполнение.

— Но почему? — возмущался Щепотьев. — Почему мы, военные, должны кровью расплачиваться за бессилие дипломатов, которые давно выжили из ума и уже трясутся от маразма?

Хлодовский неожиданно резко пресек этот спор:

— Мичмана Щепотьева я прошу удалиться в свою каюту...

Над притихшим столом поднялся механик крейсера — Юрий Маркович, сын народовольца и внук писательницы Марко Вовчок:

— Господа! Для военных людей всегда останется насущен коварный вопрос: ради чего мы живем? Нас превосходно одевают, отлично кормят, нам воздают почести... За что? Чем мы заслужили подобное транжирство от государства, которое ради оплаты наших прихотей обширило карманы верноподданных? Мы живем (и живем лучше народа), наверное, лишь ради единого мгновения... Да, единого! В час роковой битвы мы обязаны расплатиться с Россией за все приятное для нашего честолюбия и довольства. Именно в момент боя мы обязаны отдать родине самих себя — до последней капли крови. И даже тот последний глоток соленой воды, что завершит нашу жизнь, мы должны принять от судьбы, как наше святое причастие...

С этим все согласились, и Хлодовский велел подать к столу шампанское. На следующий день во Владивостоке было введено военное положение, которое — волею рока — совпало с разгульной масленицей.

Город уже предчувствовал, что вот-вот разразится нечто страшное. Патрули обезжали темные переулки, проверяя, все ли питейные заведения закрыты? Пьяных тащили в участки, где и секли за милую душу — без лишних разговоров. Жители города необычно нервно наблюдали с берега, как ледокол «Надежный» зигзагами ходил вдоль рейда, взламывая пласти льда между бортами крейсеров.

— Я, — вдруг признался Панафидин, — сам бы выбросил за борт свою виолончель, только бы знать, чем это все закончится и что думает сейчас адмирал Того в своем Сасебо!

Сасебо! Громадное знамя японского флагмана полоскалось над палубой броненосца «Миказа», который тяжко оседал в воду гавани многими тысячами тонн, перегруженных избытком новейшего вооружения. В адмиральском салоне мирно ворковали две перепелки... Хэйхатиро Того сказал:

— Больше всего я боялся, чтобы русские не перегнали эскадру Старка из Порт-Артура во Владивосток. Тогда бы весь русский флот оказался в одной базе, а наша борьба с ним стала бы весьма опасна. Но теперь, когда этого не произошло, инициатива целиком в моих руках, а броненосцы Старка отделяют от крейсеров Рейценштейна сразу два моря — Японское и Желтое. Именно об этом я молил богов, и боги меня услышали!

Сасебо — главное логово самурайского флота, чуть севернее города Нагасаки. Отсюда, из Сасебо, эскадры Того могли сразу же начинать стратегическое развертывание по всему морскому театру, проникая в Желтое море — к твердыням Порт-Артура, получали доступ и в море Японское — на путях к Владивостоку. Близ Сасебо, между берегов Японии и Кореи, совсем затерялся малоизвестный остров Цусима, а выше него, ближе к северу, океан вздымал над водою скалы нелюдимого Дажелета (иначе — Мацусима). Это лишь скучная география, но она требует от читателя внимания и даже помочи карты...

Того был высокого роста, сутуловат, лицо его смолоду покрывала сетка мелких морщин, как это бывает с древним фарфором. Английские газеты заранее делали из него героя. Лондон извещал читателей, что адмирал Того, как и все великие люди, легко переносит одиночество, он способен совсем обходиться без общества, сутками не покидая каюты своего броненосца. С берега доносились пение японских женщин, грузивших уголь в

корабельные бункеры. Большие серые крысы, забежавшие на корабли, теперь ошалело метались по трапам, обнюхивая глубокие ущелья придонных отсеков, схожие с подвалами гигантских зданий. Склянки по всей эскадре отбили тягостную полночь... 23 января микадо оповестил адмирала о начале войны с Россией. Еще раз перечитав приказ императора, Того задумчиво кормил перепелок. Ему доложили о прибытии флагманов.

— Пусть войдут, — сказал он, рассыпая перед птицами зерна...

В салон, кланяясь, вошли флагманы и командиры броненосцев. Их сабли приглушенно позванивали. Жесткие усы топорщились на лицах, искаженных гримасами вежливых улыбок.

— Милостью небес и богов... слушайте приказ...

Они слушали приказ императора. При этом они слышали, как в командных гальюнах трюмные машинисты с шумом продували фановую систему, освобождая «Миказу» от бытовых нечистот.

— Дипломатические отношения с Петербургом прерваны, но слово «война» мы произносим первыми... мы, флот! Наш посол Курино, наверное, уже покинул русскую столицу, а русский посол в Токио, барон Розен, еще не знает, ибо телеграммы о разрыве отношений задержаны нашими службами на телеграфе в Нагасаки... Утром мы будем на пути к Порт-Артуру!

Вестовые внесли подносы, уставленные чашечками с саке, и самую маленькую из них Того преподнес адмиралу Уриу, который славился на флоте склонностью к алкоголизму:

— Вам предстоит налет на Чемульпо, где вы обязаны разломать русский крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец».

Вице-адмирал Камимура командовал японскими крейсерами, и Того преподнес ему чашечку побольше.

— Я счастлив служить с вами, — сказал Того. — Вам предстоит в дальнейшем выбить все владивостокские крейсера...

В 7 часов утра 24 января соединенный флот японского императора, расталкивая тяжелые осьпи волн, выступил в море — бронированная армада, пресыщенная активным человеческим материалом и наилучшими механизмами европейского производства. В кубриках офицеры учили матросов петь новую песню:

Сколько снега в сибирских равнинах,
Столько зависти в сердце России...

Во всем этом затаилась крохотная крупица тайны, имевшая слишком большое значение. Английская колония Вэйхайвэй располагалась на кончике полуострова Шантунг, как и Порт-Артур размещался на окончании полуострова Квантуй (Ляодун). Это — как два острых клыка, торчавшие из пасти Печелийского залива. Так вот! Именно свою гавань Вэйхайвэй англичане и предоставили к услугам адмирала Того, именно из английской гавани японские миноносцы, дрожа от свирепого напряжения, ринулись в атаку на корабли нашей Порт-Артурской эскадры.

Конечно, парламент короля Англии отказывался признать этот факт, ибо в этом случае нападение японцев на Россию выглядело бы как совместное нападение на нее. Но истина все же была установлена, она подтверждается и в научной монографии нашего историка А. Гальперина «Англо-японский союз».

Итак, война началась — без объявления войны.

В ночь вероломного нападения наша эскадра стояла на внешнем рейде Порт-Артура, обнаженная со стороны открытого моря. Японские миноносцы подорвали броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», повредили крейсер «Паллада». Русская эскадру, открыла хаотичный, но столь плотный огонь, что повторных атак не последовало. Затем в неравном бою с эскадрою адмирала Уриу геройски погибли «Варяг» и «Кореец».

Первые неудачи никак не обескуражили экипажи боевых кораблей. Но тогда же возникла клеветническая легенда, в которой была замешана Мария Ивановна Старк, жена адмирала. Люди, далекие от событий и плохо понимающие законы флотской службы, разносили по странедискую и нелепую сплетню:

— Слышали, что у нас творится? Как раз в ту ноченьку адмирал Старк решил «день Марии» праздновать. Ну, бал закатил. Офицеры с кораблей ушли, чтобы плясать там всякое. Того того и ждал: пришел и давай всех калечить... Говорят, таких дырок в кораблях понаделал, что теленка в них просунешь.

Клевета о «дне Марии», давно разоблаченная очевидцами и историками, уютно пригрелась в литературе, кочуя по книгам как

выигрышный момент для обострения сюжета: мол, смотрите, наши дурачки пляшут, а враги побеждают. Между тем точно известно: никакого гранд-бала Старк не закатывал, в ту ночь только что закончилось совещание командиров кораблей, все офицеры, как и матросы, не покидали боевых постов... Кто же автор этого скверного анекдота? Версию о «дне Марии» никогда не опровергал сам наместник царя адмирал Алексеев, чтобы оправдать свой же приказ — оставить эскадру на внешнем рейде Порт-Артура! Старк в этом случае был потребен ему как «стрелочник», которому и отвечать за катастрофу. Старк же не смел оправдываться только потому, что ему было велено заткнуться и молчать, если желает умереть на заслуженной пенсии.

Владивосток уже завалило сугробами снега, сильно морозило. Из дверей харчевен валили клубы пара, пахнувшего блинами: масленица продолжалась! Никто еще толком ничего не знал, а слабонервные натуры уже спешили на вокзал Владивостока, образуя криклившую очередь к билетной кассе:

— Мне бы до Хабаровска... два билета. А разве на Петербург все проданы? Вот те на! Чего ж я тогда стояла как дурочка? Ну, дайте до Иркутска... тоже нету? Безобразие! Еще война не объявлена, а железная дорога уже не работает...

— Чего вы, мадам, волнуетесь? — огрызались кассиры. — Вы посмотрите на карту: где Порт-Артур и где Владивосток? Вы не успеете доехать и до Иркутска, как с Японией все будет покончено, а мир подпишут обязательно в Токио...

27 января ледокол «Надежный» доломал льды вокруг крейсеров, а их команды кричали «ура!». Возглас матросов подхватили студенты Восточного института, в нетерпении выставившие зимние рамы окон. Толпа жителей кинулась бежать к пристани, где оркестры гарнизона наигрывали марши, на берегу остались рыдающие жены и невесты... Крейсера ушли, а Владивосток сразу погрузился в уныние, словно осиротел. В храмах начались торжественные молебны об «одолении супостата». Японской колонии в городе уже не было, но японские шпионы остались. Иные переоделись в белые широкие одежды, выдавая себя за корейцев; другие прицепили себе фальшивые косы, выдавая себя за китайцев. На телеграф Владивостока от них поступали срочные телеграммы, адресованные в Сеул и Генган: «Разгружайте четыре вагона с мясом», «Высылаю четыре швейные машинки». Тут и ума не требуется, чтобы разгадать смысл предупреждений, которые предназначались для адмирала Камигуры! Это был главный противник владивостокских

крейсеров, наши матросы звали его «Кикиморой», а иногда «Караморой»...

— Ну вот и пошли, — сказал мичман Панафидин, когда крейсера выбрались из тисков льда на чистую воду...

Колокола громкого боя возвестили экипажам первый воинственный «аллярм» — тревогу. Из пушек звончайше ударили пробные выстрелы — для прогревания застылых стволов. В нижних отсеках минеры уже закладывали в аппараты мины Уайтхеда (торпеды), говоря при этом даже обидчиво:

— Мама дорогая! Эдакая зараза по четыре тыщи за штуку. Ежели б на базаре продать ее, так до конца жизни можно ни хрена не делать... Жуть берет, как подумаешь, во что ж эта война мужикам да бабам нашим обходится!

Крейсера еще расталкивали одинокие льдины.

Рейценштейн держал свой флаг на «России».

А на мостице «Богатыря» — догадки и пересуды:

— Все-таки не мешало бы знать, куда мы идем?

— Секрет! Говорят, командирам выданы особые пакеты, которые они могут вскрыть лишь вдали от берегов...

За кормою растаял остров Аскольд; крейсера, натужно стуча машинами, вышли в открытое море, составляя четкий кильватер. Мороз усиливался. Стемман вскрыл пакет.

— Идем к Сангарскому проливу, — объявил он.

Сангарский пролив рассекал север Японии, отделяя от нее древнюю землю Иесо (ныне Хоккайдо), и офицеры «Богатыря» сразу же засыпали капитана 1-го ранга вопросами:

— Почему в Сангарский? Там полно японских батарей... Сунуться туда — это как идти на расстрел!

— Успокойтесь. Нам приказано лишь пошуметь у входа в пролив, чтобы вызвать панику в расписании японского каботажа. Если это удастся, адмирал Того будет вынужден оторвать часть своих сил к северу, ослабив напряжение у Порт-Артура...

Стрелки магнитных компасов уже дрогнули в своих медных котелках, крейсера медленно склонялись к остовым румбам. Панафидин поспешил в рубку, чтобы помочь штурману крейсера в прокладке генерального курса.

— Я не слишком-то верю в приказ из пакета, — сказал штурман. —

Скорее всего, войдем в Сангарский пролив, чтобы потрепать нервы гарнизону города Хакодате...

Началась зверская качка. Сильная волна перекладывала крейсера с борта на борт, в каком-то тумане плавали расплывчатые фигуры комендоров, завернутых в тулузы. С флагмана последовал сигнал: «Возможны атаки японских миноносцев. Зарядить орудия». С кормового балкона «Громобоя» море шутя слизнуло одного матроса, который даже вскрикнуть не успел.

— Был человек, и нет человека, — говорили матросы...

Крейсера шли без огней, ни один луч света не вырывался наружу из их громадных, ярко освещенных утроб, наполненных стуком машин и завываниями динамо. Дистанция между мателотами (соседями) скрадывала в ночи очертания кораблей, с «Рюрика» едва угадывали корму «Громобоя», которая то вскидывалась наверх, то проваливалась вниз, словно в каком-то хаотичном приплясе. Офицеры ходили в валенках, завидуя матросским тулузам, их кожаные тужурки покрывались ледяной коркой. Панафидин с молодым задором хвастался:

— Вторые сутки не сплю! И сна ни в одном глазу. Вот что значит война: даже спать не хочется...

Под утро усталость всех свалила по койкам, но заснувших людей взбодрила команда с мостика:

— Горнисты и барабанщики — по местам...

Опять «аллярм»! Где-то вдали едва просвечивал берег Японии, а из скважины Сангарского пролива вдруг выхлопнуло клуб дыма. Скоро показался пароход под японским флагом.

— Будем топить, — без волнения сказал Стемман. Соцветие флагов Международного свода сигналов приказывало японцам: оставить палубу, пересесть в шлюпки.

— Боевым... клади! — слышалось от пушек.

Очевидно, попали в бункер, потому что пароход выбросил в небо сгусток угольной пыли. Рейценштейн велел «Громобою» принять японцев на борт, ибо всем было видно, как трудно им выгребать на веслах к берегу. Это проявление человеколюбия задержало крейсера, которые добивали противника снарядами. Он погружался в море кормою, задрав нос, на котором можно было прочесть название: «Никаноура-Мару»... Рейценштейн приказал отряду отворачивать от Японии к берегам Кореи. Никто не понимал, чем вызвано это решение. Даже каперанг Стемман, осторожный в критике начальства, ворчал:

— Ради чего мы пережгли столько драгоценного угля, чтобы у самого

входа в Сангарский пролив отворачивать обратно? Боюсь, что наш Николай Карлович уже начал тосковать по сухой постели и не подумал о последствиях отворота...

Мириады брызг, вздыбленные штормом до высоты клотиков, на лету смерзались в жесткие кристаллы, ледяная корка обволакивала пушки и мачты, рулевые ногтями сдирали со стекол ледяной панцирь, чтобы видеть то, что лежало впереди по курсу. Внутри крейсеров все содрогалось от качки, винты, рассекая уже не воду, а воздух, иногда завывали так, что было жутко. Люди прислушивались, как постывает бортовое железо — от чудовищных, перегрузок на сжатие и растяжение корпуса.

Стемман проявил к Панафидину отеческое внимание:

— Как чувствуете себя, Сергей Николаич?

— Превосходно... у меня вестибулярный аппарат в порядке. Осмелюсь доложить: мы уже выходим на меридиан Владивостока, скоро, наверное, перед нами откроются корейские берега...

В шесть часов утра 1 февраля Рейценштейн указал отряду следовать во Владивосток. Критика превратилась в брань:

— Конечно, весь обвешанный орденами, он привык сидеть на берегу при своих чемоданах... Много с ним не навоюешь!

— Ахинея, — конкретно выразился штурман «Богатыря». — Своим приказом о возвращении Николай Карлыч словно оторвал меня от женщины, которую я только что начал целовать...

Объятые стужей и морем, владивостокские крейсера тяжко разворачивали бивни своих форштевней — к норду.

— Да, чепуха, — поддержал штурмана Стемман. — У меня такое дурацкое ощущение, будто эта война с Японией вообще не имеет четкого плана. Кто-то там в Адмиралтействе ляпнул, чтобы крейсера пошумели назло японцам, а Рейценштейн даже расшуметься-то не сумел...

Рулевой, стоя у штурвала, буркнул в усы:

— Тоже мне война... как в подкидного сыграли!

Панафидин испытывал чувство сомнительной обиды на эту войну. Именно потому, что война не казалась ему страшной.

Лживая легенда о «дне Марии» пришла по вкусу японским газетчикам, ибо эта басня рисовала русский флот в самом неприглядном

свете. Но японцы переинчили ее на свой лад. Вот как выглядела она в изложении популярного журнала «Нитиро-Сенси»: «Когда мы напали на Порт-Артур, в городском театре шло веселое представление „Русско-японская война“. Беспечные русские офицеры как раз смотрели последний акт этой пьесы, который назывался „Победа России“, и бутафорская пальба пушек на сцене заглушала для них звуки настоящей битвы на море...»

Микадо и микадесса поздравили Того с победой!

Парламент поднес ему благодарственный адрес, а корейский император подарил 50 коров и 30 000 пачек папирос, на всю жизнь обеспечив адмирала дармовым куревом. Вместе с адмиралом Того японская пресса восхваляла сомнительный «подвиг» миллионера Сонодо, который в первый же день войны отдал для победы свои золотые часики с длинной цепочкой. Газета «Дзи-Дзи» выступила с патриотическим призывом: «Наймем тысячу красивейших гейш, и пусть они собирают деньги в фонд победы: один поцелуй за 10 иен! Вы не думайте, что мы шутим, — продолжала „Дзи-Дзи“.— Как нам передают из достоверных источников, в русском городе Пермь г-жа Сахарина (?) на общественном балу собрала своими поцелуями с публики сразу 1500 иен (?) за один час (?)...» Конечно, в Перми целовались тогда сколько угодно, но никакой г-жи Сахариной в Перми не существовало, фонд обороны не зависел от поцелуев...

Героическая схватка «Варяга» с эскадрою адмирала Уриу заставила многих японцев задуматься о высоком воинском духе русских воинов. Токийская пресса выразила восхищение мужеством матросов и офицеров «Варяга», кривобоко объясняя его... самурайским духом, воплотившимся в Рудневе! Лишь на четвертый день после нападения Япония объявила миру, что она находится в состоянии войны с Россией. Маркиз Ито, все министры и дамы из окружения микадессы — с цветами! — провожали на токийском вокзале русского посла Розена, который мог бы сказать провожающим: «Если бы вы, дамы и господа, не обманывали меня, если бы вы не утаивали телеграмм на мое имя из Петербурга, возможно, все было бы иначе...» Наконец, на родину возвратился и барон Курино, бывший послом в Петербурге. Курино-то больше других японцев знал, что Россия потому и шла на уступки, что войны с Японией никак не хотела. Об этом он и заявил в Токио, после чего газеты писали: «Г-н Курино высказал в интервью совершенно нелепое мнение, будто Россия в нынешней войне неповинна... Каково нам слышать эти слова? Пусть он оправдается». Но Курино продолжал утверждать:

— Русские не ожидали нашего внезапного нападения, в Петербурге до

самого последнего момента рассчитывали разрешить все наши несогласия лишь дипломатическим путем...

В газетах Лондона все чаще встречались выражения: наши солдаты, наши корабли, хотя речь шла о японцах. В самом деле, зачем проливать свою драгоценную кровь, если войну с Россией можно выиграть самурайским мечом? Немало в эти дни радовался и президент США — Теодор Рузвельт, писавший: «Я буду в высшей мере доволен победой Японии, ибо Япония ведет нашу игру...» В японских госпиталях появились поджарые американки в халатах сестер милосердия. Откуда знать этим женщинам, что их сыновья будут взорваны в гаванях Пирл-Харбора детьми тех солдат, которых они сейчас поили с ложечки...

В самом конце января Япония болезненно вздрогнула: русские крейсеры замечены у входа в Сангарский пролив! В потоплении парохода «Никанура-Мару» японские политики увидели великолепную ширму, за которой удобнее всего скрыть свое собственное вероломство. Вся японская пресса развопилась как по команде, что русские моряки варварски нарушили «священные права войны». В газете «Иомиури» потопление парохода выдавалось за проявление «дикой жестокости и развратности русских, способное заставить самого хладнокровного человека стиснуть зубы...» При этом, конечно, не указывалось, что русские крейсеры открыли боевой огонь, когда экипаж «Никанура-Мару» был уже в шлюпках.

...Отряд крейсеров вернулся во Владивосток.

Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше.

Русские газеты тоже во многом бывали грешны. Матросы с крейсеров возвращались из увольнения обозленные:

— Эти поганые писаки развели галиматью, будто мы ходили на обстрел Хакодате. Нас теперь встречают на берегу словно героев, стыдно людям в глаза смотреть...

Стемман собрал своих офицеров:

— Подождем судить Николая Карловича! Кажется, Рейценштейн был прав, вернув отряд с моря. Дело в том, что уже на третью сутки похода мы оказались полностью небоеспособны... Да! Я уж молчу о поломках в машинах старого «Рюрика», вы лучше посмотрите, в каком состоянии наша артиллерия...

Волна, заливая крейсера, заполнила стволы их орудий, отчего внутри

каналов образовались мощные ледяные пробки. Комендоры теперь не могли вытащить обратно снаряды, не могли и выстрелить их в небо, чтобы разрядить пушки:

— Выстрели, как же... Не только от нас полетят клочья мяса, так и все пушки на сто кусков разнесет!

Шлангами с раскаленным паром обогрели стволы, лишь тогда из них выпали на палубу прозрачные ледяные бревна со следами пушечных нарезов. Потом задумались: случись встреча с кораблями Того или Камимуры, и ни одна из пушек бригады не смогла бы на огонь противника ответить своим огнем.

— А кто виноват? Я, что ли? — рассуждали повсюду, явно удрученные этой дурацкой историей. — Из боевых кораблей начальство понаделало «плавучих казарм», где учили, как надо честь отдавать офицерам... Все пятаки считали, мудрена мать! В море-то зимой не выпускали, на угле экономили. Конечно, отколь же нам иметь опыт плавания в сильные морозы?..

Примерно такой же разговор состоялся у Панафицина с офицерами «Рюрика», которые залучили «богатырского» мичмана в ресторан Морского собрания. Это был врач Николай Петрович Солуха, это был мичман Александр Тон, выходец из семьи славного архитектора. Тон возмущался:

— Зато у нас мыла никогда не жалели! По сорок раз одно место красили. Сегодня подсохнет, завтра соскоблим и заново красим... Впрочем, первый блин всегда комом, не правда ли?

Панафидин был симпатичен рюриковский доктор.

— Вы давненько у нас не были, — сказал ему Солуха.

— Все некогда... с девиацией крутимся.

— Ах, эта девиация, — вздохнул Тон. — Беда с нею прямо. Уж сколько трагедий знал флот от этих магнитов...

Панафидин навестил кают-компанию «Рюрика» не в самую добрую минуту ее истории, и виною тому снова оказался тишайший до войны мичман Щепотьев, который развивал прежнюю тему:

— Лично мне японцы не сделали ничего дурного, чтобы я убивал и топил их. Думаю, японцы тоже не могут испытывать ко мне ненависти, чтобы убивать меня... Разве не так?

Панафидин глянул на своего кузена: отточенные линзы пенсне Плазовского сверкнули, как бритвенные лезвия.

— Перестаньте, Щепотьев! Природа войны со временем глубокой древности такова, что человек убивает человека, не испытывая к нему личной ненависти. А когда на родину нападают враги, тут мудрить не

стрит: иди и сражайся... Basta!

Хлодовский помалкивал, и, казалось, своим преднамеренным молчанием он побуждает спорщиков высказаться до конца.

— Почему, — не уступал Щепотьев, — я должен жертвовать собой, своим здоровьем и своим будущим единственно лишь потому, что в Петербурге не сумели договориться о мире? Если не желаете понимать меня, так почитайте, что пишет о войнах Лев Толстой. Вы можете переспорить меня, мичмана Щепотьева, но вам не переспорить великого мыслителя земли русской!

Доктор Солуха не выдержал. Он поднял руку:

— Толстой велик как писатель, но как мыслитель... извините! Бога ищет? Так на Руси все ищут бога и найти не могут. Но никто из этих искателей не кричит об этом на улицах... Простите, — заключил Доктор, обращаясь к якуту-иеромонаху, — что я невольно вторгся в вашу духовную область.

— Бог простит, — засмеялся Конечников.

В спор вмешался старейший человек на крейсере — шкипер Анисимов, который выслужился из простых матросов, заведя на «Рюрике» маляркой с кистями и запасами манильской пеньки, своим горбом выслужил себе чин титулярного советника.

— Я, — скромно заметил он, — удивляюсь, что мы даже о Толстом побеседовали, но никто из нас не помянул о простейших вещах на войне — о святости присяги и воинском долге...

Кажется, Плазовский обрадовался этим словам.

— Почему ваши сомнения в справедливости войн возникли только сейчас? — обрушился он на Щепотьева с апломбом заправского юриста. — Ведь когда вы избирали себе карьеру офицера, у вас, наверное, не возникало сомнений в вопросе, противна ли война человеческой природе? Вскормленные на деньги народа, вы не стыдились получать казенное жалованье, в котором тысячи ваших рублей складывались из копеек и полушек налогоплательщиков! Значит, получать казенные деньги вам стыдно не было. А вот бить врагов вам вдруг почему-то стало неудобно... совесть не позволяет.

Только сейчас в спор вступил Хлодовский:

— Какова же моральная сторона вашего миротворчества? Меня, сознаюсь, ужасает мысль, что, не будь войны, вы бы спокойно продолжали делать карьеру... Теперь я вас спрашиваю, господин Щепотьев: почему вы молчали раньше, а заговорили о несправедливости войн только сейчас, когда война для всех нас стала фактом, а присяга требует от вас исполнения

долга?

— Вы все... каста! — вдруг выпалил Щепотьев. — История еще накажет всех вас за ваши страшные заблуждения.

— Если мы и каста, — невозмутимо отвечал Хлодовский, — то эта каста составлена из патриотов отечества, и, простите, вы сами сделали уже все, чтобы не принадлежать к этой касте, представленной за столом крейсера «Рюрик».

— Что это значит? — изменился в лице Щепотьев.

— Это значит, что вы обязаны подать рапорт об отставке, ибо русский флот в ваших услугах более не нуждается...

Щепотьев удалился в каюту. Все долго молчали, даже птицы притихли в клетке, нахохлившись. Это неприятное молчание рискнул нарушить барон Кесарь Георгиевич Шиллинг, вахтенный офицер в чине мичмана, обладавший классической фигурой циркового борца тяжелого веса.

— Мы люди темные, сермяжно-лапотные, — начал придуриваться барон. — Однако приходилось слыхивать, что больше всего сумасшедших в процветающих государствах, где царит полная свобода мысли. Но там, где свирепствует цензура, люди остаются в здравом рассудке и никогда не ляпнут ничего криминального.

Панафидин робко спросил врача Солуху:

— Скажите, а Щепотьев нормален ли?

— Нормальнее всех нас... просто струсили.

— Во-во! — согласился старик Анисимов...

После ужина к Панафидину подошли штурмана крейсера (старший и младший), капитан Михаил Степанович Салов и мичман Глеб Платонов — сын сенатора из новгородских дворян.

— Вы, Сергей Николаевич, — сказал Салов, — давно хотели бы перевестись на наш «Рюрик». Я думаю, вы вполне можете заменить мичмана в отставке Щепотьева... У нас есть рояль, имеем три граммофона, и не будем против вашей виолончели.

Грянул выстрел! Мимо офицеров, расталкивая их, в белом фартуке и размахивая полотенцем, как заправский официант, пробежал вестовой «Рюрика», обалдело крича:

— Щепотьев-то... прямо в рот! Только мозги брызнули...

Хлодовский раскуривал папиросу, и Панафидин видел, как дрожали его руки, разрисованные цветной японской татуировкой: зеленый осьминог увлекал в пучину ярко-красную женщину.

— Пиф-паф, и все кончено... самый легкий способ избавить себя от ужасов войны. Щепотьев уже нашел свой вечный мир, а сражаться за него

будут другие! Негодяй... мерзавец...

30 января адмирал Алексеев созвал в Мукдене ответственное совещание. Громадные китайские ширмы, расписанные журавлями и тиграми, заслоняли наместника от нестерпимого жара пылающих каминов. Иногда он вставал, как бы между прочим, подходил к бильярду и, всадив шар в лузу, снова возвращался за стол, покрытый плитою зеленого нефрита. Только вчера подорвался на минах заградитель «Енисей», и потому флагманы рассуждали о минной опасности. Начальник штаба Порт-Артурской эскадры, контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт, говорил тихонечко, словно во дворце наместника лежал непогребенный покойник. «Его Квантунское Величество» сказал, что сейчас на самых высших этажах великой империи решается вопрос о замене Оскара Викторовича Старка (который, надо полагать, и выполнял сейчас роль этого «покойника»):

— Начальником эскадры в Порт-Артуре, вне всякого сомнения, будет назначен Степан Осипович Макаров...

При этом Витгефт испытал большое облегчение.

— Слава богу, — перекрестился он, — я так боялся принимать эскадру от Оскара Викторовича... Ну какой же я флотоводец?

Верно: никакой! Сам по себе хороший человек, Вильгельм Карлович флотоводцем не был, а свои штабные досуги посвящал писанию беллетристики (его «Дневник бодрого мичмана» пользовался успехом среди читателей). Совещание постановило: ускорить ремонт кораблей, подорванных японцами, подходы к городу Дальнему оградить минными постановками. Наместник, поигрывая зеленым карандашом (его любимого цвета), добавил:

— НЕ РИСКОВАТЬ! Дабы сохранить дорогостоящие броненосцы, будем действовать миноносцами... и крейсерами, конечно!

4 февраля адмирал Макаров спешно отбыл на Дальний Восток. Военный министр Куропаткин был назначен командующим Маньчжурской армией. При свидании с адмиралом Зиновием Рожественским, который готов был составить на Балтике 2-ю Тихоокеанскую эскадру, Куропаткин адмирала радостно облобыздал:

— Зиновий Петрович, до скорого свидания... в Токио!

Перед отъездом на фронт Куропаткин собирал с населения иконы. Его

дневник за эти дни испещрен фразами: «Отслужил обедню... приложился к мощам... мне поднесли святую икону... много плакали...» Я не обвиняю Куропаткина в религиозности, ибо вера в бога — это частное дело каждого человека, но если Макаров увозил в своем эшелоне питерских рабочих для ремонта кораблей в Порт-Артуре, то Куропаткин увозил на поля сражений вагоны с иконами, чтобы раздавать их солдатам. Недаром же генерал Драгомиров, известный острослов, проводил его на войну крылатыми словами: «Суворов пришел к славе под пулями, а Куропаткин желает войти в бессмертие под иконами... опять не слава богу!» Проездом через взбаламученную войною Россию, минуя Сибирь с эшелонами запасных ратников, Куропаткин часто выходил из вагона перед народом, восклицая:

— Смерть или победа! Но главное сейчас — терпение, терпение и еще раз терпение... В этом главный залог победы. Россию наполняли подпольные листовки со стихами:

Дело было у Артура,
Дело скверное, друзья:
Того, Ноги, Камимура
Не давали нам житья.
Куропаткин горделивый
Прямо в Токио спешил...
Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил?

В разгар этих перемещений высшего начальства владивостокские крейсера совершили второй поход — к берегам Кореи, где с большим старанием обшарили заливы и бухты в поисках японских кораблей с войсками, но таковых не обнаружили.

Обескураженные, возвращались во Владивосток.

— Где же Того? — гадали на мостиках. — Где Камимура с его крейсерами? Бродим по морю, как по кладбищу...

Морозы во Владивостоке были сильные — до 20 градусов по Цельсию. Когда проталкивались через льды к местам стоянки, с бортов крейсеров срывало медную обшивку ниже ватерлинии.

А жители города рассказывали вернувшимся морякам:

— Без вас тут боязно! На крепость да пушки мы и не рассчитываем. Единая надежда на вас — на крейсерских...

Панафидин крепко уснул в своей каюте под мелодичные звоны столового серебра, которое перемывали в лохани вестовые, болтавшие меж

собою:

— А вот, братцы, этот самый Кикимора-то японский, говорят, мужик богатый... у него свой домина в Токио! Англичане ему уже привесили свой орден... за геройство евонное.

— Да где они геройство-то видели? Ежели Того зубы скалит у самого Артура, так Караморе этой прямой расчет сюда податься с крейсерами... от города одни головешки останутся!

Перемыли всю посуду и разошлись по кубрикам спать.

Флагманский крейсер «Идзумо» бросил якоря в заливе Такесики, что на острове Цусима. Контр-адмирал Камимура с почетом встретил у трапа английского журналиста Сеппинга Райта, сказав ему, что рад видеть у себя первого корреспондента Европы, допущенного на корабли микадо.

Сеппинг Райт приподнял над головой кепку:

— Первого и, боюсь, что единственного? — съязвил он.

— Возможно, что только вам оказана эта честь, — согласился Камимура. — Но от наших добрых друзей у сынов Ямато нет секретов. Между нами немало общего... хотя бы географически! Как ваша Англия нависает неким довеском над Европою, отделенная от нее водою, так и наша Япония оторвалась от материка Азии, сказочной птицей паря над океаном.

Внутри крейсера «Идзумо» монотонно верещали сверчки, живущие в крохотных бамбуковых клеточках. В кубриках было и тепло и чисто. На рундуках сидели матросы, в их руках мелькали вязальные спицы, а унтер-офицер читал им вслух старинный роман о подвигах семи благородных самураев.

— У нас все заняты, — говорил Камимура, сопровождая гостя в салон. — Это русские, когда им нечего делать, пьют водку или играют в карты. А наши матросы заполняют свободное время пением патриотических песен или вяжут шерстяные чулки для собратьев-солдат победоносной армии...

Салон Камимуры поразил Райта почти нищенской простотой; на круглом столе, покрытом бедной kleenкой, в кадке красовался карликовый кедр, которому насчитывалось 487 лет.

Самому же Камимуре было тогда 54 года.

— И все-таки мои предки, — рассказывал он, — не позволили кедру

развиться в могучее дерево. Лишая его воды и земных соков, они жестоким режимом принудили его превратиться в карлика, который не потерял качеств, свойственных кедрам, растущим на воле. Да, он маленький. Но он крепок, как и высокие деревья. Этим он похож на нас, на японцев...

Были поданы папиросы и чай. Камимура был большим любителем чеснока, и потому в разговоре с европейцем держал во рту кусочек имбиря, чтобы отбить дурной запах. Райт сказал, что в Корее, кажется, снова вспыхнула эпидемия оспы.

— Увы, — взгрустнул Камимура. — Нам, японцам, придется тратить лекарства на излечение этих бездельников. Вы, европейцы, еще плохо представляете те культурные цели, какие имеет наша Япония перед дикой и темной Азией...

Райт был хорошо осведомлен о положении в Порт-Артуре, ибо огни миноносок Старка блуждали по ночам неподалеку от Вэйхайвэя; он прямо спросил Камимуру, обладает ли тот достаточной информацией о русских крейсерах Владивостока:

— Ведь они всегда могут улизнуть от вашего внимания на Сахалин или даже... даже на Камчатку!

Камимура подвел Райта к аквариуму, в котором со времен японо-китайской войны проживал печелийский угорь, пребывая в глубокой меланхолии, свойственной всем «военнопленным». Но стоило адмиралу включить яркое освещение, как этот угорь мгновенно преобразился. Скинув хроническую депрессию, он вдруг сверлящей юлой стал зарываться в грунт аквариума.

Мелькнул его жирный хвост — и угря не стало!

— Видите? — вежливо улыбнулся Камимура. — Русские крейсера, как и этот угорь, будут вскоре вынуждены прятаться от ярчайшего света моих прожекторов. Владивосток станет для них таким же маленьким и тесным аквариумом, в котором они будут оплакивать свою печальную судьбу...

Сеппинг Райт остался недоволен этой беседой:

— Конечно, публике Лондона будет интересно читать о матросах, вяжущих чулки, они с удовольствием прочтут описание вашего кедра и этого забавного угря. Но желательно бы знать, каковы тактические задачи эскадры ваших броненосных крейсеров? Вы командаeте самой оперативной группой.

— О да! Мне оказана великая честь...

И как ни бился Райт, больше Камимура ничего ему не сказал (японцы умели беречь свои тайны). Вскоре адмирал Того пожелал видеть Камимуру на своем флагманском броненосце.

— Русские крейсера, — говорил он, — опять выбрались изо льдов Владивостока, недавно они шлялись возле Гензана, откуда наши станции слышали их переговоры по радиотелеграфу. Дальность их аппаратов «Дюкредэ» не превышает тридцати миль слышимости... Я прошу вас ознакомиться с последней директивой нашей главной квартиры. Читайте.

Камимура изучил указание Токио: «Предпринять немедленно решительные действия против Владивостока, послав туда часть флота для демонстрации устрашения неприятеля, пользуясь тем, что Порт-Артурская эскадра в самом первом бою понесла большие повреждения...» Того начал кормить перепелок.

— Мне желательно слышать, что вы скажете.

— Я думаю, — сказал ему Камимура, — что семи моих броненосных крейсеров вполне хватит для того, чтобы привести в ужас жителей Владивостока, после чего русские крейсера уже не рискнут вылезать в море дальше острова Аскольд.

Оркестр на палубе «Миказа» проиграл старую английскую мелодию: «В те давние денечки, когда все было другим, мы встречались с тобой на лужайке...» Того спокойным тоном сообщил о назначении Макарова и Куропаткина.

— Вряд ли Макаров может исправить все то, что разрушено нами до него. Закупорка мною Порт-Артура не позволит ему вывести эскадру для боя с моей... Сейчас, — продолжал Того, — вся Европа и даже Америка с трепетом взирают на Японию, тогда как вся Япония наблюдает за моими усилиями у стен Порт-Артура, а я буду смотреть на вас... да! От активности ваших крейсеров зависит многое. Я понимаю, что иногда даже опытная обезьяна падает с дерева. Но задачи войны требуют от вас солидного успеха с международным резонансом, чтобы Владивосток оказался в такой же осаде, в какой я держу Порт-Артур.

Откланиваясь, Камимура обещал Того:

— Я не та обезьяна, которая падает с дерева...

На японских крейсерах матросы разучивали новую песню:

Как слаба эскадра русских,
Как ничтожны форты Порт-Артура...
Гордо режет прозрачные воды Флот могучий — гордость Ниппона!
Под лучом восходящего солнца
Ледяная эскадра России растает.
На высотах седого Урала
Водрузим мы японское знамя!

Рожденная в департаменте печати военного министерства, эта песня не имела автора. Она являлась образцом коллективного творчества японских милитаристов. Из этого видно, что в Японии все было готово к войне заранее — даже песня! Не как у нас, грешных, которые в «табельные дни» уныло затягивали по приказу начальства: «Царствуй на страх врагам...»

Наступили «февральные репетиции» в Восточном институте, и директор Недошивин мимоходом спросил Панафицина:

— Надеюсь, теперь-то вы хорошо подготовились? Пришлось краснеть. Покраснев, пришлось и соврать:

— Старался. Насколько возможно в моих условиях...

На экзамене засыпался не он, а пострадал рюриковский священник Алексей Конечников, который неудачно передал Панафицину шпаргалку. Профессор Шмидт учинил ему выговор:

— От вас не ожидал. Ну ладно — мичман, у него своя стезя. А вы-то... вы! В духовном чине иеромонаха, образец праведной жизни, а даже шпаргалку не сумели передать как следует. Я прощаю мичману его слабость в суффиксах, а вас прошу разъяснить: показателем какого падежа будет управляемый член «токоро» в сочетании «токоро-о-кэмбуцугао»? Отвечайте...

Панафицин в страхе господнем поспешил откланяться, оставив своего приятеля на съедение зверю-профессору, и терпеливо дождался Конечникова в коридоре:

— Ну что там было с этим «токоро»?

— Нельзя же так! — обиделся священник. — Уж если вам суют шпаргалку, так умейте же принять ее, аки дар божий...

В воскресенье с коробкою шоколадных конфет «от Жоржа Бормана» (но проданных под вывескою «Кондитерская Унжакова» в доме № 35 по Светланской улице) мичман Панафицин снова навестил Алеутскую. Двери квартиры Парчевских открыла ему прислуга в чистеньком фартучке. В гостиной же мадам Парчевская раскладывала пасьянс, сообщив гостю, что Виечка вот-вот должна бы вернуться из сада Невельского:

— Вы знаете, сейчас среди молодежи пошла мода — крутить на коньках всякие пирамиды. Причем порядочная девушка вынуждена дозволить партнеру держать себя за талию... вот так! — Панафицину было

наглядно показано, как следует держать девицу, чтобы она не треснулась затылком об лед. — Игорь Петрович, — продолжала хозяйка дома, — оказался превосходным партнером, и сегодня они снова катаются на катке...

Панафидин с огорчением отметил, что Игорь Житецкий если не сделает карьеру на морях, то скоро обретет неземное счастье в этом состоятельном доме. Но тут, покрыв даму пик валетом, дама заметила коробку с шоколадом:

— О, как это мило с вашей стороны, господин мичман! Я как раз обожаю шоколад от Жоржа Бормана...

Но конфета, проделавшая долгий путь вдоль трассы Великого Сибирского пути, пока не достигла лавки Унжакова, обрела такую же несокрушимую твердость, как и крупновская броня, в результате чего сильно пострадал передний зуб госпожи Парчевской... Бедному мичману пришлось еще извиняться:

— Простите, что я, *volens-nolens*, оказался виновником этой чудовищной аварии...

От дальнейших неловких сочувствий его избавило появление с катка Вии Францевны — румянной с мороза, очаровательной.

— А-а, как я рада... Николай Сергеевич?

— Сергей Николаевич, — поправил ее Панафидин.

— Я все забываю, — капризно сказала девушка. — С этим папенькиным квартетом у нас бывает так много господ офицеров, что мне позволительно иногда и ошибаться.

Панафидин подумал, что в имени-отчестве Житецкого вряд ли. от когда ошибалась. («Не везет! Да, не везет...»)

— С вашего соизволения, я вас покину, сказал он.

— Ну куда же вы? — с пафосом воскликнула мадам Парчевская. — Вы как раз попали к обеду. Останьтесь.

— Конечно... останьтесь, — добавила Виечка.

Наверное, приглашение было лишь выражением общепринятой вежливости, но Панафидин по наивности принял его за чистую монету и, смущаясь, проследовал к столу. Прислуга обогатила его обеденный прибор вилкою, которой и нанесла дополнительную сердечную рану, сказав с немальным значением:

— Вот вам... это любимая вилка Игоря Петровича!

(«О боже, куда деваться от успехов Житецкого?...»)

— Наверное, — произнес Панафидин, обуреваемый ревностью, — наверное, этого мичмана Житецкого скоро передвинут куда-нибудь

подальше... вместе с его Рейценштейном!

Фраза была опасной. Виечка не донесла до своего нежного ротика тартинку, а мадам Парчевская, вооруженная ножом, временно отложила хирургическое вскрытие горячей кулебяки:

— Вместе с адмиралом? Почему вы так думаете?

Над кулебякой нависало облако пара, словно туман над Сангарским проливом, чреватым опасностями. Но Панафидин уже отчаялся в надеждах на счастье и сказал честно:

— Я держусь за флот, а мичман Житецкий держится за своего начальника. Флот России бессмертен, как и сама Россия, а вот о бессмертии начальства нам еще стоит подумать...

«Хорошо ли я делаю?» — успел сообразить мичман, но тут послышался странный завывающий звук, словно в небе какой-то ангел заработал пневматическим сверлом. Затем раздался тупой удар, дом на Алеутской дрогнул, а в кабинете доктора Парчевского само по себе спедалировало гинекологическое кресло. Брови мадам Парчевской вскинулись в удивлении.

— Кес-кесе? — сказала она и тут же, как опытный анатом, вскрыла ножом теплую брюшину ароматной кулебяки...

Вия, как и ее мать, тоже ничего не поняла в происхождении этого шума над городом, и она шутливо рассказывала Панафидину, что вопросительное «кес-кесе» памятно ей с гимназии:

— Что такое «кес-кесе»? Кошка кошку укусе. Кошка лапкой потрясе. Вот что значит «кес-кесе»... Смешно, не правда ли?

— Очень, — ответил Панафидин, весь в напряжении.

Снова этот сверлящий гул и... взрыв!

— Не понимаю, куда смотрит начальство? — возмутилась мадам Парчевская. — Объясните хоть вы, что происходит?

— Крейсера! Японские крейсера... здесь, в городе! Схватив в охапку шинель, он кинулся бежать в гавань.

Этот день выдался ясным, солнечным, высокие сугробы подтаяли, с крыш нависали серые глыбы снега, готовые рухнуть на панели, тротуары заполнила публика, приодетая ради воскресенья; все лавки, шалманы и закусочные были переполнены людьми, которые не могли знать, что с океана уже подкралась угроза их городу, их жилищам, их жизням... С

острова Аскольд японские корабли заметили еще утром, но определить их классификацию мешала дистанция. Оборона города не была оформлена до конца: форты Линевича и Суворова могли огрызнувшись от противника лишь редкими пушками и пулеметами. К полудню четко выявился враждебный кильватер, во главе которого — под флагом Камимуры — двигался «Идзумо», за флагманом равнялись шесть крейсеров: «Адзумо», «Иосино», «Асамо», «Иватэ», «Касаги», «Якумо». Огонь был открыт с двух бортов — японцы холостыми залпами сначала прогрели свои орудия.

С рейдовых «бочек» телефонные провода струились до помещения штаба отряда, но Рейценштейна на месте не было, на запросы с крейсеров отвечал Житецкий:

— Все понимаю, все доложу, все исполню...

Командиры крейсеров облавали Рейценштейна:

— Наверняка при пожаре в публичном доме во время наводнения порядка все-таки больше, чем у нас на бригаде...

Рейценштейн получил информацию с моря лишь около 10 часов. Он велел поднимать давление в котлах крейсеров, вокруг которых «Надежный» уже с треском разрушал льдины. Услышав гулы с моря, гуляющая публика кинулась к берегу, а жители городских окраин спешили подняться в горы, чтобы с их вершин видеть подробности. Камимура вел крейсера Уссурийским заливом, оптика его дальномеров отражала сияние заснеженных гор — без признаков обороны. Японцы лупили по сопкам наугад, желая вызвать ответный огонь, чтобы засечь координаты батарей, чтобы разгадать схему обороны Владивостока. Но русские молчали (еще и потому, что многие батареи находились в проекте, а пушки других хранились в арсеналах порта).

В половине второго Камимура перенапечил огонь на город. Снаряды летели вдоль Светланской — в пустоши Гнилого Угла, терзали долину реки Объяснений, множество снарядов даже не взрывалось. Когда Панафидин, запыхавшийся, появился на «Богатыре», весь отряд крейсеров уже жил одним общим порывом: идти в бой, прямо здесь погибать на глазах жителей...

— В чем дело? Почему не выходим?

— «Рюрик» держит: у него котлы, как в городской бане, два часа не могут набрать нужного давления...

Но «Рюрик» был готов сражаться даже с малым запасом пара. А приказа о выходе в бой не поступало. Александр Федорович Стемман то натягивал, то сбрасывал с рук перчатки:

— Николай Карлыч ведет себя странно. Наверняка в этот момент силы

небесные пачкают ему служебный формуляр отметками о непригодности... я еще мягко выражаясь!

— Почему стоим? — орали от пушек матросы. — Тоже мне, начальнички, называются. Хотим боя! Ведите...

Обстрел города продолжался. Один из снарядов врезался в дом полковника Жукова, пробил спальню его жены, развалил горячую печку, опрокинул всю мебель и, проткнув стенку, взорвал денежную кассу, выбросив на улицу часового, стоявшего возле знамени. Вопреки всем уставам (даже в нарушение их) знамя 30-го Стрелкового полка вынесла из руин и пламени Мария Константиновна Жукова — супруга полковника.

Камимура явился с эскадрою ради устрашения Владивостока, но горожане на все перелеты и недолеты отвечали смехом и шутками, тут же раскупая у мальчишек еще не остывшие осколки — в качестве сувениров. («Так же, как всегда, ходили пешеходы по улицам, ездили извозчики».) Только два японских снаряда оказались роковыми. При обстреле Гнилого Угла одна граната врезалась в здание морского госпиталя, перебив пять больных матросов на кроватях. Другой снаряд с «Идзумо» рассек пополам беременную женщину Арину Кондакову. Всего же японцами было выпущено по Владивостоку двести снарядов.

Офицеры ходили по мостикам крейсеров, ругаясь:

— Понос у нашего Николая Карлыча... великолепный понос! На кой черт тогда доверять ему руководство отрядом, если пора в клинику Бехтерева — подлечить свои нервы...

45 минут обстрела закончились. Камимура уже отводил крейсера в море, когда Рейценштейн велел с «бочек» сниматься.

— Догоним... всыпем, — убежденно говорил он.

Но за островом Аскольд было уже пусто, и лишь далеко разевало из труб японской эскадры пласти перегретого дыма от сгоревших английских кардифов. Всем было стыдно, и все дружно обругивали Рейценштейна:

— Кому он хочет замазать глаза? Если говорить о погоне, то самый тихоходный «Адзуто» даст все двадцать узлов, а наш несчастный «Рюрик» едва вытянет восемнадцать... Стыдно перед жителями, которые так наивно и горячо надеялись на нас!

В 17.00 бригада крейсеров вернулась на рейд...

Комендант города называл в штаб бригады, он сказал Рейценштейну, что у него теперь мало надежд на защиту обывателей от противника, а потому завтра же он переводит Владивосток на осадное положение.

— Предупреждаю: в своем докладе наместнику я не скрою от него

горькой правды, что ваши крейсера были выведены в море лишь через час после обстрела города японцами...

Николай Карлович велел подавать в кабинет ужин, усадив Житецкого писать донесение. Игорь Петрович, владея пером, составил хвастливую фальшивку и начальнику угодил:

— Пожалуй, все верно. Но хорошо бы усилить этот жуткий момент, когда мы гнались за Камимурой...

В новой редакции фраза о преследовании японцев дополнилась словами «я гнался за ним», и за эту героическую приписку, очевидно, следовало ожидать повышения по службе. Впрочем, адмирал Камимура тоже не был честен в своем рапорте, оправдывая свой отход закатом солнца. «Неприятель так и не вышел», — сообщал он Того (и был почти прав).

На «Богатыре» воцарилось нервное уныние:

— Макаров вот-вот появится в Порт-Артуре, и, надо полагать, Рейценштейну от него достанется...

Вечером Панафидин позвонил на Алеутскую.

— Это вы, Игорь Петрович? — спросила Виечка.

— Нет, это его противоположность. Простите, я сегодня так спешил, что вспыхах оставил у вас свою фуражку.

— Ну, заходите... — ответила Виечка.

Командующий флотом Тихого океана, вице-адмирал Макаров, прибыл в Порт-Артур утром 24 февраля — поездом. Флаг Старка еще колыхался над «Петропавловском», а Макаров поднял свой на крейсере «Аскольд». Не будем думать, что все как один радовались его прибытию, ибо некоторых в Порт-Артуре вполне устраивал девиз наместника: «Не рисковать!» Но Старк сдал эскадру — Макаров принял ее от Старка.

Старк признался, что он предвидел катастрофу внезапного нападения и заранее предлагал наместнику меры предосторожности. Он показал Макарову свой рапорт, на котором зеленым карандашом была начертана резолюция: «ПРЕЖДЕВРЕМЕННО».

— А теперь из меня сделали столб, возле которого любая собака желает задрать ногу. Наместнику же очень удобно не опровергать клеветы, дабы сберечь чистоту своего мундира...

Макаров в первую очередь старался изгнать с эскадры «дух казармы»,

чтобы моряки ощутили себя мореходами, а не жильцами кораблей, отданых им для квартирования. Так же не терпел он вмешательства генералов в дела эскадры:

— Кавалерии флотом не командовать! Армию нельзя и близко подпускать к нашим делам. Если это, не дай бог, когда-либо случится, эскадра погибнет... Но и средь нас, людей флота, собралось немало таких, кто не знает Дальнего Востока и его условий, кто приехал сюда отбывать цензовые сроки ради повышения в чинах. Таких будем удалять... беспощадно!

Очевидец писал, что матросы, глядя на флаг Макарова, даже крестились. Требовалось расшевелить флагманов, чтобы командиры кораблей ощутили великое чувство самостоятельности.

— Я, — выступил перед ними Макаров, — требую от вас полной откровенности, а полного согласия со мною... не потерплю. Я прежде всего человек, потому могу ошибаться. Раз и навсегда условимся: лучше уж между нами разразится хороший скандал, только бы не ваше чинопочитательное согласие с моей персоной. Война — дело живое, она равнодушия и казенщины не терпит.

Степан Осипович уже знал о делах в отряде крейсеров Владивостока, знал, что Камимура ушел от города безнаказанно, знал, что Рейценштейна в море и палкой не выгнать. Он, командующий флотом, принял важное решение...

— Если Иессен прибыл, — сказал он флаг-офицеру, — пусть явится ко мне сразу. Я должен его видеть.

На вызов Макарова явился контр-адмирал Карл Петрович Иессен, бывший командр крейсера «Громобой», выходец из семьи флотского врача. Макаров сказал, что назначает его командовать отрядом владивостокских крейсеров:

— Рейценштейн начал страдать водобоязнью, будто укушенный бешеной собакой. А водобоязнь у моряков хорошо излечивается службою на берегу. Два его выхода на позиции оказались бесполезны, а во время обстрела Владивостока он попросту... ослабел! Надеюсь, подробности вам известны.

(У Макарова была готова для Иессена четкая инструкция, которую я, да простит мне читатель, привожу в диалоге.)

— Что там творится во Владивостоке? Город наводнен агентурой, население устраивает крейсерам почетные проводы, форты салютуют, а оркестры играют веселые марши...

В инструкции Иессену указывалось: «Имейте в виду, что неприятель

попирает всякие международные законы, а потому будьте осторожны и недоверчивы... Примите все меры, чтобы о дне вашего выхода из Владивостока ни прямо, ни косвенно не было сообщено никому и, кроме шифрованной телеграммы на мое имя, никуда не было посыпано известий».

— Заведите, наконец, придирчивых цензоров на телеграфе, чтобы вникали в каждую из телеграмм, идущих в Корею.

— Но как сделать, Степан Осипович, чтобы жены матросов и офицеров не могли устраивать проводов своим мужьям?

— Приучите все население Владивостока к тому, что ваши крейсеры часто и неожиданно для всех покидают рейд ради боевых учений. Тогда и ваш выход на серьезную операцию будет воспринят жителями как обычная тренировка. Желательно даже разболтать в городе, что рейд покидаете ненадолго. Не допускайте проводов, словно на вокзале... Гавань не вокзал, а отход крейсеров — это не отбытие пассажирского поезда.

Макаров внушал Иессену: «Неприятель чрезвычайно настойчив и весьма отважен, разбить его можно лишь умением и хладнокровием... Поговорите с командирами (крейсеров) о том, как вы будете действовать в случае открытой схватки».

— Избегать ли мне боя или самому влезать в схватку?

— Такую схватку, — поучал Макаров, — не ставьте для себя главной задачей, но считайте ее возможной. Я никак не стесняю вашу инициативу, милейший Карл Петрович, но любые ваши действия во вред неприятелю всегда будут уместны.

Иессен немедля выехал из Порт-Артура...

В отряде крейсеров узнали о его назначении.

— Рейценштейн-то полетел... к чертям собачьим!

— Иессена мы знаем: он сам на крейсерах ходил...

Возмездие свершилось: Николай Карлович Рейценштейн спустился с мостика флагмана, заложив руку за отворот пальто, с таким гордым видом, с каким, наверное, император Наполеон, отрекшись от престола, спускался по лестнице Фонтенбло. Но за его спиной не рыдали прославленные маршалы, только один растерянный Игорь Житецкий тащил тяжелый портфель с бумагами.

Бюрократия покидала шаткие мостики крейсеров.

Японского военно-морского министра, адмирала Ямамото, мне трудно заподозрить в излишней сентиментальности. Однако именно он, министр, прислал письмо четырем русским матросам, которое и было опубликовано на розовой бумаге газеты «Ман-Чоо-Го». Дело в том, что эти матросы поступили в морской госпиталь Сасебо, плененные после страшного боя. Подвиг их миноносца «Стерегущий» стал широко известен в Японии, и потому Ямамото отдал — им свою дань самурайского восхищения: «Вы храбро сражались за свое отечество, защищая его прекрасно... Я искренно хвалю вас: вы — молодцы! Не тревожьтесь за свою судьбу: наш морской госпиталь в порядке, а врачи опытны. Желаю вам скорого выздоровления...»

..."Стерегущий" под командой лейтенанта Сергеева и «Решительный» под командой кавторанга Боссе возвращались от Эллиота, где кораблей противника не обнаружили. Била волна, палубы захлестывало. Обычное дело — не привыкать! Четыре японских эсминца вышли на пересечку курса. Бой сразу ожесточился, похожий на рукопашную схватку солдат. Сходились так близко, что один японец с «Акебоно», размахивая саблей, даже перепрыгнул на корму «Стерегущего», где и нашел свою смерть. Сергеев был убит сразу, а Боссе контузило. «Решительный» вывел из строя «Акебоно» и «Сазанами». Сумев сохранить скорость, он прорвался в Порт-Артур, а «Стерегущий» остался один... Все офицеры его пали замертво. Почти все матросы полегли, искалеченные огнем. Японцы окружили корабль, как волки добычу, они уже бегали по нашей палубе среди мертвцевов, заводили буксирные концы, чтобы тащить добычу в свое логово Сасебо, но... Прекрасный памятник «Стерегущему» в Ленинграде до сей поры рассказывает всем нам, что было дальше. Вечно шумящая вода из открытых кингстонов будет вечно обмывать бронзовые тела двух безвестных героев...

Эта беспримерная битва сразу же вызвала острую полемику среди офицеров эскадры в Порт-Артуре, откуда дискуссия, становясь оскорбительной для Боссе, перекочевала и на крейсера, стоящие в гавани Золотого Рога. Штурман крейсера «Рюрик», капитан Салов, не желал щадить кавторанга Федора Боссе; заодно с ним горячился и вахтенный офицер, пламенный грузин Рожден Арошидзе, недавно призванный из запаса:

— Вах! Почему кавторанга Боссе не отдали под суд?

— Преступление, — вторил ему юрист Плазовский. Старший офицер крейсера Хлодовский лишь недавно заслужил повышение, из лейтенантов став капитаном 2-го ранга.

— А за что нам судить Федора Эмильевича Боссе?

Он спросил об этом спокойно, чем и возмутил барона Кесаря Шиллинга, прозванного «Никитою Пустосвятом» за то упрямство, с каким он привык отстаивать свои мнения.

— Как за что? — взбеленился барон. — Не нас ли, господа, еще с корпуса учили: сам погибай, а товарища выручай.

Старший минер крейсера, Николай Исхакович Зенилов, имел предками казанских или касимовских татар. В скромном чине лейтенанта он пользовался большим уважением.

— Позвольте, — сказал Зенилов, — но это правило суворовское: оно не относится к флоту, где свои порядки...

Все сомнения рассеялись, когда во Владивостоке стало известно мнение вице-адмирала Макарова: реабилитируя честь кавторанга Боссе, он полностью оправдал его поступок:

— Федор Эмильевич был абсолютно прав, когда покинул «Стерегущего», спасая для флота своего «Решительного»...

Об этом же он и писал. «Повернуть ему (Боссе) на выручку — значило погубить вместо одного миноносца два... Если даже „Решительный“ повернул бы на помощь „Стерегущему“, он не смог бы его выручить, ибо неприятель... был в ЧЕТЫРЕ РАЗА сильнее двух миноносцев, выручить „Стерегущий“ было невозможно!» — докладывал Макаров наместнику.

Утром 3 марта в отряд крейсеров Владивостока прибыл новый ее начальник, контр-адмирал Карл Петрович Иессен, и подтвердил правильность поступка Боссе:

— Степан Осипович даже наградил команду «Решительного», и это должно послужить всем нам уроком на будущее. С точки зрения общечеловеческой морали «Решительный» совершил по отношению к «Стерегущему» непростительную подłość. Но оставим мораль в покое! С точки зрения извечных законов морского боя командир «Решительного» выбрал из тактики тот вариант, какой надо признать самым благоразумным... Не будем винить Боссе! Несчастный человек. Контузия в голову. Ничего не слышит...

Этот случай с гибелью «Стерегущего» впоследствии сыграл очень важную роль в тех документальных событиях, которые я и описываю здесь, читатель! Чтобы ты знал...

Макарову (с его громадным авторитетом) удавалось ладить с наместником, но приходилось учитывать всевозрастающее влияние Куропаткина, который имел право ему приказывать.

— Он больше других виноват в этой войне, — говорил Макаров. — Мне доводилось читывать его доклады после визита в Японию. Куропаткин заверял правительство, что японцы едва дышат, сытые одной килечкой на день, их армия — деръмо, а Порт-Артур неприступен вроде Карфагена. Боюсь, как бы эта наигранная бодрость министра не отрыгнулась для России бедой...

«Куро» по-японски «черный», «патки» — «голубь», а «ки» — «дерево». Японская пресса потешалась, рисуя черного голубя (Куропаткина), который запутался в листве черного дерева (Куроки). Маршал Тамемото Куроки, поддержаный флотом Того, первым высадил свои дивизии в Корее, форсировав реку Ялу, он в середине апреля одержал победу при Тюренчене. Этим сражением Куроки открыл для Японии дороги в Маньчжурию и в сторону Квантунского полуострова, в конце которого горячечно пульсировал Порт-Артур, главный нерв этой войны... Бездарное управление русской армией сказывалось и на делах нашего флота. Сдавая японцам одну позицию за другой, Куропаткин тем самым удушал Порт-Артур в кольце блокады, он парализовал действия наших эскадр своими неудачами... При этом твердил:

— Терпение, терпение и еще раз терпение...

Чтобы окончательно замуровать русскую эскадру в бассейнах Порт-Артура, адмирал Того предпринял атаки брандеров — кораблей для затопления их на фарватерах, дабы русские не вышли в открытое море. Брандеры вели смертники (очень схожие с будущими камикадзе). Перед смертью им не давали даже глотка саке, заставляя выпить чашку соленой морской воды.

Камиура напутствовал их на гибель словами:

— Ваш подвиг должен быть ясен и чист, как эта вода. Ступайте по своим кораблям, которые станут вашими могилами, и не возвращайтесь обратно. Вас уже не существует. Вас нет...

В эти дни Макаров писал: «Я предусматриваю генеральное сражение, хотя благоразумие подсказывает, что теперь еще рано ставить все на карту, а в обладании морем полумеры невозможны». 30 марта он снова выпустил миноносцы в море. Под сильным дождем их строй разорвался, корабли разлучились в ночи, следя самостоятельно. Наконец капитан 2-го ранга Константин Юрсовский обнаружил шесть миноносцев и пристроил свой миноносец «Страшный» в их кильватер...

Это была чудовищная ошибка, какие бывают на войне!

Шесть миноносцев, идущих впереди «Страшного», были японскими. Но японцы приняли «Страшного» за свой корабль, а Юрасовский принял японцев за свои миноносцы. Так они шли всю ночь. Утром «Страшный» воздел над собой русские флаги, и тогда шесть миноносцев измоловили его снарядами. Все были мертвы, и только лейтенант Ермил Малеев до конца косил врагов из пятиствольной митральезы. Крейсер «Баян», посланный на выручку, видел, как сгущаются дымы эскадры Того...

— Не назрел ли момент боя? — решил Макаров.

Он желал личной схватки с Того! Вся эскадра увидела его флаг над броненосцем «Петропавловск». Пары в котлах были подняты, команды воодушевлены присутствием адмирала. Флагманский корабль в своем движении наполз на «минную банку», и тогда «Петропавловск» исчез в бурном факеле пламени, который с ревом выбросило из погребных отсеков. Взрыв был настолько сильным, что люди, стоящие на берегу, испытали сотрясение почвы. Адмирала Макарова не стало. Он успел прокомандовать эскадрой только 37 дней...

Узнав о его гибели, наместник из Мукдена отстучал по телеграфу — на имя Витгефта: «Вступить в командование эскадрой».

Вильгельм Карлович схватился за голову:

— Боже! Ну какой же я флотоводец?

Март 1904 года завершился трагедией для России.

— Да бог с ним, с утюгом-то этим, — говорили матросы. — Голова пропала, вот что важно...

Для них Макаров запомнился: в распахнутом офицерском пальто с барашковым воротником, а рука вскинута в призыве:

— Флоту — рисковать!

Того узнал о гибели Макарова 1 апреля и сразу же сообщил об этом в Токио. Японцы устроили траурную демонстрацию с фонариками, выражая свое уважение к памяти павшего героя. Комментируя это известие, газеты Европы недоумевали: что за дикая гримаса цивилизации? Но, мне думается, демонстрация была искренней. Имя Степана Осиповича уже давно славилось в Японии, министр Ямamoto высоко оценивал его вклад в развитие науки о флоте, в теорию кораблестроения...

Иная реакция последовала в Царском Селе. В день гибели Макарова,

уже извещенный о ней телеграфом, император Николай II вышел в парк и сказал генералу Рыдзевскому:

— Давненько не было такой погоды! Я уже забыл, когда последний раз охотился... Не пора ли нам съездить на охоту?

Факт! Слишком красноречивый факт...

После набега эскадры Камимуры женатые офицеры с крейсеров отправили свои семьи подальше от Владивостока:

— Сейчас не до них — лишние заботы, лишние слезы. Надо целиком отдаваться службе, чтобы не думать ни о чем постороннем.

Траурные настроения в Порт-Артуре коснулись и отряда. Контр-адмирала Иессена приняли на крейсерах хорошо, ибо его назначение было связано с именем Макарова. Все думали, что Карл Петрович будет держать свой флаг на «Громобое», которым недавно командовал, но адмирал, чтобы не возникло излишних пересудов, остался на крейсере «Россия». Одновременно с ним пришел на «Россию» и новый командир — каперанг Андрей Порфирьевич Андреев, человек повышенной нервозности, явно больной. Делая «раздрай» матросам, он активно облучал их запахом валерьянки, отчего люди и «балдели», словно коты...

«Российские» матросы говорили об Андрееве:

— Вот псих! Сам псих, и нас психами делает...

Но появление в отряде Иессена внушало экипажам надежды, что бесплодное мотание по волнам закончилось, матросы горели желанием отомстить за Степана Осиповича:

— Пойдем и покажем кузькину мать, чтобы Камимура со своей Камимурочкой вовек от икоты не избавились...

Начинался опасный сезон весенних туманов. Из китайских источников поступила информация: 3 апреля Того имел беседу с Камимурой, в своих планах они учитывают угнетенное состояние духа русских экипажей. Но куда ринутся японские крейсера?

Иессен бродил с отрядом недалеко от Владивостока, требуя повышенной точности в эволюциях, согласованности в стрельбах, опробовал радиосвязь, будил команды ночных тревогами. Неожиданно покидая Владивосток, крейсера неожиданно и возвращались. Зная о том, что болтуны не переводятся, Карл Петрович нарочно распускал ложные слухи, дабы сбить с толку японскую разведку. Наконец 9 апреля Витгефт

оповестил его, что английские газеты пишут: «Адмирал Камимура с сильной эскадрой стережет Владивосток, надеясь перехватить русские крейсера...» Иессен созвал совещание каперангов.

— Вильгельм Карлович, — сказал он о Витгефте, — кажется, перестал понимать, что нельзя планировать операции по английским газетам. В смысле точной информации о противнике мы нищие. Но мы знаем: Камимура еще болтается в Желтом море. Если это ошибка, то она может стать для нас роковой...

10 апреля отряд покинул Владивосток, еще не зная, что в это же время Камимура вывел свои крейсера из Гензана к северу, сразу погрузившись в непроницаемый туман. Иессен взял с собой два миноносца — № 205 и № 206. Пройдя через Босфор, остановились у мыса Скрыплева. Только здесь, вдали от чужих и недобрых глаз, Карл Петрович объяснил суть дела:

— Идем в боевой поход. Господа офицеры, распорядитесь принять с портовых катеров запас провианта на десять суток. «Рюрику» предстоит вернуться обратно и ждать нас на «бочке». Со мною идут только быстроходные крейсера... Задача: сделать все возможное, чтобы помешать японским генералам перебрасывать войска из метрополии к фронту.

Опять моряцкая жизнь! Миноносцы валяло так, что с крейсеров на них было жутко смотреть:

— На «собачках» и житуха собачья. Не то что у нас...

Во время утренней молитвы «Богатырь» сыграл тревогу. Панафидин был вызван в рубку, где телеграфисты улавливали переговоры японцев. Из эфира им удалось выудить одну неразборчивую фразу, при этом Стемман еще и наорал на мичмана:

— Слушайте! Вы же, черт побери, студент у нас... Неужели такой ерунды не можете перетолмачить на русский?

Панафидин все же справился с японской фразой: «Густой туман мешает моему продвижению...» Это был острейший момент, когда Камимура прошел на контркурсе рядом с русскими крейсерами, не заметив их (как не заметили японцев и русские). Проклиная туман, Камимура отвернулся — на Гензан, где стоял готовый к отправкевойской транспорт «Кинсю-Мару»...

12 апреля три крейсера и два миноносца двигались под проливным дождем. Пахло весной, матросы оглядывали берега:

— Гляди-ка, у корейцев уже и травка зеленая...

Иессен свистом сирены подозвал к «России» миноносец № 206, на котором шел молодой кавторанг Виноградский:

— Илья Александрыч! Осмотрите Гензан... топите там все под

японским флагом. Но помните, что в городе существует европейский сеттльмент, будьте осторожны. Будем вас ждать...

Часа через два миноносцы, жарко дышащие кожухами перегретых машин, возвратились, Виноградский доложил:

— Камимура был, но ушел. Нами потоплен японский пароход «Гойо-Мару» с грузом. Команда бежала на берег. Остальные корабли подняли нейтральные флаги, а кое-где виделись и флаги Америки... Ну их к бесу! Влепи такому в бок мину, так потом нашим дипломатам будет вовек не отляться от протестов...

На миноносцах в котлах перегорели трубки, Иессен, дав им угля, отпустил их во Владивосток. Три крейсера («Россия», «Громобой» и «Богатырь») пошли дальше в заштилевшем море, уже сбросившем с себя одеяло тумана. Ближе к вечеру встретили пароход «Хагинура-Мару», сняли с него японцев и корейцев, а пароход затопили. Отбрасывая форштевнями встречную волну, крейсера двигались дальше. Радиосвязь фирмы «Дюкредэ» работала на 24 мили, но ее хватало, чтобы корабли могли переговариваться между собою. Иессен указал новый курс, ведущий к Сангарскому проливу... Стемман не одобрил это решение:

— Карлу Петровичу не терпится сунуть палец между дверей. Чего доброго, он пожелает обстрелять и Хакодате.

— А хорошо бы, — отозвался Панафидин. — Надо же как-то рассчитаться за обстрел Владивостока...

Ночь была лунная. Счетчики лага показывали 17 узлов, а компасы устойчиво фиксировали курс — 81 градус к норд-осту.

— Яркий свет... слева по борту, — доложили с вахты.

Большой корабль окружало дрожащее зарево электрических огней, яркие вспышки иллюминаторов. Заметив крейсера, он невозмутимо склонился на пересечку их курса.

— Нейтрал... войны не боится, — гадали на мостиках. Корабли сблизились. Иессен крикнул по-английски:

— Нация! Какой нации?

И даже радостно отвечали им из яркого света:

— Джапан... Ниппон... Банзай! Хэйка банзай...

К борту «России» подвалила шлюпка. На палубу крейсера, сияя улыбкой, поднимался офицер японского флота, его сабля с певучим звоном бренчала о выступы трапа. Увидев русских, он был ошеломлен. Но тут же отстегнул саблю:

— Вам повезло! Я принял вас за британские крейсера.

Он представился: капитан-лейтенант Мизугуци, военный комендант

транспорта «Кинсю-Мару», вышедшего из Гензана. Он был настолько уверен во встрече с союзниками, что прихватил и капитана, умолявшего теперь не топить его корабль.

— Я некомбатант, — заверял он русских...

Некомбатанты (подобно врачам, маркитантам, священникам и журналистам) во время войны имели права на особое уважение. Но ведь на «Кинсю-Мару», где сейчас медленно угасало зарево освещения, могли быть и комбатанты — люди с оружием. Понятно, что капранг Андреев умышленно задал вопрос:

— А что в трюмах? Назовите груз.

Мизугуци уже оправился от первого потрясения:

— Я не знаю. Кажется, жмыхи, соя... Что еще, Яги?

Капитан Яги закрепил ложь капитан-лейтенанта:

— Сушеная рыба и сырье шкуры из Гензана.

— Всё? — переспросил Андреев, начиная нервничать.

— Всё, — поклонились ему японцы.

Первая пуля тонко пропела над мостиком флагмана.

Вопрос: комбатанты или некомбатанты?

С флагмана — приказ: крейсеру «Богатырь» обеспечить высадку «призовой партии» для осмотра задержанного корабля. Среди офицеров на мостике Стемман сразу выделил Панафицина:

— Возглавить партию вам сам бог велел... с вашим-то знанием японского! Отправляйтесь на «Кинсю-Мару».

Для мичмана наступил трагический момент:

— Господи, да ведь я учился по шпаргалкам.

— Вот и расплачивайтесь за свои шпаргалки...

Прожектора высветили на транспорте пушки Гочкиса, которых раньше не заметили. Со всех сторон к крейсерам подгребали шлюпки с китайскими кули, которых японцы использовали как переносчиков тяжестей. Неряшливую, голодную, измученную опиумом и вшами толпу этих кули матросы брезгливо сортировали по внутренним отсекам — это были явные некомбатанты. «Призовая партия» составилась из «сорвиголов», вооруженных ножами и револьверами, каждый матрос имел переносный фонарь. С крейсера «Россия» отваливал катер с «подрывной командой», которую возглавлял лейтенант Петров 10-й (номер его Панафин помнил,

а имя забыл). Вместе с лейтенантом был взят на катер и капитан. Яги, настойчиво просивший обратить внимание на то, что огни его корабля давно погашены:

— Там никого не осталось. Ваши труды напрасны.

— Это мы проверим, — ответил Петров 10-й.

Вблизи «Кинсю-Мару» казался громадным. Долго карабкались по его трапам, на палубе было пусто, а на плите камбуза подгорал противень с картошкой. Кажется, капитан Яги говорил правду. На всякий случай Петров 10-й указал Панафидину:

— Проверьте отсеки, не осталось ли где людей? Может, кто дрыхнет. А кто и спрятался. Я тем временем заложу взрывчатку под фундамент машин. Бикфорд на какую длину шнуря ставить?

— Ставьте минут на пятнадцать горения, — ответил мичман. — Надеюсь, четверти часа мне хватит, чтобы обойти отсеки-Петров 10-й спустился в низы транспорта, где было тихо. Отыскивая люки в кочегарки, он в конце длинного коридора услышал бойкую японскую речь. Стал распахивать все двери подряд, пока в одной из кают не застал веселую картину. Был накрыт стол (с шампанским), шесть японских офицеров — в знак прощания с жизнью! — уже успели побрить головы наголо и теперь пировали как ни в чем не бывало.

— Мы ничего дурного не делаем, — сказал один из них. — Закройте дверь и оставьте нас для последнего пиршества...

«Смертники!» Подоспел унтер-офицер Горышин, у самураев отобрали оружие и спровадили их на крейсера — пленными. В кочегарках — ни души, но котлы еще держали давление, под стеклами манометров напряженно вздрагивали красные и черные стрелки. Тишину, почти невыносимую в этих условиях, нарушал лишь тонкий свист пара. Затолкнув пакеты взрывчатки под фундаменты котлов, Петров 10-й достал спички:

— Горышин, крикни нашим наверх, что я поджигаю... Пусть они там не копаются, а сразу прыгают по шлюпкам. Заодно проверни вот эти клапаны кингстонов... Крути, крути!

Спичка вспыхнула, и тут раздался крик с палубы:

— Стой! Не взрывать... скорее сюда, на помощь!

Букая сапогами в железные балсины трапов, отчего в утробе корабля возникало гулкое эхо, лейтенант с унтером Горышним ринулись наверх, а там Панафидин не может отдохнуться:

— В носовых трюмах... полно солдат! С оружием...

С кормы бежали матросы, размахивая фонарями:

— Давай деру... Чуть не устукали! Батальона два сидят в «кормушке», затворами щелкают, будто волки зубами...

Петров 10-й глянул в носовой люк, позвал:

— Эй, аната! Вылезай... худо будет, взорвем...

Сотни винтовок разом вскинулись кверху из мрачных глубин трюма, японцы при этом издали какое-то шипение, переходящее в рычание. В корме корабля их оказалось еще больше, чем в носу. Через мегафон лейтенант известил флагмана:

— Комбатанты! Целый полк японских солдат... в полном снаряжении. Никто не выходит... что нам делать?

— Вернуться на крейсера, — донесло голос Иессена.

Матросы налегли на весла, а с «России» выбросили торпеду, и она, сверля воду, устремилась к военному транспорту, палубу которого уже заполнили вооруженные японцы. Взрыв совпал с частным ружейным огнем, который открыли самураи с палубы «Кинсю-Мару». Первыми их жертвами стали наружные вахты открытых мостиков — рулевые и сигнальщики. Остальных заслоняла броня надстроек и казематов. Комендоры уже били в транспорт, заколачивая в его борта снаряд за снарядом:

— Бей... чего там думать? Не лыком шиты... клади!

С пробоинами в борту «Кинсю-Мару» медленно тонул, и тут сигнальщики крейсеров стали кричать, почти в ужасе:

— Смотрите, что делают... головы сымают!

На палубе, уходящей в море, самураи убивали один другого саблями, кололи друг друга штыками. С воплями «Банзай!» они погружались в шипящее море.

На крейсерах санитары уже разносили раненых по лазаретам. Иессен раскурил папиросу:

— На всех камбузах варить рис... для гостей.

Среди множества пленников было немало и офицеров флота, которые просили не смешивать их с офицерами армии. Очевидец с крейсера «Россия» писал, что лица японцев оставались бесстрастными: «Некоторые из них оказались говорящими по-русски, многих бывших обитателей Владивостока, все больше содержателей притонов, узнавали наши матросы...» Панафидину пришлось допрашивать пленных, которые неохотно признались:

— Мы никак не ожидали встретить вас здесь. Тем более что эскадра Камимуры курсировала совсем рядом, и лишь за полчаса до встречи с вами

нас покинул конвойный миноносец, считая, что мы находимся в полнейшей безопасности...

Крейсера оказались перегружены пленными; коки не успевали переваривать горы риса, запасы которого кончались. Иессен поневоле отказался от прорыва в Сангарский пролив, и днем 13 апреля он отвернулся к Владивостоку...

На мостице «Богатыря» удивлялись:

— Надо же так! Один раз еще с Рейценштейном, а сейчас с Иессеном собирались забраться в Сангарский пролив, и оба раза отворачивали. Значит, бывать там... бывать в этой норе!

Возле Поворотного маяка, прежде чем войти в Золотой Рог, с крейсеров запрашивали: был ли здесь Камимура с эскадрою? Служители маяка успокоили их — Камимурой и не пахло. Но горизонт часто застипало подозрительным дымом. До заката солнца портовые буксиры развели боны, и русские крейсера, докручивая на тахометрах последние обороты винтов, втянулись в родимую гавань... Дело сделано! Склянки пробили четыре раза.

Восемь часов. Смена вахт. Остальные свободны.

Япония всполошилась: одним махом русские уничтожили три корабля в 5000 тонн водоизмещением, погибли тысячи тонн угля и военного снаряжения, наконец, свыше 600 пленных — все это отразилось на судьбе Камимуры, который свои просчеты оправдывал туманом... только туманом!

Теперь адмирал Того был вынужден ослабить свою эскадру, чтобы усилить эскадру Камимуры — для противоборства с бригадою владивостокских крейсеров. В результате резко снизилось боевое напряжение у стен Порт-Артура, за что его гарнизон мог благодарить Владивосток. Отныне эскадра Камимуры отрывалась от баз в Желтом море, в постоянной боевой готовности она дежурила в незаметной бухте Озаки на острове Цусима...

Цусима обретала стратегическое значение! 15 апреля началась разгрузка пленных с крейсеров на берег. «На Адмиральской пристани, куда свозили японцев, и на Светланской, — писал очевидец, — стояла такая толпа народу, что удивляешься, откуда во Владивостоке столько жителей. Мы проводили своих пленных приветливо, снабдив их, у кого не было,

шляпами, кого сапогами; на некоторых были надеты матросские фуражки (бескозырки)». Среди горожан не было заметно никакого злорадства, «скорее даже сочувствие к чужому, хотя и враждебному горю веяло от сдержанного спокойствия толпы», — писал в те дни корреспондент «Одесского листка». Многие жители Владивостока узнавали среди японцев своих прежних знакомых, хотя эти друзья-приятели и делали вид, будто они по-русски — ни бе ни ме ни кукареку. Один страховой агент даже обиделся на японского поручика Токодо:

— Ну чего притворяешься? У тебя же лавка была на Продольной. Я у тебя горшок покупал... Ну? Вспомнил?

Японец поднял глаза к небу, как бы рассматривая облака, почесал переносицу и вдруг улыбнулся широкой улыбкой:

— Шестнадцать рублей взял... Хорош ли товар?

— Отличный! — расцвел страховой агент. — До сих пор вся семья не нарадуется...

Перед отбытием на вокзал капитан-лейтенант Мизугуци произнес речь, в которой благодарил русских за гостеприимство, после чего японцы кланялись публике. К перрону был подан состав, чтобы отвезти пленных до Ярославля. Тут наше российское сострадание проявилось сверх всякой меры: в вагоны к японцам совали бутылки с вином, дарили коробки папирос и печенья... На крейсерах говорили, что это уже сущее безобразие:

— Так нельзя! Ведь еще неизвестно, каково нашим-то в плена японском живется. Может, они на луну извылись...

В ночь на 16 апреля в Уссурийском заливе, близ города, снова появились японские крейсера; теперь жители, убоясь обстрела, с пожитками уходили в сопки. Но японцы на этот раз не стреляли, что-то сбрасывая в воду, а с наступлением дня тихо ушли... Иессен не стронул отряд с рейда, справедливо решив, что с японских Крейсеров поставлены мины.

— Очевидно, Камимура решил сковать маневренность наших крейсеров, отчего сразу усиливается интенсивность перевозок японских войск к Порт-Артуру, — говорил он. — Вильгельм Карлович извещает меня, что возле того самого места, где погиб адмирал Макаров на «Петропавловске», водолазы обнаружили еще один «минный букет» — целую связку мин... У нас нет хорошей партии траления. Чем помочь горю?

Горю помогли любители аэронавтики. Доморощенными способами они умудрились склеить аэростат, который с высоты выглядывал японские мины на глубине...

Долго гадали в экипажах матросы, загибая пальцы на заскорузлых руках — кого теперь назначат на место Макарова.

— Зиновия? — говорили о Рожественском. — Не, он на Балтике вторую эскадру собирает. Ежели, скажем, Григория? — говорили о Чухнине. — Так его от Севастополя на пневматике не отсосешь. Федора? — говорили о Дубасове. — Так его и даром не надо: тигра такая, будто ее сырьим мясом кормят...

Командующим флотом Тихого океана был назначен вице-адмирал Николай Илларионович Скрыдлов, которому было велено ехать в Порт-Артур. Скрыдлов не спешил и, подобно Куропаткину, тоже собрал немало икон — святых, чудотворных и всяких прочих.

Сразу же после гибели Макарова в Порт-Артуре появился наместник Алексеев, поднявший свой адмиральский флаг на «Севастополе», у которого были погнуты лопасти винтов.

— Неспроста ли выбрал «коробку», которую с места не сдвинешь? — рассуждали матросы. — Куда ж без винтов ходить? Нет, братцы, это тебе не Степан Осипыч...

Как бы ни относиться к «Его Квантунскому Величеству», следует признать за истину: наместник не помышлял о падении Порт-Артура, желая отстаивать его до конца. Между ним и Куропаткиным завязалась упорная борьба, арбитром в которой выступало правительство. Петербург поддерживал Алексеева, справедливо указывая Куропаткину, что потеря Порт-Артура «подорвет политический и военный престиж России не только на Дальнем Востоке, но и на Ближнем Востоке... наши недруги воспользуются этим, чтобы затруднить нас елико возможно, и друзья отвернутся от России как от бессильной союзницы...»

Куропаткин откладывал эти нотации в сторону.

— У меня более трезвый взгляд на вещи! — говорил он. — Я не считаю, что мы должны держаться за Порт-Артур. Вспомните, что Кутузов на известном совете в Филях тоже стоял на том, что можно сдать французам Москву. Тогда его порицали. А кто оказался прав? Кутузов... Так же и я, подобно гениальному Кутузову, имею вполне трезвый взгляд на вещи!

Дался ему этот «трезвый» взгляд. Куропаткина мало заботила судьба Порт-Артура, а все его дискуссии с наместником ни к чему не приводили.

Алексеев говорил:

— Я несведущ в делах армии, а Куропаткин разбирается в делах флота, как свинья в апельсинах. Когда начинаем споры, у нас получается картина, словно в том анекдоте, где слепой от рождения любуется пляской паралитика...

После боев у Тюренчена, когда Куроки разбил генерала Засулича, Куропаткин продолжал твердить, что положение Порт-Артура еще не стало критическим. Но даже дуракам было ясно, что Того держит эскадру близ Дальнего не для того, чтобы любоваться Квантунским пейзажем, а пехота на его кораблях — не туристы.

Алексеев шкурой ощущил ко, чего никак не желал понимать Куропаткин... 22 апреля он вызвал Витгефта:

— Вильгельм Карлович, можете поднимать свой флаг. А я спускаю свой флаг и убираюсь ко всем чертям... в Мукден! До прибытия адмирала Скрыдлова эскадрою Порт-Артура назначаю командовать вас. Комендантом останется Стессель...

Он отъехал столь поспешно, что оставил в Порт-Артуре даже свою челядь. На следующий день японцы выбросили десанты в порту Бицзыво, на подступах к Дальнему, а Дальний уже совсем рядом от Порт-Артура. Теперь самураям осталось сделать один прыжок, и линия КВЖД, связующая Порт-Артур с Россией, оказывалась разрубленной. Алексеев удрал вовремя: по вагонам санитарного поезда, идущего под флагом Красного Креста, уже щелкали пули, добивая раненых, детей и женщин. Целых четыре дня японцы не обрывали правительственный провод, слушая перебранку Витгефта с наместником. 26 апреля никому не известный Спириidonov, в компании двух русских писателей, Дмитрия Янчевецкого и Василия Немировича-Данченко, взялся доставить в Порт-Артур громадный эшелон с боеприпасами. Смельчаки сели на паровоз и рванули вперед, давя японцев на рельсах, писатели поклялись, что взорвут весь эшелон и погибнут сами, если их остановят... Эшелон прибыл!

Витгефт созвал совещание, даже не заметив, наверное, что место председателя досталось генералу Стесселю. Случилось то, чего пуще смерти боялся Макаров: эскадру прибирала к рукам армия. В преамбуле протокола выразились пораженческие намерения Стесселя: флот якобы уже неспособен к активным действиям, посему будет лучше, если свои боевые средства с кораблей он передаст командованию гарнизона...

Впрочем, у меня, автора, еще не возникло нужды излишне драматизировать обстановку, как полное отчаяние, прерываемое зубным скрежетом патриотов. Отнюдь нет! Люди сражались, стойко переносили неудачи, верили в лучшее. Голоды в Порт-Артуре не знали: мука, конина,

водка, чай, сахар не переводились до конца осады. В ресторане «Палермо» рекою текло шампанское... Были тут юмор и любовь, бывали мгновения большого человеческого счастья, все было. Жили и верили:

— Эта чепуха с осадою не затянется! Что-нибудь одно — или Куропаткин нас выручит, или Зиновий Рожественский приведет эскадру с Балтики и раскатаает Того, как бог черепаху...

1 мая контр-адмирал Иессен доложил наместнику в Мукден, что генеральный фарватер у Владивостока прорален, его крейсера снова готовы вырваться на стратегический простор. В этот же день из Порт-Артура вышел заградитель «Амур», забросав подходы к крепости минами. С этого момента начались самые страшные, самые черные дни для Того и его флота.

Когда в бухте Керр, возле Дальнего, раз за разом подорвались на русских минах сначала миноносец № 48, а потом авизо «Миако», ничто не дрогнуло в душе Хэйхатиро Того: война есть война, и потери на войне неизбежны... Но 2 мая русская мина, поставленная «Амуром», рванула брюхо броненосца «Яшима»; в облаке пара он еще полз по инерции, пока эта инерция не затащила его на вторую мину: переборки треснули — конец! Другой броненосец, «Хацусе», в точности повторил маневр «Яшима», наскочив на две наши мины. Он держался на воде 50 секунд; полтысячи человек погибли сразу. Наши наблюдатели с Золотой Горы и с Электрического Утеса видели эти взрывы устрашающей силы, они даже фотографировали моменты агонии врагов, и в Порт-Артуре долго кричали «Ура!» своим отважным минерам. — Расплатились-таки за Макарова! — говорили артурцы. — Сейчас выйдем эскадрой в море — для боя...

Но осторожный Вятгефт поднял сигнал:

— Командам разрешаю увольнение на берег...

Японская пресса, обычно болтливая, на этот раз хранила молчание (и в Японии очень долго не знали о судьбе погибших кораблей). Того, наверное, пережил бы эти потери как закономерные в ходе большой войны. Но в тот же черный для него день броненосный крейсер «Кассуга» врезался в крейсер «Иосино», который перевернуло кверху килем с легкостью, будто это была пустая консервная банка. Море, всегда безжалостное к людям, алчно забрало в свои глубины еще 300 человек. Пострадал и сам «Кассуга» — его с трудом оттащили в Сасебо для ремонта... Того призадумался:

— Надеюсь, это была последняя жертва?

Но тут же сел на камни посыльный «Тацути», на котором адмирал Насиба спешил повидать свое начальство. На следующий день погода была по-прежнему ясная... Взрыв! — и не стало миноносца «Акацуки», который на полном ходу проехал своим пузом по русской мине. Японский флот охватила паника:

— Это не мины! Это русские подводные лодки...

Если это так, то, кажется, подтверждалась секретная информация из Петербурга: балтийские матросы ставили свои подводные лодки на железнодорожные платформы — для отправки их на Дальний Восток. «Неужели они уже здесь?..» Того доложили, что канонерская лодка «Акаги» входит на рейд Кинчжоу, уже готовая к постановке на якорь.

— Хорошо, пусть отдаст якоря, — кивнул Того.

На этот раз не взрыв, а — треск! «Акаги» острым форштевнем разрубила свою же канонерку «Осима».

— Боги отвернулись от меня, — сказал Того. — Наши потери таковы, будто мой флот проиграл большое сражение...

Если бы адмирал Витгефт был настоящим флотоводцем, он не упустил бы этого победоносного момента. Воскресни сейчас из бездны Макаров, он бы вывел эскадру в море — немедля — и дал бы флоту Того такой славный бой, что, наверное, зашаталась бы вся Япония... Но этого не случилось, а беда коснулась нас с другой стороны — там, где мы ее не ждали. Кто виноват в этой беде — сейчас судить трудно. Советский историк флота В. Е. Егорьев ([сын командира крейсера «Аврора», павшего при Цусиме]) высоко оценивал энергию Иессена, но при этом счел своим долгом отметить, что «решительность» Карла Петровича иногда бывала слишком рискованной.

Все корабли, как и люди, смертны. Но смерти бывают разные. Одни погибают в бою, им ставят памятники, как героям. Других губит стихия, и они исчезают бесследно, как «пропавшие без вести» на фронте. Но для кораблей уготована судьбою еще и привычная «смерть в постели», заверенная в конторах. Это когда их кладут на жесткое ложе заводских стапелей и начинают разбирать от киля до клотика.

Девушка, укрепляя булавкой шляпу на голове, не задумывается, что ее булавка — частица когда-то гордого корабля, пущенного в переплавку мартенов. Крестьянин, идущий в поле за плугом, тоже не знает, что металл его плуга когда-то резал не землю, а кромсал высокую волну океанов.

Корабли, как и люди, часто болеют. Тогда их лечат. У них бывают и серьезные травмы. В этих случаях инженеры-хирурги делают сложные

операции. Иногда у них что-то даже ампутируют. Что-то к ним добавляют вроде протезов.

«Богатырь» очень долго болел после сильного удара, полученного в область «солнечного сплетения». Все думали, что он умрет. Но крейсер, к удивлению других кораблей, выжил, о чем корабли еще долго сплетничали на рейдах, подмигивая один другому желтыми глазами прожекторов. Рожденный в 1901 году, «Богатырь» прожил до 1922 года и мирно скончался в «постели», о чем записано в его житейских метриках.

Это случилось с ним уже при советской власти.

Давняя традиция русского флота обязывает командира корабля в воскресные дни обедать в кают-компании; если на борту корабля находится адмирал, командир приглашает к общему столу и адмирала. Но в день 2 мая, казалось, никто не помышлял об обеде — туман был настолько плотен, что, когда «Богатырь» снялся с «бочки», сигнальщики с трудом разглядели боковые поплавки, обозначавшие «ворота» в заграждениях гавани.

— Туман разойдется, — говорил Иессен. — А мне надо быть в Посыте, чтобы проверить тамошнюю оборону...

Золотой Рог с Владивостоком исчезли за кормою, будто их никогда и не бывало на свете, а на входе в пролив Восточного Босфора Стемман отдал якоря. Этот чудовищный грохот якорных цепей, убегающих на глубину, очень обозлил Иессена.

— Очевидно, — сказал он в сторону, но адресуясь к Стемману, — кое у кого здесь трясутся на плечах эполеты.

Стемман ответил, что туман следует переждать.

— Это у меня эполеты трясутся! Я не знаю, как складывалась ваша карьера, Карл Петрович, но мне эполеты капитана первого ранга достались со скрипом...

Наверное, этого не следовало говорить. Иессен сразу обиделся, осипав Стеммана досадными упреками:

— Александр Федорович, вы воспитывались во времена «Разбойников», «Герцогов Эдинбургских» и «Русалок», когда скорость в восемь узлов считалась опасной. Между тем англичане не боятся даже в тумане бегать на пятнадцати узлах.

— Я не англичанин, — грустно отвечал Стемман. — Но я вижу, что плывем как мухи в сметане, а за крейсер отвечаю!

Панафидин заглянул в ходовую рубку.

— Там скандалят, — сказал он со смехом.

— Я слышу, — отвечал штурман. — Александр Федорович прав, а наш адмирал напрасно бравирует лихостью...

Иессен сам вывел «Богатыря» в Амурский залив, негласно отстранив Стеммана от рукоятей командирского телеграфа. Он отработал на телеграфе приказ в машину: дать 15 узлов.

Вода шумно вскипела за бортом, и адмирал сказал:

— Александр Федорович, ведите крейсер сами.

— На такой скорости не поведу.

— Отказываетесь исполнить приказ адмирала?

— Да. Отказываюсь...

Жалко было смотреть на несчастного Стеммана, и в этот момент мичман Панафидин простил ему многое... даже глупое преследование им виолончели. Между тем туман снова сделался непроницаем. Положение же самого адмирала было незавидно. Карл Петрович нервно передвинул рукояти телеграфа:

— Так и быть! Уступаю вам: даю десять узлов.

— Дайте семь, — глухо отозвался Стемман.

— Может, все-таки вы поведете крейсер?

Стемман перешел на сугубо официальный тон:

— Господин контр-адмирал, я согласен командовать своим крейсером только в том случае, если вы покинете мостик и перестанете вмешиваться в управление кораблем...

Покидая мостик, Карл Петрович указал на вахту, чтобы за три мили до острова Антипенко изменили курс влево:

— Я буду в низах. Известите меня.

— Есть, — ответили ему штурмана...

Панафидин искося наблюдал за Стемманом. Время близилось к обеду, и, чтобы остаться верным флотской традиции, они с адмиралом должны быть в кают-компании как лучшие друзья. Обед был необходим, чтобы замять скандал на мостике. По этой причине Стемман даже не велел сбавить скорость.

— Держите на десяти узлах, — обратился он к штурманам и, спускаясь по трапу, напомнил о повороте влево. — В двенадцать тридцать, за три мили до Антипенко... Ясно?

Шли по счислению (как ходят моряки, когда все небесные и земные ориентиры потеряны, доверяясь лишь показаниям приборов). Панафидин только что принял ходовую вахту, теперь не отводил глаз от картушки

компаса, слушал ритмичное пощелкивание лага, не упускал из виду колебания стрелок тахометра, отбивавшего количество оборотов винта...

Рулевой за штурвалом сказал вдруг опасливо:

— Мне-то что? Я матрос, а вот вам, офицерам...

— Помалкивай, — круто обрезал его Панафидин.

Ровно за три мили до острова Антипенко (в 12.30) старший штурман спустился в кают-компанию, чтобы продублировать адмиральское «добро» к повороту на левые румбы. Панафидин остался на мостице... Страшный треск, а потом грохот!

— Мина, — не крикнул, а прошептал мичман, и тут же увидел перед собой каменную стенку, на которую с железным хрустом корпуса влезал «Богатырь», сильно раскачиваясь.

Вслед за тем наступила гиблая тишина.

В этой тишине раздались рыдания. Приникнув лбом к ледяной броне, громко плакал капитан 1-го ранга Стемман:

— Я же говорил — нельзя... семь узлов — не больше. А теперь... сколько лет... служил... все прахом! Моя карьера...

К нему, скользя по решеткам мостика, подошел Иессен:

— Александр Федорович, вы не виноваты. Виноват в этом один лишь я и всю вину за аварию беру на себя...

Крейсер всей носовой частью разодранного корпуса прочно сидел на острых камнях. Как назло, только сейчас туман распался, и штурман сразу определил место аварии:

— Мыс Брюса... бухта Славянка... сидим крепко!

Сели так, что нос крейсера свернуло в сторону. Через громадную пробоину вода уже затопляла отсеки, следующие за таранным форпиком. Стемман кричал в амбушюр переговорной трубы, чтобы в машинах не жалели угля и пара:

— Сколько можете... дайте... самый полный назад!

Винты работали с такой мощью, что из-под кормы искалеченного «Богатыря» вылетела целая Ниагара, но крейсер — ни с места. Зубья скал уже вцепились в его изуродованное тело, не отпуская свою добычу. Из Владивостока вызвали буксиры и ледокол «Надежный»; был объявлен аврал, матросы перегружали уголь из носовых бункеров в кормовые. Все работали не щадя себя, понимая, что отряд лишенный «Богатыря»,

останется под тремя вымпелами — против мощной эскадры Камимуры... Ледокол тянул их за корму на чистую воду, но сил не хватало, и адмирал вызвал в бухту Славянка «Россию», чтобы тянули совместно. Андреев привел свой крейсер вместе с миноносцами — для охраны аварийного района.

— Сейчас, — сказал он при встрече с Иессеном, — велика опасность появления японцев. Конечно же, их разведка уже пронюхала об аварии, в городе только и болтают об этом...

Под утро ветер задул с небывалой силой, к вечеру шторм достигал уже 10 баллов. «Богатырь» стало валить с борта на борт, все слышали скрежет раздираемого железа.

— Положение критическое, — рассудил Стемман. — Боюсь, что мой «Богатырь» до конца войны выведен из строя...

Луч прожектора, включенного на мостице, то освещал кусок безлюдного берега, то прямым столбом устремлялся в облака. Механики доложили, что, если вода пойдет дальше носовых отсеков, крма осядет ниже корпуса, и тогда крейсер разломит пополам. Иессен решил свозить команду на берег:

— Пусть разведут костры, обсохнут и обогреются...

Матросы покидали корабль уже с риском для жизни. Ночью бортовые размахи крейсера достигли 22 градусов, при этом, когда «Богатырь» раскачивало, каменные клыки еще больше и глубже вонзались в его днище. Стемман подозвал Панафицина:

— Где вы спрятали свою виолончель?

Притворство было теперь бесполезно.

— Не знаю. Ее укрыли где-то в низах матросы.

— Так скажите им, чтобы забрали виолончель из своих тайников. Вода из носовых отсеков пошла дальше и может залить вашего... как его? «Гварнери», кажется...

К шести утра крейсер последними покинули адмирал с офицерами. Обезлюдовавший «Богатырь» громыхал корпусом, ерзая днищем на скалах, потом его чуть развернуло влево. Появилась первая искра надежды. Ветер понемногу стихал. Грязь у потухающих костров, бездомные, как цыгане у разоренного тabora, богатырцы рассуждали, что делать дальше:

— Хоть плачь, а надо размонтировать носовую башню, снять орудия, потом спилить мачту... у-у, делов сколько!

Панафидин переживал катастрофу на свой лад:

— Если мы шли по счислению, — признался он Стемману, — то ошибка была допущена в искажении курса. Это значит, что плохо была

выверена магнитная девиация путевых компасов.

— Вы это к чему? — насторожился Стемман.

— К тому, что таблицы девиации на все компасы крейсера последний раз выверял я... Наверное, помните?

Стемман набулькал ему в стакан коньяку:

— Вам, мичман, обязательно хочется оставаться в роли благородного подсудимого. Не надо. Прошу вас. Молчите. Никому ни слова. Если даже и сплоховали с девиацией, так тут, помимо вас, уже много скопилось виноватых... К черту все это!

Утром матросы вернулись на крейсер. Облегчая его, сняли многие тонны цепей с якорями, комендоры начали демонтаж носовой артиллерии, опустошили погреба от груза снарядов. Не забывая об угрозе с моря, люди следили за горизонтом. Частые рефракции в атмосфере рисовали мнимую опасность... В этих краях такое бывало: видели в океане города с заводскими трубами или эскадры кораблей, которых не существовало. Как раз в эти дни полиция Владивостока схватила подозрительного «манзу», в лохмотьях которого нашли японский вопросник. В числе многих вопросов к шпиону был и такой: «Крепко ли сидит на камнях „Богатырь“, есть ли у русских надежды на его спасение?» Выходит, японцы об аварии крейсера были извещены...

Но что они могли сделать сейчас? Да ничего не могли. После «черного дня» японского флота, потеряв множество кораблей, Того не мог ослабить себя у Порт-Артура, чтобы усилить эскадру Камимуры для набега на Владивосток. В другое время самураи, конечно, не упустили бы случая разделаться с «Богатырем», который превратился в беззащитную мишень, лишенную главного фактора обороны — движения. Только потому русские инженеры и моряки спасали крейсер в спокойной, деловой обстановке. Но все же иногда поглядывали на горизонт океана, пронизанный чудовищными призраками рефракции...

8 мая Иессен велел людям передохнуть, побриться:

— Прибывает поезд с адмиралами Скрыдловым и Безобразовым, надо же встретить новых командующих честь честью...

Адмиральский флаг был перенесен им на «Россию».

Через всю страну — в одном вагоне — ехали два вице-адмирала, оба бородатые, оба заслуженные: Николай Илларионович Скрыдлов,

командующий флотом Тихого океана, и Петр Алексеевич Безобразов, должный командовать 1-й Тихоокеанской эскадрой (2-ю эскадру формировал тем временем на Балтике приснопамятный Зиновий Рожественский). Ехали долго...

За Байкалом адмиралы пересели в экспресс КВЖД, но, не доехав до Харбина, были остановлены известием, что Порт-Артур уже отрезан, сообщения с ним нет. Наместник квартировал в Мукдене, видеть адмиралов он не пожелал. Явно огорченные оскорбительным невниманием наместника, адмиралы катили по рельсам дальше. Ужиная перед сном, беседовали о Порт-Артуре, который уже стал капканом для русской эскадры. Скрыдлов всегда считал непростительной ошибкой аренование Порт-Артура, ему было жаль тех миллионов, что бухнули на устройство города Дальний (называемый моряками «Лишний» или даже «Вредный»).

— Мы имели, и мы имеем, — утверждал Скрыдлов, — одну лишь базу на Дальнем Востоке — это Владивосток, и потому глупо было оставлять его в небрежении для базирования одних крейсеров. В результате... Чего не закусываешь, Петр Алексеич?

— Да все тошно. И настроение... дрянь!

— В результате я, командующий флотом, отрезан от флота тысячами миль, а ты, Петр Алексеич, только во сне и увидишь ту могучую эскадру, которой тебя назначили командовать...

Отчасти критика Порт-Артура в устах Скрыдлова звучала весомо. Англичане, прежде чем присвоить себе Вэйхайвэй, убедились в непригодности Порт-Артура для стоянки флота и не стали возражать против занятия его русскими. Гавань там — как западня, выходы из нее мелководны, почему броненосцы эскадры Витгефта могли выползать в открытое море лишь в недолгие моменты наивысшей точки прилива.

— Витгефту, — говорил Скрыдлов, — приходится оперативные планы сочетать с амплитудой колебаний уровня моря. Конечно, англичане не дураки: возьми, боже, что нам негоже. А мы-то, сиволапые, и обрадовались! Давай таскать туда мешки с барахлом своим. Иные-то даже дома в Порт-Артуре построили! Библиотеки да рояли из Питера потащили. Театр завели... с цыганами! Теперь танцы-шманцы кончились. Одни пузыри остались...

Утром адмиралы проснулись.

— Где мы уже? — спросил Безобразов.

Скрыдлов бывал в этих отпетых краях и, глянув в окно, где мелькали дачи и огороды, крепко зевнул:

— Седанку проехали. Сейчас разъезд — и город...

На вокзале Владивостока адмиралы обозрели громадную рекламу папиросной фабрики «Дарлинг». Джентльмен с красоткой выпускали клубы дыма, а внизу были стихи: «С тех пор как „Дарлинг“ я курю, тебя безумно я люблю. 10 штук — 20 коп.».

— Идиоты, — точно реагировали адмиралы.

На перроне их встречали городские власти, чины комендантского правления, начальник порта адмирал Гаупт, были и дамы, без которых нигде немыслима нормальная жизнь человеческая.

Скрыдлов сразу же высмотрел Иессена:

— На сколько футов рассадили днище «Богатыря»?

— На сто шестьдесят, считая от носа.

— При Петре Первом вам отрубили бы голову.

— Знаю! — браво отвечал Иессен.

— Что мне толку от ваших знаний... крейсера-то нет! Было четыре, а стало три. Теперь на три ваших крейсера из Петербурга прислали двух заслуженных адмиралов. Считая и вашу персону, на каждый крейсер — по одному адмиралу. Шуточки?

Безобразов тем временем уже «вставлял фитиль» в начальника порта Гаупта — из-за неразберихи с калибром снарядов.

— Вы доносили об этом безобразии в Адмиралтейство?

— Так точно. Докладывал.

— Сколько раз?

— Не помню. Кажется, раза четыре.

— Четыре? А почему не каждый день? Почему не сто, почему не тысячу раз? Или вы первый день на свете живете? Или порядков нашего российского бардака не знаете? Или пятаков на телеграммы пожалели? Жаль, что здесь дамы... я бы сказал вам!

Среди ублажавших начальство своим присутствием, конечно, был и мичман Игорь Житецкий, выдающийся кандидат в мужья Виечки Парчевской. Вестимо, что мичман — птичка невелика, вроде уличного воробья, но бдительный орел Скрыдлов все же высмотрел его ничтожную личность в своем окружении:

— Представьтесь. Кто вы такой?

— Бывший адъютант начальника отряда крейсеров...

На свою беду, Житецкий был с папиросой фирмы «Дарлинг», украшенной золотым ободком, как обручальным кольцом.

— А почему вы курите в присутствии адмиралов?

— Я думал, на свежем воздухе можно...

Николай Илларионович неожиданно рассвирепел:

— Свежий воздух... да с чего вы это взяли? Там, где собирались сразу три адмирала, разве может быть свежий воздух? Прежде чем говорить, вы думайте, что говорите...

Окруженные дамами, воркующими, как голубицы, адмиралы проследовали к коляскам в строжайшем кильватере: сначала шел командующий флотом Скрыдлов, за ним командующий эскадрой Безобразов, потом и несчастный Иессен, флаг которого еще развевался над крейсером «Россия». Житецкий проводил их отдаием чести, думая, что его карьера при штабе рухнула. При этом он мысленно облобызal нежный образ Рейценштейна: «Вот душа был человек! Обещал даже орден Станислава выхлопотать...» Но тут Житецкий заметил в конце свиты адмиралов некоего капитана 2-го ранга, который держался осанисто, будто академик, случайно попавший в общество жалких дилетантов. Узнать его нетрудно — это был Николай Лаврентьевич Кладо, сотрудник черносотенной газеты «Новое Время».

Житецкий представился Кладо и сказал:

— Уже читали... труды ваши. Следили за вашими трудами. Очень много нового. Такого, что заставляет задуматься каждого честного патриота. Тем более флотского офицера...

Кладо был радостно изумлен, что здесь же, еще на перроне вокзала Владивостока, ему довелось встретить своего читателя. Каждому ведь лестно знать, что у него «труды» имеются! Теперь из своего читателя оставалось сделать еще и своего человека.

— Возьмите у меня чемодан, — распорядился Кладо.

Житецкий охотно подхватил поклажу. Он тащил чемодан начальства с таким же упоением, с каким мичман Панафидин таскал на своем горбу волшебную виолончель работы Гварнери.

— Тяжело... Что у вас там, Николай Лаврентьевич?

— Труды, — важно отвечал Кладо, не оборачиваясь.

Вы помните, что японцы в знак памяти адмирала Макарова устроили траурную церемонию. Их шествие по улицам с фонариками было добровольным. Но теперь, дабы восславить битву при Тюренчене и блокаду Порт-Артура, была устроена официальная манифестация с участием 150 000 человек. Этот праздник в Токио устроила полиция, посаженная на лошадей.

«Лошади, напуганные громом холостой пальбы, криками „банзай“ и ракетной шумихой, вставали на дыбы, бросались в толпу и разбивали черепа». Громадная толпа была оттеснена и сброшена в старинный ров подле дворца Сегунов, а в узких воротах древней стены, ограждавшей дворец, людей стиснули так плотно, что ворота стали красными от крови раздавленных. Эта японская «Ходынка» стоила жителям Токио немалых жертв, больницы переполнились изувеченными. Пресса обвиняла полицию за ее неумение управлять лошадьми, а полиция призывала население засыпать ров... Чем закончился этот спор, я не знаю.

Но в японских газетах все чаще с уважением говорилось о русском солдате и русском матросе как о стойких и сильных противниках. Поминалась прежняя война с китайцами, когда японцы при штурме Порт-Артура потеряли убитыми лишь пятнадцать своих солдат, убив при этом 4500 солдат императрицы Цыси, и теперь газеты Токио задавались вопросом:

«Во что же обойдется нам эта война?»

Сама Япония не могла бы вынести ее бремени, если бы Англия и Америка не впрыскивали в ее аорты, уже пересыхающие от нужды, новые питательные бульоны военных поставок. Следовательно, русским крейсерам предстояло разорвать нити коммуникаций, что тянулись к портам Японии от берегов Америки и Англии... Николай Илларионович Скрыдлов понимал это!

По вечерам, устав от напряжения, адмирал садился за рояль, бурно проигрывая фрагменты из опер, слышанных еще в юности. Любовь к музыке передалась ему от матери, державшей в Петербурге музыкальный салон, в котором часто бывал Николенька Римский-Корсаков... тогда еще мичман! Под музыку хорошо думалось. Скрыдлов, да, понимал значение коммуникаций, он знал их уязвимость, размышляя — что делать?

К сожалению, многое зависело и от Витгефта...

Витгефт еще не понимал, что ему делать, и, как все бестолковые начальники, созывал совещание за совещанием, чтобы его личная ответственность растворилась в коллегиальной, когда виноватых днем с огнем не сыщешь... Начинался сезон муссонных дождей, забушевали тропические ливни с такими грозами, что сами собой взрывались фугасы. Витгефт совещался с генералами, а генералы призывали адмирала отдать

им все то, чего сами не имели. Эскадра разоружалась. С кораблей исчезали орудия, прожекторы, пулеметы,» устанавливаемые на берегу. В экипажах роптали, а Вильгельм Карлович лишь разводил руками:

— Видит бог, я ни при чем. Таково коллегиальное решение. С этим вопросом вы лучше обращайтесь к Стесселю.

Стессель относился к флоту почти враждебно, как педант к учености, которой сам он постичь не в силах. На все упреки в разоружении кораблей Стессель отвечал с пафосом:

— Стыдно, господа, стыдно! Рано вы забыли исторические уроки славной севастопольской обороны, когда адмиралы Нахимов с Корниловым геройски сражались на берегу...

Кинчжоу — самое узкое место Квантунского полуострова, это ключ к Порт-Артуру. 13 мая «ключ» сдали японцам. Витгефт никак не ожидал этого, отписывая наместнику: «Я не считаю себя вправе входить в оценку действий командующего сухопутными силами (Куропаткина), тем не менее никто не ожидал столь быстрого оставления им Кинчжоуской позиции...» На следующий день Алексеев приказом за № 1753 предостерег Витгефта: «Воздержитесь от передачи пушек с кораблей на берег ввиду скорой, готовности судов (после ремонта)... флоту надобно, защищая крепость, готовиться к последней крайности — выйти в море для решающей битвы». Об этом же говорили на эскадре, уже истерзив себя надеждами, с трагическим оттенком:

— Ну хорошо! Пусть эскадра погибнет в честном морском бою, пусть. Но крейсера-то, крейсера... Даже если «Новик» с «Баяном» и «Аскольдом» проскочат во Владивосток — и то пользы от них будет там больше, нежели в этой лоханке.

Рядовые воины флота и армии, вовлеченные в общую бойню, еще верили, что Куропаткин их выручит, не догадываясь, что они уже преданы на умирание. Куропаткин, вооруженный «трезвым взглядом на вещи», сдавал одну позицию за другой.

— Главное на войне — вовремя отступить, — утверждал он. — И не бойтесь неудач: они только укрепляют нашу армию...

Дальний, щегольской город-парк, стоявший русской казне немалых денег, еще на что-то надеялся; в садах распускались диковинные цветы, вывезенные с мыса Доброй Надежды, на лужайках дремотно нежились бенгальские и уссурийские тигры. Куропаткин сдал Дальний без боя — вместе с исправными доками и работающей электростанцией. Японцы, овладев Дальним, сразу получили великолепную базу для миноносцев. Порт-Артур заполнили беженцы, успевшие захватить с собой жалкие

узелки со скарбом. Лишь немногим хватило денег, чтобы нанять рикшу, остальные плелись пешком. Одна пожилая чиновница с КВЖД, потеряв мужа и детей, спасла лишь попугая. Озлобленная птица клювом раздирала хозяйке лицо и руки, а беженка, уже полупомешанная, ласково прижимала к груди жестокую птицу — последнее, что у нее осталось от былой жизни...

Куропаткин из безопасного далека, поглощенный интригами, уводившими его под сень дворцов Царского Села, неопределенно обещал Порт-Артуру выручку, но... верить ли этому болтуну? Витгефт уже не верил. 22 и 23 мая он устроил два совещания подряд. На первом совещании были генералы, на втором — флагманы. Генералы отказывались вернуть пушки с берега, они требовали и далее разоружать корабли, чтобы усиливать береговую оборону. Моряки же говорили, что армии давать оружие флота нельзя, ибо Куропаткин и его генералы сдают позиции без боя — вместе с корабельной артиллерией. Командиры броненосцев, верные заветам покойного адмирала Макарова, требовали от Витгефта, чтобы он выводил флот в море:

— Нас воспитывали для сражений на море, чтобы умирать не в гаванях на постыдном приколе, а погибать в честном бою. Глупо рассматривать Порт-Артур в отрыве от государственных интересов. Будем же смотреть шире — Россия переживет потерю Порт-Артура, но русский народ никогда не простит своему флоту, если мы потеряем и Владивосток...

Витгефт сказал, что придерживается такого же мнения, и умереть в бою готов, но в этом вопросе многое зависит от решений наместника в Мукдене, и не только наместника:

— Хорошо, если бы нас благословил сам государь...

...Выход эскадры они наметили на 10 июня.

Флаг Иессена еще гордо реял над «Россией».

— Снять! — приказал ему Скрыдлов. — Вот за то, что разломали «Богатыря», ваш адмиральский флаг будет отныне поднят над искалеченным вами крейсером... Позор! От командования отрядом вас отстраняю, крейсера поведет Безобразов...

Мичман Панафидин обратился к Безобразову:

— Я имел несчастье быть на мостице в момент посадки «Богатыря» на камни, буду ли я персонально наказан за аварию?

— Персонально наказан ваш адмирал, — отвечал Безобразов. — Что же касается аварии с крейсером, то ошибки в магнитной, девиации компасов случаются... не только у мичманов!

Панафидин сказал, что «Богатырь», если его сдернут с камней, обречен торчать в доке, а ему хочется воевать:

— Я уже подавал рапорт Рейценштейну о списании меня на «Рюрик», но в штабе мой рапорт «задробили». Осмеливаюсь вторично просить вас о переводе меня на крейсер «Рюрик», тем более что место младшего штурмана там вакантно.

— Вакантно после... после кого?

— После самоубийства мичмана Щепотьева...

Безобразов отослал его к командующему флотом.

— О чём тут говорить? — сказал Скрыдлов. — Ваше желание служить на «Рюрике» вполне естественно... Исполять вам! Выходу в море предшествовал обмен телеграммами:

НАМЕСТИК — СКРЫДЛОВУ: Усилия неприятеля направляются с суши и моря на Порт-Артур. Для отвлечения удара и оказания помощи Артуру... крайне важно, если бы крейсера могли проявить активность в Японском море, имея при этом в виду, что броненосцы в Порт-Артуре уже заканчивают ремонт...

СКРЫДЛОВ — НАМЕСТИКУ: Начал готовить экспедицию крейсеров в Желтое и Японское моря... готовы начать действовать. Необходимо заранее знать момент наивысшего напряжения (в обстановке) ...

НАМЕСТИК — СКРЫДЛОВУ: Время высшего напряжения трудно определить... полагаю, что начало действия крейсеров теперь будет иметь значение и принесет пользу в отвлечении неприятельских сил от Порт-Артура...

Скрыдлов наставлял своего коллегу Безобразова:

— Конечно, каждый кусок кардида дорог. Но я советую продлить операцию крейсеров до критического истощения бункеров. Неизбежно топить все суда с контрабандой, идущие в порты Японии, если они сами и если груз в их трюмах представляются ценностями. Шире пользуйтесь международным «призовым правом»...

На крейсерах спешно заканчивалась чистка котлов, переборка механизмов, ослабленных в качке и напряжении корпусов. Скрыдлов извелся сам, он извел и подчиненных, требуя:

— Ждать нельзя! Порт-Артуру плохо, надо спешить... Не спите, не ешьте, но приготовьте крейсера к выходу...

— А куда идем? — волновались в экипажах.

В эти дни Панафидин явился на крейсер «Рюрик» ради продолжения службы, и каперанг Трусов встретил его ласково:

— Это хорошо, что вы не побоялись явиться вместе со своей виолончелью. Я очень не люблю, когда офицер самое ценное в своей жизни оставляет на берегу. Невольно думается, что он не доверяет кораблю, на котором служит. Обратитесь к Хлодовскому, чтобы включил вас в боевое расписание бортовых казематов. Надеюсь, вы станете нашим добрым товарищем...

Располагаясь в новой каюте, мичман нашел место для виолончели, он украсил свое жилье фотографиями композитора Дж. Верди и своего учителя Вержболовича с дарственной надписью. Было уже, наверное, за полночь, когда Панафидин пробудился от неясной тревоги. Что-то мешало ему продлевать свой сон. Протянув руку к выключателю, он «врубил» ночное освещение каюты... В дверях, едва помещаясь в их проеме, возвышалась гигантская фигура комендора Николая Шаламова.

Его появление сначала испугало мичмана:

— Ты что? Зачем? Что тебе тут надо?..

Матрос медленно опустился на колени:

— Ваше благородие, вовек не забуду. Ударил я вас тогда, шибко пьян был... верно. А вы на большом смотре узнали меня, но под суд не потянули. За это по гроб жизни благодарен буду. Уже и маменьке написал, чтобы за вас бога молила.

— Встань. Это нехорошо. И время позднее.

Зажмурившись, матрос жмякнул себя кулаком в грудь:

— Не встану, покеда не скажете, что простили. Нам вместях служить: в одном бортовом каземате! Мы же грамотные. Верой и правдой... за вас жисть отдам — не пожалею. Как пред истинным. А ежели што, так вот она — рожа моя... лупите!

— Не ори, дуралей. Людей разбудишь. Мне твои вера и правда не нужны. И не мне ты служишь. Прощаю. Ступай...

Этот визит матроса нарушил сон, мичман раскурил папиросу и, тронув рукой футляр виолончели, наивно подумал: «Наверное, мне повезло...» С дарственной фотографии профессор Вержболович одобрительно глядел на своего ученика, ставшего сегодня счастливым. Наверное, так и надо.

Николай Лаврентьевич Кладо в официальных кругах Петербурга считался знатоком заграничных теорий Мэхэна и Коломбо, и адмирал Скрыдлов, далекий от теорий, поначалу не знал, куда бы пристроить этого

кавторанга с его мыслями об «овладении океаном». Для Кладо был образован при штабе особый отдел, вроде кельи летописца Нестора. Он стал числиться редактором материалов о боевых действиях владивостокских крейсеров.

Кладо давно осваивал тему — борьба берега с флотом. По мнению этого мыслителя, «замена парусных кораблей паровыми ничего не изменила», потому как раньше не исполняли «высочайших предписаний», так и теперь ими пренебрегают. Цари, утверждал Кладо, прямо извелись, бедняжки, совершившую флот, а личный состав флота никак не желал проникнуться передовыми идеями, проистекающими на них с высот монаршего престола.

Свои лекции по теории флотских наук Кладо обычно начинал интригующим экскурсом в свою биографию:

— Дамы и господа, когда я в молодости плавал вместе с наследником престола, ныне благополучно царствующим императором Николаем Вторым, мне приходилось... и не раз приходилось! Об этом я не стыжусь заявлять с этой кафедры...

После этого все затихали. Кто его знает? Возьмет да нажалуется «благополучно царствующему», всякое ведь бывает. Морякам было трудно спорить с человеком, сыпавшим цитатами из никому не известных авторов, наизусть знающим учебники стратегии Генриха Леера... Скрыдлов тоже не лез на рожон.

— Мне его навязали, — говорил он Безобразову. — Кладо состоял при высочайших особых, читал им что-то... всякое!

Адмиралам было ясно, что Кладо продержится при штабе до первого ордена. Игорь Житецкий уже сумел понравиться Безобразову беспардонной критикой Рейценштейна:

— Сейчас даже неловко вспоминать, что я состоял при этом недостойном человеке. Зато теперь отряд крейсеров просто ожила. Какой энтузиазм! Какой боевой дух! Все горят желанием проявить свои лучшие качества патриотов отечества...

Безобразов не рискнул причислить мичмана к флаг-офицерам, но рекомендовал в отдел Кладо, а Житецкий уже разглядывал в Кладо родственную душу, которой очень близка тема извечной борьбы тыла с людьми воюющими. Кладо сказал ему:

— Я читал лекции членам императорской фамилии, но, будучи человеком передовых взглядов, никогда не гнушался и рядовой публики. Приобщайтесь и вы к этому благородному делу...

Житецкий появился в гимназиях Владивостока с лекциями на тему

«Династия Романовых и значение русского флота для России». Начало его лекций не было мудреным:

— Первый русский корабль «Орел» построен при царе Алексее Михайловиче, но Стенька Разин перебил всех матросов, а сам корабль спалил. Квинтэссенция такова: русские монархи всегда' пеклись о создании флота, тогда как отсталый русский народ флота не жаловал и спасался от морей на суше...

28 мая отряд снимался с якорей. Перед походом Скрыдлов собрал у себя капитанов 1-го ранга, командовавших уходящими крейсерами. Перед ним предстали: с «Громобоя» — Николай Дмитриевич Дабич, с «России» — Андрей Порфирьевич Андреев, с «Рюрика» — Евгений Александрович Трусов. Люди опытные, серьезные, неглупые, хорошо знающие себе цену.

— Теперь, только теперь, — сказал им Скрыдлов, — я могу сообщить вам, что вы идете в самое паршивое место на свете — к острову Цусима, а Камимура отвел свои крейсера к Эллиоту в Желтое море, дабы укрепить эскадру адмирала Того...

В дислокации японского флота Скрыдлов ошибался. Но зато он верно сказал, что из Симоносеки или из Сасебо скоро выйдут японские корабли, везущие тяжелые осадные пушки для разгрома фортов Порт-Артура, возможна транспортировка гвардии японского императора в районы Квантуна.

— Желаю успеха. Отчеты о своих боевых действиях в конце операции сдадите в военно-морской отдел штаба.

— Кому? Вам?

— Не мне, а Николаю Лаврентьевичу Кладо.

— Зачем? — хором спросили командиры крейсеров.

— Для редактирования, — понуро отвечал Скрыдлов.

Слова, слова, слова... Теперь неважно, кто вас пишет, а важно, кто станет их редактировать. Якоря были выбраны.

Встречная волна вскидывала «Рюрик» на свой гребень и опускала мягко, как на хороших рессорах. Цель набега, уже рассекреченная, волновала людей в экипажах:

— Идем в самое поганое место — к Цусиме...

Никто еще не предвидел будущей трагедии русского народа, связанной с именем этого острова, но все понимали, что Цусима — эпицентр морской

стратегии Того, мимо этого острова незримые нити коммуникаций тянутся от вражеской метрополии, и Япония, как хороший насос, качает и качает Через проливы Цусимы свои силы и технику — фронту! Машины русских крейсеров ритмично выступали под настилами палуб.

Панафидин отстаивал ходовую вахту на мостице.

— Ну как? — спросил его Хлодовский. — Надеюсь, не раскаиваетесь в том, что попали на «Рюрик»?

— Напротив, Николай Nikolaevich, я счастлив.

— Мне, поверьте, слышать это приятно...

Встречный ветер раздувал его пушкинские бакенбарды.

Крейсера шли на хорошей скорости и днем 1 июня миновали мрачный и нелюдимый Дажелет. В кубриках заводили граммофоны; кочегары слушали, как «две Акульки в люльке качаются», в палубах комендров надрывно пела несравненная Варя Панина:

Я до утра тэбя ожидала,
Когда же звэздный свэт помэрк,
Я поняла...

В каютах накрывали столы к обеду. Плазовский сказал:

— Идя к Цусиме, всегда противно думать о смерти.

— А почему так? — с вызовом спросил Юрий Маркович, повернувшись к лейтенанту Иванову 13-му. — Тринадцатый, выскажите непредвзятое мнение о геройской смерти.

— С восторгом, — отвечал тот, раскладывая на коленях салфетку, словно надолго устраивался в ресторане. — Умереть героем легче всего. И ума не надо. Можно завязать гадюку вокруг шеи вместо галстука. Или приласкать бешеную собачку. Уверен, что в некрологах будет написано: «Погиб смертью героя, презирая опасность...» А что еще, Юрочка?

Вторым (после Кесаря Шиллинга) бароном на «Рюрике» был хорошенький, как девочка, лейтенант Курт Штакельберг из курляндской семьи, и ему не нравилось это зубоскальство:

— Господа, в компании Скарамуша, д'Артаньяна или Сирано де Бержерака вы, наверное, чувствовали бы себя на седьмом небе. Однако, по расчетам штурманов, мы уже завтра ночью будем проходить Цусиму, и адмирал Камимура одним ударом может дать хорошую тему для наших некрологов...

С мостика спустился лейтенант Зенилов (минер).

— О чём речь? — спросил он. — Наши телеграфы уже стали

принимать переговоры японских крейсеров. Небесный эфир трещит, будто сало на сковородке... Минуя Дажелет, мы привыкли думать, что он безлюден. Но где гарантия, что с Дажелета нас не высмотрели японцы и теперь оповещают об этом свои базы.

— Камимура в Желтом море, — мрачно возвестил Салов, глядя, как над его головой раскачивается клетка с пернатыми.

— Вы уверены, штурман? — спросил его Солуха.

— Так утверждали в штабе Скрыдлова...

Зенилов поймал ускользавшую на качке тарелку:

— Сидя на Светланской, много узнаешь...

Священник Алексей Конечников не был ловок, как офицеры, и выжимал рясу, мокрую от пролитого на нее супа:

— Отступилась от нас царица небесная...

В ночь на 2 июня Панафидин видел берега Японии, миражно скользящие вдоль горизонта. Цусиму миновали благополучно. Ночь была теплая. В каютах стояла мерзкая духотища. Под утро крейсера вошли в район оживленного каботажа. Горизонт исчертили ласточкины крылья рыбакских парусов и дымки пароходов, издали похожие на капризные мазки акварельной кистью.

Возгласы сигнальщиков посыпались разом:

— Правый борт, курсовой тридцать — тень!

— Вижу ясно. Типа «Ниитака». Трехтрубный.

— Господа, узнаю его — это крейсер «Цусима».

— Приятное имечко! Вот вам и Камимура...

(По данным японских штабов, ставшим известными позже, крейсер «Цусима» уже целый час наблюдал за русскими кораблями, прежде чем они засекли его.) Низкая, словно прижатая к воде тень крейсера пролетела куда-то во мгле, исчезая...

Разом опустились бинокли, последовала реакция:

— Обнаружили! Ну, теперь жди... навалятся.

— Не каркайте. Хотя и гадко, но... плевать.

— Три дыма сразу, — докладывали сигнальщики.

Японские транспорты, заметив русских, стали разбегаться в разные стороны. «Рюрик», «Громобой» и «Россия» кинулись в погоню. Небо наполнилось пасмурностью, пошел дождь. Тахометры в рубках отщелкивали возрастание оборотов винтов. Острота погони обострялась риском — от видимости японских берегов, от близости главных баз противника, откуда с минуты на минуту могли выставиться окованные броней «морды» вражеских кораблей. Отдаваясь качке, крейсера открыли

огонь.

— Цель: войсковой транспорт «Идзумо-Мару»...

В трюмах этого «мару» дремали 18 осадных орудий фирмы Круппа, отлитые для сокрушения фортов Порт-Артура и для разгрома броненосцев эскадры Витгефта. «Громобой» старался бить под ватерлинию, чтобы не вызвать лишних жертв среди японцев, в панике бегавших по палубам. Крейсер подхватил из воды 105 человек вместе с офицерами. Из отчета: «По уходившим шлюпкам мы не стреляли по весьма понятному русскому человеку чувству — отсутствию излишней и бесполезной жестокости». Однако при этом было замечено, что иные японцы не желали спасаться и, плавая в воде, грозили крейсерам кулаками. Командир полка, плывший на «Идзумо-Мару», разорвал самурайское знамя и кинжалом вспорол себе живот.

— Еще два дыма... идут сюда! — доложили с вахты.

— Не теряйте из виду крейсер, — напомнил Трусов.

Крейсер «Цусима» вел себя странно: издали наблюдая за тем, как русские уничтожают японские корабли, ни малейшей попытки к их защите он не предпринял. Однако в аппаратах «Дюкретэ» слышали настойчивую работу его германских «Телефункенов», и Безобразов велел глушить радиопередачи, чтобы адмирал Камимура запутался в сигналах «Цусимы»... Капитан Салов в рубке «Рюрика» по справочникам Ллойда уже определил:

— Цель: «Хитаци-Мару», шеститысячник...

Транспорт был перегружен войсками гвардии из гарнизона Хиросимы, он спешил в Дальний, а командовал им английский капитан Кэмбелл, сигнальщики даже разглядели его:

— Не япоша! Рыжий, будто барбос с улицы...

Как выяснилось после войны, сэр Джон Кэмбелл, служивший японцам по найму за деньги, только накануне дал клятву в любом случае доставить в Дальний 1100 солдат и 320 лошадей. А потому на приказ остановиться он двинул громаду транспорта прямо на «Громобоя», чтобы таранить его всей массой корпуса. «Громобой» увернулся от удара, открыв огонь. Все четыре мачты «Хитаци-Мару» вздрогивали, как деревья в бурю. Когда стали таскать из воды пленных, вытащили и самого капитана Джона Кэмбелла, которому Дабич учинил строгий выговор:

— Пытаясь таранить мой крейсер, вы, сэр, блестяще доказали свою храбрость, но вам, сэр, согласно русской поговорке, выпало пережить похмелье на чужом пиру...

«Хитаци-Мару», охваченный пожарами, ушел под воду. Флагманская

«Россия» и «Рюрик» уже держали на своих мачтах международный сигнал, приказывая остановиться «Садо-Мару». На борт «Рюрика» поднялся капитан-лейтенант Комаку с переводчиком. Он сразу начал борьбу за выигрыш времени, убеждая капитана Трусова в том, что на «Садо-Мару» более тысячи некомбатантов и 23 пассажира, среди них европейцы:

— Я прошу доблестных противников дать нам время, необходимое для спасения невинных людей...

Эскадра Камимуры находилась рядом, в бухте Озаки на Цусиме, и Комаку высчитывал время, потребное для подхода японских крейсеров... Трусова обмануть не удалось.

— Сколько вам потребно минут? — спросил он.

— Не минут — два часа, — заверил его Комаку.

Много! Между тем палуба «Садо-Мару» напоминала сцену в бедламе: там все перепуталось — и люди, и шлюпочные тали, и только военных не было видно. Трусов сказал, что Комаку останется в плену, а переводчика он отпустит.

— Мичманов Плазовского и Панафицина прошу отправиться на «Садо-Мару», дабы навести там порядок... Господин Комаку, из иллюминаторов вашего корабля вылетают разорванные бумаги?

— Я этого не наблюдаю, — ответил Комаку...

Поведение крейсера «Цусима», ближавшего неподалеку, становилось уже подозрительным, от его антенн пучками отлетали искры радиотелеграфа, насыщая эфир призывными сигналами. Следовало торопиться, об этом напоминал и Безобразов...

Два мичмана, два кузена, спрыгнули в катер!

Крейсера уже подбирали с воды некомбатантов, а палуба «Садо-Мару» вдруг стала наполняться японскими солдатами. Многие были пьяные — они шатались. С каким-то злорадством они глядели с высоты борта на подходящий катер, в котором всего-то два офицера и восемь матросов, скимающих в кулаках жалкие револьверы. Хотя на талях еще висели шлюпки, но никто из пьяных комбатантов не желал ими воспользоваться для своего спасения. На «Садо-Мару» находилось около 1500 солдат, лошади, понтоонный парк и, кажется, осадный. «Офицеры, — писал очевидец, — были все поголовно пьяны, они покуривали сигары, разгуливая по спардеку, и категорически отказались перейти к нам» (то есть

на русские корабли).

Восемь матросов молчали, предчуя недобро, а между кузенами возник диалог, который можно простить им:

— Укокошат! Их страшно много, и ты смотри, сколько здесь пьяных...
Не повернуть ли, пока не поздно?

— Успеется. Они не покинут своего корабля.

— Ты думаешь?

— Уверен. Они хоть и пьяные, но понимают, что отсюда до Сасебо — раз плонуть, и, конечно, с минуты на минуту может прийти на выручку сам Камимура... если он в Озаки.

— Так что же нам делать?

— Подняться на палубу «Садо-Мару».

— Нас же там разорвут...

Все же поднялись! Никогда еще Панафидину не приходилось видеть столько пустых бутылок, которые грудами перекатывались в проходах. Мичмана просили японцев покинуть корабль.

— Ради собственного спасения! — призывали они.

В ответ — смех, почти издевательский, и этот смех подтвердил подозрения в том, что японцы на «Садо-Мару» сдаваться не расположены. На катер сошли все пассажиры, за ними прошагал и английский капитан корабля. Его окликнули:

— Где документы? Или их уничтожили?

— Я, — отвечал наемник, — служу пароходной компании «Ниппон Юсен-Кайся» и в военных делах ничего не знаю, кроме своего курса, на котором ваши крейсера меня задержали.

— Уточните курс, — потребовал Панафидин.

— Не вижу причин скрывать его... мы шли на Квантун! Эти войска готовились для высадки в бухте Энтоу. Остальное можете спросить у японского полковника... вон этого!

Из рапорта Плазовского: «Мне предъявили в дымину пьяного японца, бумаг (он) давать не хотел, но вскоре его помощник, японец, вызвался достать бумаги...» Английский механик вмешался в их беседу, дружелюбно сообщив русским, что все эти японские офицеры не пропретрели от самого Симоносеки:

— Они празднуют скорую победу у Порт-Артура.

— А что в низах? — спросили механика.

— Откройте люки и сами увидите, что в низах...

В трюмах обнаружили телеграфный парк, железнодорожный батальон и даже переносную железную дорогу — для подвоза осадных орудий

большой мощности. «Кроме того, на корабле находился какой-то генерал со всем своим штабом и при них прямо-таки великолепных 18 лошадей... нам говорили:

— А, русские! Вот не ожидали вас видеть...

Все эти офицеры были совсем пьяны или полупьяны, они сидели за бутылками шампанского». Генерал сказал мичманам:

— Мы вас не трогаем, и вы нам не мешайте...

Вернувшись на крейсер, мичмана доложили о кошмарной обстановке, какую застали на «Садо-Мару». Безобразов просил «Рюрик» подойти к «России» и передал Трусову — голосом:

— Японский крейсер не уходит. Мы околачиваемся здесь уже почти шесть часов на виду всей Японии, и задержка уже опасна... Не хотят сдаваться — умолять не станем!

«Садо-Мару» был подорван торпедами, русские крейсера развернулись к норду, и лишь тогда из отдаления вынырнул крейсер «Цусима», начиная спасать пьяных... На мостице «Рюрика» офицеры и матросы откровенно радовались скорости:

— Смотрите, как шуруют в котлах! Уж мы старенькие, подшипники ни к черту, а восемнадцать узлов держим...

Хлынул дождь. Крейсера уверенно держали строгий кильватер. С аппаратов «Дюкретэ» дежурные сняли текст японской радиодепеши, содержание которой было так же темно и загадочно, как непонятно было и поведение Камимуры: «...в каждом направлении могут пройти русские и произвести нападение... в темноте нужно быть наготове...» Трусов недоумевал:

— Почему в темноте? Чего они там задумали?

Крейсера торопливо отходили на север, следуя вдоль западного побережья Японии, и все было спокойно. Никакие догадки не могли объяснить бездействия японского флота и самого Камимуры, будто противника охватил оперативный паралич. Матrosы посмеивались, говоря, что Камимуре ордена не повесят:

— Проспал нас со своей Камимурочкой...

Утром 3 июня крейсера снова вздрогнули от колоколов громкого боя — дым, дым, дым... Дым был замечен наружной вахтой близ входа в Сангарский пролив, и скоро все увидели большой углевоз «Аллантон» под флагом Великобритании. Выстрелом под нос ему велели лечь в дрейф. Англичане не слишком-то обрадовались появлению русской «призовой команды». Капитан «Аллантона» вел беседу, нарочно проглатывая

окончания слов, очевидно надеясь, что русские офицеры не поймут его речи.

— Какой груз, кэптен?

— Уголь.

— Происхождение угля? Качество его? Количество?

— Семь тысяч тонн. Из Мурорана. Дрянь уголь...

Проверили — бездымный кардиф, пригодный для сгорания в топках боевых кораблей (не его ли ожидал сейчас Того?).

— Куда идете, кэптен?

— Меня ждут в Сингапуре...

Расспрашивали команду: их ждали в Сасебо. Показать судовые коносаменты (документы о грузе) капитан отказался. Его погубила собственная осторожность: он вел вахтенный журнал от портов Англии до Гонконга, а дальше шли чистенькие странички. Углевоз был арестован, и «призовая команда» повела его во Владивосток, а крейсера снова растворились в безбрежии — неуловимые для Камимуры... «Но где же сам Камимура?»

Как всегда, с пяти часов утра громко верещали корабельные сверчки, а ровно в шесть горнисты в белых шарфах, при белых перчатках поднимали команды тревожной музыкой. В палубах крейсеров, пронизанных сквозняками, слышались бодрые голоса: «Охайо... охайо... охайо!» (доброе утро). До восьми часов матросы разгуливали еще в кимоно, кормили сверчков кусочками тыквы и арбуза. В бамбуковых загородках коки свертывали шеи уткам для стола офицеров, боцмана обливали забортной водой из шлангов тощих пятнистых свиней, обреченных на съедение... Эскадра пробуждалась!

Камимура не променял Японское море на Желтое, как думали о нем в штабе Скрыдлова: он прочно базировал крейсера в прежнем оперативном районе Цусимы, где его на этот раз усиливал адмирал Уриу. Так что против трех наших единиц была собрана целая эскадра из десяти крейсеров и отряда миноносцев... В эту ночь Камимура спал, держа голову на подушке, набитой чайными листьями, чтобы спастись от мучительной мигрени. Было семь часов утра, когда с вахты ему доложили, что брандвахтенный крейсер «Цусима» заметил русские крейсера... Странно:

— Нет ли ошибки? Как они туда попали?

Вопрос обязателен, ибо второй крейсер «Чихайя» сторожил проливы к северу от Цусимы, и непонятно, как «Чихайя» мог их прохлопать. Вахтенный офицер объяснил неувязку с информацией тем, что в море еще держится туман, а радиопередачи русские заглушают в эфире искрами своих «Дюкредэ».

— Телеграфируйте в Симоносеки, чтобы задержали выход пароходов с грузами в Желтое море для нужд армии. — Но грузы были уже в пути. — Тогда, — распорядился Камимура, — всем пароходам, идущим из Желтого моря, следует укрыться в нашем порту Озаки. «Чихайя» пусть соединится с эскаадрою. А миноносцам — вперед: найти, атаковать, уничтожить...

«Цусима» держался от русских подальше, а в 13.25 он потерял визуальный контакт с ними. К тому времени японские миноносцы, обрыскав море вокруг Цусимы, не нашли следов русских и уже возвращались обратно. На контркурсах им встретились крейсера Камимуры... Миноносников опросили:

— Куда делись русские крейсера?

— Мы слышали дальний гул стрельбы, мы прошли через плавающие обломки кораблей, но русские... они как невидимки!

Камимура резкими зигзагами, будто грозовая молния, исчертил море, кидаясь в разные стороны, но русских не обнаружил. Однако если бы тогда можно было совместить две кальки курсов, русского и японского, то возле острова Окино-сима эти линии почти соприкоснулись бы! Это значило: противники в какой-то момент шли рядом, и только случай помешал им заметить один другого. Наверное, русские могли бы сказать, что им повезло!

— Нам просто не везет, — говорил Камимура, принимая из рук вестового лакированную чашку с горячей бобовой похлебкой, которую он, обжигаясь, и выкушивал прямо на мостице...

Его команды тоже обедали. Обвязав головы платками, матросы сидели на рундуках, меж ними стояло ведро с рассыпчатым рисом. На тарелочках (не больше чайного блюдца) каждому дали по две рыбки величиной с сардинку, по соленому огурчику и горстке овощей. Два корешка имбиря на каждую душу заменяли десерт, а после приятного чаепития матросы обмахивались веерами. Корзины бумажных цветов, украшенные перьями птиц, веселили убогую обстановку кубриков.

Камимура опустил палец в аквариум, и обленившийся печелийский угорь, виляя хвостом, затаился в песке. Наблюдая за его повадками, адмирал высказал предположение:

— Очевидно, русских надо искать возле Гензана...

В ночь на 3 июня к поискам «невидимок» подключились крейсера «Чихая» и «Такачихо». Утром русские уже арестовали английский пароход «Аллантон» возле самых берегов Японии, а Камимура бестолково выискивал их возле берегов Кореи — совсем в другой части моря. Японцы омертвело болтались на острых галсах, бесцельно пережигая запасы топлива, и лишь через два дня их «телефункены» приняли сигнал: русские корабли видели у Сангарского пролива... Японские историки тщательно замаскировали эти позорные страницы бессилия Камимуры!

— Возвращаемся на Цусиму... в Озаки, — сказал он, и, держась за полированный поручень трапа, адмирал медленной походкой разбитого усталостью человека спустился в салон, где древний карликовый кедр, взращенный предками, утешил его своей уникальной выносливостью... «Но какой позор!»

Вся Япония говорила о русских крейсерах-невидимках.

Вся Япония потешалась над своим адмиралом.

Газеты помещали карикатуры на Камимуру...

Во всей этой истории набега владивостокских крейсеров до сих пор скрыта подспудная тайна, которую нелегко расшифровать.

При оставлении города Дальний наши войска успели угнать паровозы, зато оставили на путях вокзала более 400 вагонов. В условиях войны каждый вагон — драгоценность. Но вагоны становятся дровами, если нет паровозов. Завозить морем паровозы из Японии не было смысла, ибо русская колея железных дорог в 1524 сантиметра не совпадала с японским стандартом. Чтобы спасти положение, первое время японцы заменяли паровозную тягу китайцами. Тысячи нищих кули (за горсть риса в конце трудового дня) тащили на себе японские эшелоны на дальние расстояния. Конечно, впряженные вместо локомотивов китайские рабы не могли развить скорости паровозов. Перевозить же русскую колею на размеры японской — это работа долгая. Именно тогда-то Япония закупила мощные локомотивы в США, колеса которых точно ставились на русские рельсы. Таким образом, эта проблема военных перевозок была разрешена. Но...

«Но, — писал французский журнал „Ревю милитаре“, — эти американские паровозы погибли при потоплении владивостокскими крейсерами японских транспортов „Хитаци-Мару“ и „Садо-Мару“, почему японцам и пришлось выписывать паровозы из Японии и начать перевозку

русской колеи...»

Заслуга наших крейсеров была неоспорима!

Это были вынуждены признать даже англичане: «Крейсерство Владивостокского отряда — наиболее дерзкое предприятие изо всех проделанных русскими, то, что русским крейсерам удалось скрыться от эскадры Камигуры, возбудило общественное мнение в Японии». Еще как возбудило!

Адмирал Ямamoto, с поклоном привстав из-за стола, принял в министерском кабинете депутацию разгневанных токийских капиталистов и озлобленных спекулянтов оружием.

Министр выслушал их обвинения, полузакрыв глаза.

— Я понимаю ваши тревоги, — сказал он депутатам. — Конечно, ваши прибыли пострадали. Согласен, что продукция наших заводов должна служить победе, а не валяться грудою ржавого хлама на дне океана. Тем не менее я, адмирал Ямamoto, пользуясь приятным случаем, дабы заверить вас, что повторения подобных катастроф отныне уже не будет...

Будет или не будет? С крейсерами шутить опасно.

Владивосток торжествовал. Столичные газеты успели запугать читателей телеграммами различных агентств, будто Камигура уже выдержал сражение с нашими крейсерами, город — в скорби — готовился принимать раненых, и потому возвращение крейсеров стало для всех праздником. Жители пережили подряд три волнующих момента. Сначала сняли с камней «Богатыря» и, опеленав его днище пластирями, словно раны бинтами, бережно отвели в док. Затем «призовая команда» привела захваченный у англичан «Аллантон» с грузом отличного кардифа. Следом за крейсерами, целыми и невредимыми, в Золотой Рог вбежали наши «собачки», ходившие в боевой набег до Гензана...

Матросы стали героями дня; щелкая базарные семечки, они шлялись по улицам в обнимку, раздуваясь на ветру широченными клешами, свысока поглядывали на солдат гарнизона.

— А, крупка несчастная! Сидят в казармах по нарам, будто в тюрьге срок отбывают, и заплатки на штаны ставят. Рази у них жисть? От полка из атаки половина живьем выходит. Зато у нас, Вася, как долбанут миной под мидель — в штабах флота похоронки писать не успевают... Вот это житуха!

В квартире Парчевских теплый ветер приветливо разевал оконные занавески, было слышно, как в саду Невельского духовые оркестры наигрывали старинные вальсы. Житецкого, слава богу, сегодня на Алеутской не было, а мадам Парчевская встретила юного мичмана почти восторженно:

— О, как вы любезны, что не забываете нас. В городе о вас говорят как о героях, и, надо полагать, скоро все офицеры крейсеров будут гордиться новенькими орденами. Надеюсь, ваша карьера в будущем обеспечена.

— Возможно, — скромничал мичман. — Вполне возможно...

Он уже знал, что его в числе прочих представили к ордену Станислава 3-й степени. Была суббота, и в «абажурной» Парчевских снова собирались участники квартета. Полковник Сергеев, душевно игравший на альте, кажется, уже привлекался к следствию за хищения по службе и теперь старался доказать всем гостям, что японские интенданты тоже воруют:

— Видел я тут недавно пачки галет для солдат японских. В каждой должно быть по восемь штук. Какую ни вскроешь, двух-трех галет не хватает... И — ничего! Шума не подымают. Не как у нас. Нагнали тут шайку всяких ревизоров...

Почтовый чиновник Гусев, настраивая свою дешевую скрипичку, убедительно просил Панафицина помнить:

— Вы же знаете, что я всегда держу длинное фермато — сколько можно. Чтобы у нас не получилось как в прошлый раз, когда вам не хватило смычка вытянуть до половины...

Гости расселись, и Сергей Николаевич энергично вступил виолончелью в свою музыкальную очередь, смычок легко и послушно касался инструмента, пальцы мичмана с опьяняющим вдохновением вырвали из струн волшебное пиццикато. Ему было до жути сладостно, что именно сегодня, когда играется так хорошо, Вия Парчевская тихой скромницей сидела рядом. Внимательный к нотам, Панафидин исподтишка любовался ее неземным спокойствием, ее руками, покорно лежавшими на коленях.

После концерта гости постарше сразу потянулись к накрытому для ужина столу, а мичман беседовал с девушкой...

— Что-то я не вижу сегодня Житецкого, — заметил он. Вия Францевна внесла успокоение в его душу:

— Игорь Петрович оказался чересчур тривиальным. Пока вы плавали так далеко, что всем нам было страшно за вас, господин Житецкий, стыдно сказать... не поверите!

— Почему же? Скажите. Поверю.

— Он в женской гимназии передвигал мебель и развешивал по стенам какие-то дурацкие картинки на морские темы. Все дуры гимназистки безумно влюблены в Житецкого, а инспектора гимназии, старая грымза, без ума от его услужливости...

Давно не чувствовал себя так хорошо Панафидин, как в этот чудесный и теплый вечер, радостно было ему стоять возле окна, восхищаясь панорамою рейда, золотыми россыпями электрических огней на крейсерах.

Гости уже расходились, довольные ужином, захмелевший Гусев долго искал в передней свою фуражку почтового ведомства. Панафидин перед зеркалом поправил острые «лиселя» своего высокого воротничка.

— Не забывайте нас, — трогательно просила Вия. — Сегодня у меня, как никогда, дрогнуло сердце... от вашей музыки!

Неся футляр с драгоценным «гварнери», мичман думал, что в юности можно гордиться орденом Станислава даже и третьей степени. Пройдет еще года три-четыре, и он уже лейтенант. На опустелой пристани, едва освещенной тусклыми фонарями, дежурный показал ему рюриковскую шлюпку. Сонные матросы с грохотом разобрали весла, разом всплеснула темная вода, а уключины вскрипнули, как испуганные в ночи птицы... Среди загребных Панафидин разглядел в потемках громоздкую фигуру комендора Николая Шаламова, который явно желал услышать от мичмана похвалу своему усердию. Сила есть — ума не надо: верзила сделал такой могучий гребок, что весло треснуло пополам, а такие «подвиги» на флоте оценивались очень высоко.

— Молодец! — сказал ему Панафидин. — Завтра же утром о твоем старании доложу старшему офицеру, и надеюсь, что тебя лишний раз отпустят на берег... Только не напейся, братец!

— Ни в коем разе, — был приятный ответ. — Мы с того самого случая насчет выпивки осторожны... воздерживаемся.

Порт-Артур жил и боролся, вонзая ослепительные бивни прожекторов в окружающие его форты, скалы, острова, исследуя четкие квадраты моря и рейдов. По вечерам на бульваре играла музыка, люди еще танцевали. Рестораны работали, но цены на продукты уже подскочили. Банка масла стоила 1 рубль 20 копеек, десяток яиц — 60 копеек. В большем употреблении были маньчжурские огурцы — почти в аршин длиною, но безвкусные, иногда вызывающие у людей холерные поносы.

Успех бригады крейсеров был омрачен поражением наших войск у Вафангоу (это город и станция КВЖД в 150 верстах к северу от Порт-Артура). Виноват в поражении был Куропаткин, который с легким сердцем приказывал наступать и не испытывал угрызений совести, приказывая отступать. А как же иначе, если у него «трезвый взгляд на вещи»? Эта проклятая «трезвость» была хуже горького пьянства! Напутствуя войска в битву, Куропаткин заранее подрывал их моральный дух крамольными словами: «Если... придется встретить превосходящие силы (врага), то бой не должен быть доведен до решительного удара». Генералы и не доводили...

Операция владивостокских крейсеров опять отсрочила агонию Порт-Артура: гвардия японского императора нашла могилу на дне моря возле Цусимы, туда же, в бездну, канули и осадные орудия Круппа, способные раскалывать железобетон фортов и разрывать путоловскую броню кораблей. Защитники крепости, солдаты гарнизона и матросы эскадры Витгефта, еще не теряли надежд на лучшие времена.

— Ништо, братцы! — говорили они. — Ежели глиста Куропаткин не приползет на подмогу от Ляояна, так Зиновий приплывет от Кронштадта и даст Того пинкаря хорошего...

Питерские пролетарии, вывезенные в Порт-Артур еще адмиралом Макаровым, трудились денно и нощно. С помощью доков и кессонов они возрождали былую мощь броненосцев, подорванную японскими минами в памятную ночь пиратского нападения. Наместник Алексеев диктовал из Мукдена свою волю, призывая Витгефта: «Выйти в море для решительного боя с неприятелем, разбить его и проложить (эскадре) путь во Владивосток... решайте этот важный и серьезный шаг без колебаний». 8 июня броненосец «Победа» сбросил с днища последние ремонтные кессоны, водолазы выбрались на палубы и скинули шлемы скафандров:

— Все, братва! Дай курнуть... Теперь с этой «Победой» у нас шесть броненосцев противу шести японских. Драка будет законная — баш на баш. Чиркни спичкой, вот спасибочко...

Витгефт отдал приказ прорыть выходы из бассейнов, но его (как и многих флагманов) смущало, что часть корабельной артиллерии сражалась на суше, и переставить пушки с позиций на палубы уже не представлялось возможным.

— Господа, — говорил Витгефт, — вы же знаете, что я штабной человек, за столом над картами чувствую себя уверенней, нежели на мостице броненосца. И все-таки настоящим наместника я вынужден подчиниться... А как вы?

Через секретную агентуру Того о многом был извещен. Порою он знал даже больше офицеров русской эскадры. Накануне ему принесли номер порт-артурской газеты «Новый край», которая расхвасталась окончанием ремонта броненосцев. Того, усиливая свою эскадру, включил в нее и старенький китайский броненосец «Чин-Иен». Простой подсчет показывал: противу 103 000 тонн русского водоизмещения он, адмирал Того, может выставить к бою 139 000 тонн, закованных в броню...

В два часа дня 10 июня Порт-Арурская эскадра вытянулась в Желтое море. Вильгельм Карлович, окруженный сонмом флаг-офицеров и штабных прихлебателей, стоял на мостице «Цесаревича», охотно делясь своими планами, которые никоим образом нельзя было причислить к стратегическим:

— Уповая на вышние силы, я надеюсь, что Того не успел собрать свои корабли воедино на островах Эллиота, и через три дня мы все будем фланцировать уже по Светланской...

Ну что ж! Почему бы и не пофланировать?

Часы в рубках фиксировали время: 17.10. Эскадра лежала в боевом развороте, когда с румбов от норд-оста величаво выкатилась на пересечку ей внушительная армада противника, и сигнальщики надрывными голосами оповещали:

— Головным «Миказа» под флагом Того... «Сикасима», «Асахи», «Фудзи»... ясно вижу — «Ниссин» и «Кассуга»...

370 орудий Того выдвигались противу 300 русских пушек. Стройность кильватерных колонн Того подавляла (и это бесспорно). Одновременно «Чин-Иен» стал заворачивать крыло японской эскадры, как бы отсекая корабли Витгефта от береговых укреплений Квантуна. На мостице флагмана — волнение:

— О, черт! Всех собрал... даже этот «Чин-Иен», железная рухлянь от старой императрицы Цыси...

Всегда страшен момент сближения эскадр, похожих на сгустки энергии предстоящего боя. Наши матросы у пушек наспех доедали последние бутерброды, не отводили глаз от прицелов:

— Ну, мудрена мать! Счас, братцы, сподобимся...

Витгефту доложили подсчет вражеских миноносцев:

— У Того тридцать — против наших восьми...

Время: 18.50. «Цесаревич» под флагом Витгефта стал ложиться в обратном развороте — в сторону Порт-Артура. В мерцающих сумерках догоравшего дня мателоты послушно следовали за флагманом... Напряжение сменилось отчаянием:

— Нет ли ошибки? Почему отворачиваем?

Витгефт уклонился от боя, считая, что превосходство противника не позволяет ему принять вызов. Поворот на 16 румбов, уводящий эскадру в захламленные бассейны Порт-Артура, был воспринят как проклятие, как беспощадный приговор:

— Всё! Нас предали... теперь осталось умереть.

Время: 21.35. Эскадра уже входила на рейд, когда громыхнул взрыв — броненосец «Севастополь» наскочил на мину.

— Вот вам резолюция Того — с печатью дьявола!

Того бросил в атаку миноносцы, но их разогнали свирепым огнем. Четыре вражеских корабля погибли. Утром весь берег был усеян телами моряков. На одном из трупов нашли записку: «Внимание! Я сын адмирала Того...» Вильгельм Карлович снова засел в кабинете, отписывая наместнику: «Вышел в море не для показа... Обстоятельства, чтобы избегнуть бесполезных потерь, потребовали моего возвращения...»

Канцелярской робости Витгефта адмирал Того противопоставил свой беспощадный военный деспотизм, абсолютно лишенный чувства страха перед личной ответственностью за поражение. Он гнал эскадру на смерть, но при этом не боялся и своей гибели. В случае поражения (а такое можно было допустить) у него всегда был достойный выход — харакири!

В мукиденском дворце Алексеев прочел телеграмму Витгефта о возвращении эскадры в Порт-Артур и в бешенстве переломил, как спичку, толстый зеленый карандаш:

— Старая трусливая баба! Годится для службы в ассенизационном обозе, и уверен, не пролил бы из бочки с дерьюмом ни единой капли. Боже, боже, боже! — трижды воскликнул он и, закрыв лицо руками, пошел прочь, опрокидывая на ходу китайские ширмы с тиграми и хризантемами. — Боже милостивый! Ну что я теперь доложу его императорскому величеству?..

Витгефт получил от него указание: немедленно готовить эскадру к новому прорыву — во Владивосток.

— Отныне, — решил Витгефт, — без личного распоряжения его императорского величества я не сдвину эскадры даже на вершок от Порт-Артура... Не говорите мне об успехах владивостокских крейсеров! Нельзя же, черт побери, сравнивать силы Камимуры с силами эскадры самого Того...

Ну что тут еще добавишь? Да ничего.

— Я добавлю, — сказал Витгефт, — что вся ответственность за возвращение эскадры в Порт-Артур лежит на мне, и если в этом вина обнаружится, то виноват буду я один!

О возвращении эскадры в Порт-Артур вице-адмирал Скрыдлов известился лишь на второй день — 12 июня.

Он отрезал кусочек лососины и присыпал его солью.

— Ну что делать? — спросил Безобразова. — Наместник прогудел весь телеграф, требуя от нас активности. Но теперь момент нашей активности никак не укладывается в хронологию активности Вильгельма Карловича... Я просил наместника дать мне двенадцать дней, чтобы экипажи крейсеров отдохнули, а за это время сделать переборку машин. Но... Прочти сам!

Алексеев приказывал: «Считаю своевременным немедленно выслать крейсерский отряд для действия в Японском море на коммуникациях неприятеля». Наместник требовал от крейсеров усиленной оперативности, при этом Витгефт должен повторить свою попытку прорыва эскадры — во Владивосток. В случае же встречи крейсеров с Порт-Артурской эскадрой Безобразову следовало поднять над нею свой адмиральский флаг.

— Витгефту при этом свой флаг придется... спустить!

Скрыдлов явно пересолил свою лососину.

— На этот раз, — сказал он, жуя, — угля надо взять столько, чтобы хватило крейсерам южнее Цусимы...

— Южнее? Куда?

— До Квельпарта и вернуться обратно...

Безобразов думал. Подумав, он сказал, что информация о японском флоте — никудышная, а кавторанг Кладо, сидящий в военно-морском отделе штаба, в прошлый раз дал совершенно неверные сведения о дислокации кораблей Камигуры.

— По сути дела, наша прошлая операция была удачной авантюрией, всё держалось на страшном риске: авось пронесет. И нам просто повезло, как иногда везет дуракам.

— Не спорю, — согласился с ним Скрыдлов. — Но чтобы помочь Порт-Артуру, не мешает рискнуть еще раз.

— Снова лезть в осиное гнездо? Мы пропадем...

Пожилой бородатый дядя, адмирал Безобразов, через толстые стекла очков печально глядел на Скрыдлова, который на зрение еще не жаловался. Наверное, в этот момент Безобразову хотелось, чтобы в предстоящей операции Скрыдлов не сидел здесь, в кресле, жуя лососину, а стоял бы рядом с ним на мостице «России», отвечая за все, что случится, с такой же

ответственностью, с какой предстоит отвечать ему, Безобразов...

Николай Илларионович отказался выйти в море:

— Я ведь командующий флотом, мое дело сидеть здесь, не прерывая связи с наместником. Сам понимаешь...

Стену кабинета занимала карта Тихого океана.

— Уж если наместнику так хочется устроить шум, — сказал Безобразов, — так надо бы крейсерам отрываться от берегов и пошуметь на просторах океана... вон там! — Не оглядываясь, Безобразов ткнул пальцем в карту через плечо.

— Петр Алексеевич, вижу, ты не хочешь идти к Цусиме?

— Ты, Николай Ларионыч, тоже не сгораешь от желания видеть эти райские острова — Дажелет, Цусиму и Квельпарт. Дойти туда я могу, но... как выдернуть крейсера обратно? Камимура жаждет реванша, наверняка он сторожит проливы у Цусимы, как верный Трезор свою мозговую косточку. Стоит нам качнуть его будку, и он сразу сорвется с цепи...

Выдвинув ящик стола, Скрыдлов бросил в него связку ключей от секретного сейфа, в котором стояла бутылка водки.

— Слушай, мы старые друзья, что мы спорим?

— Да я не спорю, — вяло отозвался Безобразов. — Если надо идти к Цусиме, я свой долг исполню. Но желательно как следует рассчитать запасы угля, чтобы вернуться.

— Миноносцы опять вышлем к Гензану, — закончил разговор Скрыдлов. — Пока ты наводишь порядок у Цусимы, «собачки» обнюхают все бухты Кореи... Граф Кейзерлинг, русский подданный, еще до войны перенес свою китобойную флотилию в Нагасаки, а теперь она используется японцами в своих целях. Если встретишь этих китобойцев у Гензана, топи их всех к чертовой матери... Чего там жалеть? Барахло такое...

Хэйхатиро Того не был гением морской войны, просто сила и обстоятельства были на его стороне, а близость метрополии помогала его эскадрам черпать ресурсы со своих баз, расположенных у него под боком. Того, как и другие японские адмиралы, совершал немало просчетов, которые в иных случаях обернулись бы трагедией для японцев, но условия войны (опять-таки и фактор силы) помогали ему. Теперь, затворив Витгефта в Порт-Артуре, Того снова ощущал себя окрыленным. Слава

осеняла этого жесткого и нелюдимого человека, обожавшего каютное одиночество. Среди японцев стало модным иметь кошельки с вышитым на них изображением любимого адмирала... В эти дни жена адмирала Того дала интервью корреспондентам токийских и европейских газет:

— Мой муж начинал службу мичманом еще на колесном пароходике «Дзинсей» — быстрый кит... До войны я всегда накрывалась двумя одеялами, каждый день принимая ванну. Теперь, чтобы выразить солидарность со страданиями своего почтенного мужа, я сплю под одним одеялом, а моюсь через два дня на третий. До войны мои дочери ездили до гимназии в экипаже, а теперь они ходят пешком. Все свободное время я провожу в обществе знатных дам, где мы, перематывая горы бинтов для раненых, горячо обсуждаем последние радостные новости...

В этом женщина ошибалась! Новости не были радостными. Но они были скрыты от непосвященных... Под покровительством президента США капиталисты и спекулянты наживали колоссальные прибыли от военных поставок японцам, причем островитяне расхватывали все, что им дают, с алчностью акул, плывущих за богатым пассажирским лайнером, с которого выбрасывают за корму много вкусных объедков. Сан-Франциско стал перевалочной базой, откуда в порты Японии поступали стратегические грузы, провиант для армии, фураж для кавалерии. Техасские бойни утопали в крови, загоняя на смерть несметные стада, которые с ревом и погибали, чтобы перевоплотиться в десятки миллионов банок консервированного мяса — для японских солдат и матросов. Наконец, причалы Сан-Франциско были завалены товарами еще на 50 миллионов долларов, но страх сковал эти грузы...

Того пожелал видеть адмирала Камимуру.

— Теперь, — рассуждал он, — бизнесмены Америки не рискуют отправлять грузы, они придерживают их на причалах, и только потому, что янки народ практичный. Они не могут смириться, чтобы их товары были потоплены русскими крейсерами, как это было уже с английскими и германскими. Я хотел бы слышать, что скажет в оправдание адмирал?

Камимура склонил гладко остриженную голову, налитую тяжестью давней мигрени. Весь его вид выражал покорность и унижение перед силою роковых обстоятельств, которыми руководят боги — такие же старые, как и тот наследственный кедр, что хранится в его адмиральском салоне.

Того допустил Камимуру до секретных сведений:

— Банкиры Америки подготовили для нас заем в миллион долларов валютою, но все это золото валяется в бронированных сейфах парохода

«Корея», который не выходит в море... от страха! Три жалких русских крейсера с изношенными машинами стали играть видную роль в экономике Японии и даже в международной политике. Я, — продолжал Того, — служил на британском флоте, и я знаю, что англичане готовы удавиться за кусок черствого пудинга. Американцы... они щедрее! Но вся их щедрость равна нулю, ибо на флоте моего великого императора служит неспособный адмирал Камимура...

Камимура молчал. Он думал о семье, оставленной в Токио, о том, что жена состарилась, а его детям не вынести позора, который сейчас, всемогущий Того обрушивает на его большую голову. Того ровным голосом сказал, что для самурая остается последний способ оправдания. Или он запечатает русские крейсера в гавани Владивостока, или ...

— Или вы оправдаетесь перед богами, которые, надеюсь, будут к вам более милостивы, нежели я, ваш начальник!

Камимура понял намек на священный акт хаакири. В убогом салоне своего флагманского «Идзумо» он включил яркий свет, и печелийский угорь — в ужасе перед светом — начал осторвено просверливать грунт аквариума, чтобы в нем спрятаться. Камимура схватил его за жирный хвост и вытянул наружу. Угорь, извиваясь, хлестал его гибким телом по лицу и рукам, пытаясь вернуться в свою стихию. Теперь даже эта стеклянная тюрьма аквариума казалась ему таким же блаженством, как и мутные теплые воды Печелийского залива, где он родился и где он был, наверное, счастлив... Камимура сдавил морскую гадину за шею, и в ней что-то хрустнуло, переломленное.

— Вот так будет и с русскими, — сказал адмирал.

Мысли о хаакири были оставлены как преждевременные.

Слава крейсерских набегов и слухи о скором награждении офицеров орденами осияли и скромного мичмана Панафицина. В эти радостные дни он, наверное, даже не был удивлен, когда сам доктор Парчевский пригласил его провести субботний день на своей даче в Седанке:

— Ничего помпезного не обещаю, но моя супруга и Виечка, конечно, будут рады вас видеть... Откушаем что бог послал. Хоть подышите свежим хвойным воздухом!

Дача гинеколога Парчевского красовалась на лесном склоне в окружении богатых вилл владивостокских тузов, владельцев спичечных и

пивоваренных фабрик, торговцев граммофонами и унитазами. Ради визита Панафидин облачился в белый костюм, что пришлось очень кстати, ибо Вия Францевна, одетая в матроску, сразу же предложила ему партию в теннис. Мичман играл неважко, сразу уступив первенство девушке. Потом они гуляли в лесу. Сергей Николаевич рассказывал о себе, о своем трудном детстве. Ему было нелегко вспоминать опустелый родительский кров захламленного дома, в котором отец похоронил себя среди пустых бутылок и разрозненных томов мудрости мыслителей давней эпохи — Руссо и Вольтера.

— Когда мама умерла, папа растерялся, не зная, как жить и зачем жить. Мне всегда было больно видеть его жалкое одиночество. Но я запомнил его чудесные слова о том, что женщину нужно бережно хранить на пьедестале, и, пока женщина будет возвышенным идеалом, мы, мужчины, останемся ее благородными рыцарями... Наверное, — стыдливо признался Панафидин, — меня воспитали слишком наивным человеком. Я привык верить людям, всему, что ими сказано или написано.

— Вот как? — хмыкнула Вия.

— Да. Помню, наш «Богатырь» стоял еще в Штеттине на доработке опреснителей и подшипников гребного вала. Время было. Деньги тоже. Я купил себе билет и поехал в Женеву.

— Зачем? — удивилась Вия.

— Из путеводителей я вычитал, что в пригородах Женевы можно осмотреть Ферней, где проживал великий Вольтер. Я поехал и нашел Ферней, окруженный таким высоченным забором, через который может глядеть только африканский жираф. Позвонил у калитки. Вышел какой-то дядя в гольфах. Он выслушал мою пылкую тираду о возвышенных чувствах, какие питают все русские люди к Вольтеру, и сказал мне так: «Здесь живу я, а Вольтером и не пахнет. Ферней мое частное владение, а на всех вольтерьянцев я спускаю с цепи собак...»

— Так это же бесподобно! — хохотала Виечка.

Этот смех сильно смущил мичмана:

— Вы находите? Тогда я счастлив, что своей печальной новеллой доставил вам минуту бурного веселья...

Их позвали к обеду. За столом были и гости, друзья Парчевских, некто Гейтман, имевший ювелирный магазин на Светланской, и некто Захлыстов из Косого переулка, где он торговал нижним бельем. Мичман был очень далек от их меркантильных тревог и слушал, как Гейтман ругает дипломатов:

— Мы живем в таком бездарном времени, когда нет ни Талейрана, ни Бисмарка, а маркиз Ито и наш граф Ламздорф... дрянь и мелочь! Они не смогли предотвратить эту дурацкую войну, разорительную для нас, образованных негоциантов. Неужели я стал бы проводить летний сезон в этой паршивой Седанке, если у меня дом в Нагасаки с отличной японской прислугой?

— А я, — мрачно сообщил выходец из Косого переулка, — тока-тока перед войной закупил у американцев партию подштанников из батиста. Поди, теперича мои подштанники глубоко плавают, уже потопленные... вашими крейсерами! — адресовал он свой упрек непосредственно к мичману.

Панафида даже покоробило. На кой же черт они рискуют собой в море, зачем льется кровь в Порт-Артуре, если эти ювелирно-бельевые мерзавцы обеспокоены лишь своими доходами? Он решил откланяться хозяевам, а Вия Францевна вызвалась его проводить. Растроганный ее вниманием, Панафидин сказал, что этот чудесный день надолго сохранится в его сердце:

— Надеюсь, вы понимаете мои чувства...

Девушка вскинула палец к губам, и Панафидин сначала понял ее жест — как призыв к молчанию.

Но жест был дополнен очаровательным шепотом:

— Вот сюда... разрешаю. Три секунды. Не больше.

Этот мимолетный поцелуй был для мичмана, кажется, первым поцелуем в жизни, но, если бы Панафидин обладал жизненным опытом, он мог бы догадаться, что для Виечки он первым не был.

Пригородный поезд отошел от перрона Седанки еще полупустым, зато на разъезде Первая Речка пассажиры заполнили весь вагон. Среди разношерстной публики и огородников с корзинами Панафидин заметил и мичмана Игоря Житецкого, который сопровождал какую-то костлявую мегеру. С большим чувством она прижимала букет полевых цветов как раз к тому месту, где у всех женщин природа наметила приятное возвышение. В данном случае возвышения не было, а платье дамы было столь же выразительно, как и маскировочная окраска крейсеров...

Отозвав на минутку приятеля, Панафидин спросил его:

— Из какой морской пены родилась твоя волшебная Афродита?

— Тссс... потише, — прошептал Житецкий. — У этой милочки отличная слышимость на самых дальних дистанциях. Она инспекторша классов второй женской гимназии имени цесаревича.

— Так чего ей от тебя надобно? Или, скажем точнее, чего тебе-то,

бедному, от нее понадобилось?

— Тсс... — повторил Житецкий и вернулся к инспекторисе; до Панафицина долетал его уверенный тенорок: — Не спорю, молодое поколение нуждается в добротном воспитании. Допустим, вот я, молодой офицер... Что я в данной военной ситуации могу положить на алтарь отечества? Очень многое...

При этих словах мегера вскинула руку точным геометрическим движением, словно матрос, передающий на флагжах сигнал об опасности, и Панафицину показалось, что сейчас она опустит руку на шею Житецкого, чтобы привлечь его к себе заодно с букетиком. Но рука опустилась под лавку сиденья, чтобы почесать ногу в сиреневом чулке. «Ну, Игорь, поздравляю с успехом», — улыбался Панафидин, вспоминая три секунды блаженства, полученные сегодня от бесподобной Виечки Парчевской...

На крейсере его встретил озабоченный Плазовский:

— А, братец! Опять идем к Цусиме...

Доктор Солуха пригласил Панафицина в свой крейсерский лазарет, устроенный в корабельной бане, сплошь выложенной белыми метлахскими плитками.

— Если бы только к Цусиме! — вздохнул он. — Но, кажется, пойдем и дальше — до Квельпарта... Мы ведем опасную игру. Не может быть, чтобы Камимура снова позволил нам хозяйничать на своей кухне. Впрочем, за храбрость не судят, а награждают. Такова природа любой войны. Но при этом мне вспоминаются старые названия старых кораблей старого российского флота: «Не тронь меня», «Авось», «Испугаю»...

— Авось испугаем! — смеялся мичман, счастливый.

Транспорт «Лена» увел миноносцы, за ними тронулись крейсера, шумно дышащие воздуходувками. Сразу возникли неувязки: миноносцы захлебывались волной, в их механизмах начались аварии. Шли дальше, ведя «собачек» на буксирах, как на поводках... Возле Гензана «собачек» спустили с поводков, и они ринулись искать добычу. При этом № 204 задел пяткой руля подводный камень и закружился на месте, другие ушли без него. Миноносцы вернулись не скоро, с их жиденьевских мостиков, похожих на этажерки, промокшие командиры докладывали на мостик флагманской «России» — вице-адмиралу Безобразову:

— Военных кораблей в Гензане нет, сожгли каботажников...

— Я, двести десятый, обстрелял японские казармы, солдаты бежали в сопки. Склады в японских кварталах взорваны.

— Я, двести одиннадцатый: китобойцы графа Кейзерлинга при нашем появлении сразу подняли английские флаги...

— Так почему их не стали топить?

— Граф Кейзерлинг — русский подданный.

Безобразов схватился за рупор «матюкальника»:

— Какой он русский? Топить надо было... пса!

№ 204 взорвали, чтобы он не мешал движению. «Лена» забрала миноносцы под свою опеку и отвела их во Владивосток. В кают-компании «Рюрика» Хлодовский сказал:

— Что-то у нас не так... От этого налета на Гензан шуму много, а шерсти мало, как с драной кошки. Но японская агентура сейчас уже оповещает Камигуру о нашем появлении.

— Отказаться от операции? — волновалась молодежь.

— Нет! Но можно изменить генеральный курс и появиться в другом месте, где японцы не ждут нас...

События подтвердили опасения Хлодовского.

Но пока еще не было причин для беспокойства, и мичман Панафидин через бинокль оглядывал прибрежные корейские деревни, которые относило назад — на 17 узлах хода; скоро от берегов Кореи крейсера отвернули в море. Экипажи были уверены, что курс до Квельпарта — лишь для отвода глаз.

Матросы говорили, что следуют прямо в Чемульпо:

— Ясное дело! Идем, чтобы взорвать «Варяг», который японцы из воды уже подняли. Нельзя же терпеть, чтобы краса и гордость флота ходила под самурайским флагом...

Было очень жарко даже на мостиках, а в котельных отсеках ад кромешный, и кочегары там валились с ног. Ночью миновали Дажелет, эфир наполнился переговорами противника. Из треска разрядов и сумятицы воллей телеграфисты выловили насущную фразу: «Русские... преследование... уничтожить...» Панафидин заметил, что комендант Николай Шаламов почти не отходит от него, словно нянька, и это мичману поднадоело:

— Конечно, спасибо тебе за материнскую заботу обо мне, но все же перестань быть тенью моей.

Шаламов сказал, что добро надо помнить:

— Вы меня, ваше благородие, от каторги избавили. Маменька из деревни пишет, чтобы я старание проявил. Не серчайте! Дело ныне такое

— война... мало ли что может случиться?

— Если что и случится, братец, так ты не меня спасай, а мою виолончель... Ей-ей, она стоит дороже любого мичмана.

18 июня после обеда крейсера вошли в Желтое море, а проливы возле Цусимы были бездымны, беспарусны, безлюдны.

— Ни души! Словно на погост заехали, — волновались сигнальщики. — Камимура-то небось со своей Камимурочкой какую-то гадость задумали... добра не жди!

Самых глазастых матросов сажали по «вороньим гнездам» на высоте мачт, чтобы заранее усмотрели опасность:

— Валяй, паря! Тебе, как вороне, и место воронье. Гляди не проворонь, иначе накладем по шее... дружески.

Заход солнца совпал с первым докладом:

— Слева дымы... много дымов. Справа тоже...

На мостиках крейсеров стало и тесно и шумно.

— Считайте дымы, — велел Трусов глазастым.

— Девять... и еще какие-то. Видать, миноносцев.

Скоро распознали «Идзумо» под флагом самого Камимуры, за ним железной фалангой шла четкая линия броненосных крейсеров. Остальные корабли проецировались на фоне заходящего солнца, почему их силуэты расплывались. До Владивостока было 600 миль! Безобразов надел очки и распушил свою бородищу:

— Попали... прямо в собачью свадьбу! Поворот на шестнадцать румбов! Крейсерам перестроиться в строй пеленга, чтобы отбиваться с кормовых плутонгов — на отходе...

В момент разворота русских крейсеров на обратный курс Камимура, наверное, вспомнил угря, которого он схватил за глотку, и в ней что-то жалобно хрустнуло. Сейчас японский адмирал был спокоен: все было заранее предусмотрено, и на путях отхода русских крейсеров, попавших в западню, он заблаговременно расставил свои миноносцы — для атаки!

— Можно открывать огонь, — рассудил Камимура.

Баковые орудия его крейсеров изрыгнули грохот.

Уже темнело, и вдоль горизонта вырывались желтые снопы пламени, а поперек них ложились едкие лучи японских прожекторов. Русские крейсера отбегали прочь от Цусимы, на ходу перестраиваясь из кильватера

в пеленг. Хлодовский обходил бортовые казематы, где возле пушек наготове стояли матросы. Синие лампы, как в покойницкой, освещали хмурые лица комендолов... Попутно старший офицер спросил Панафирина:

— Как с нервами, Сергей Николаич?

Мичман вынул изо рта офицерский свисток:

— Признаться — жутко... Владивосток где-то там, далеко, а здесь на всех парах гоняется за тобой и вот-вот схватят за хлястик мундира... Что дистанция? Сокращается?

— Думаю, уйдем. Если не подгадим с узлами...

Удивительно, что старый, изношенный «Рюрик» словно помолодел: поспешая за своими товарищами, он держал 18 узлов так уверенно, будто его спрыснули «живою» водой. Весь в небывалом напряжении, крейсер мелко дрожал, как в ознобе, подгоняемый с южных румбов желтыми сплохами японской грозы. В кают-компании так растрясло рояль, что его клавиши прыгали, словно зубы перепуганного человека. В буфетах звенел хрусталь, мелодичноibriyua, в ряд с абажурами раскачивалась громадная клетка с птицами, которые разом притихли, чуя опасность.

— Играем ва-банк, — говорил доктор Солуха. — Если в машинах не справятся, всем нам будет хороший «буль-буль»...

Стрелка лага дрогнула, коснувшись цифры «17». Один узел был потерян, а Камимура еще мог свободно набавить узлов. Каперанг Трусов с мостика называнивал в машины.

— Умоляю! — кричал он. — Продержитесь еще немного. От вас все зависит... голубчики, миленькие, родненькие!

В пропасти кочегарок ящиками таскали сельтерскую и содовую. С холодильников снимали запасы мороженого, а коки готовили ледяной кофе. Все для них — для кочегаров! Полубоморочные люди шуровали в топках свирепое пламя, обжигающее их обнаженные торсы как жаровни доменных печей. Все понимали — сердцем, душой, сознанием! — стоит кому-либо из крейсеров получить «перебой» в машинах, и Камимура навалится на них всей мощью эскадры. На счетчиках лага оставалось 17 узлов, и пламенный грузин Рожден Арошидзе кричал:

— Молодец, «Рюрик»! Коли придем домой, всю машинную команду пою шампанским... ничего не пожалею. Вах!

Камимура по-прежнему освещал темнеющий горизонт залпами из башен, но его снаряды ложились с недолетом, и тогда в командах наших крейсеров слышался смех. Любопытные выбегали из низов даже на юты, чтобы своими глазами видеть противника («Его, — писал очевидец, — уже

плохо было видно, лишь дым да вспышки выстрелов показывали его место»).

Японские крейсера начали отставать...

Хлодовский поднялся на мостик и сказал Трусову:

— Что-то я не понимаю противника. Камимура ведет себя по-дурацки. Он мог бы набавить еще два узла, и тогда его артиллерия стала бы ломать наши крейсера.

— Не каркайте, Николай Николаич, — отозвался каперанг. — Я мыслю иначе: Камимура со своими крейсерами отстал от нас умышленно... Известите флагмана и прозвоните все казематы: быть готовыми к отражению минной атаки!

— Слушаюсь, Евгений Александрыч...

Камимура все рассчитал правильно: его 11 миноносцев, созданных на германских верфях фирмы «Шихау», покачивались среди волн, едва приметные. После угасания солнца они разом выкатились из засады, будто спортсмены на стремительных роликах. В узких лучах крейсерских прожекторов были видны даже их командиры... Они атаковали бригаду с двух бортов сразу, чтобы рассеять внимание наших комендоров, но ошиблись. Крейсера мгновенно ожили, артиллерийским огнем разгоняя эту свору, словно бешеных собак, и, растратив впустую торпеды, японцы пропали в ночи так же внезапно, как и появились... Вот теперь можно перевести дух.

— Кажись, пронесло, — говорили матросы.

Эскадра Камимуры отстала, а потом вдруг снова осветилась огнем, частым и беспощадным. Вдоль горизонта метались из стороны в сторону прожектора. Это Камимура расстреливал свои же миноносцы, приняв их во мраке за русские. Уцелевшие при атаке наших крейсеров, они тонули, избитые своими снарядами... Если это так, адмиралу Камимуре предстоит серьезно задуматься о священном акте харакири!

Ночью «Рюрик» выдохся машинами заодно с кочегарами и стал давать лишь 13 узлов. Но все оценили подвиг машинной команды и дружно качали пожилого Ивана Ивановича Иванова, крейсерского инженера-механика, который потом сознался:

— Сколько лет на флоте служу, а плавать не научился. Выдерни из-под меня японцы палубу родного крейсера, и я — покойник, а моя женушка —

вдовою на пенсии... Вам-то, молодым, на все еще наплевать! А мне, старику, думается...

Средь ночи крейсера вошли прямо в грозу, теплые шумящие ливни обмыли их палубы и, казалось, они сняли избыток напряжения с людей и металла. Все стали позевывать:

— Уж я как завалюсь во Владивостоке на свою «казенную», так меня никакой боцманюга не добудится...

Утром крейсера встретили в море громадину английского сухогруза «Чельтенхэм», и вахтенные офицеры на мостиках торопливо листали справочники Ллойда... Нашли то, что надо:

— Шесть тысяч тонн, работает на японцев от лондонской фирмы «Доксфорд»... Еще до начала войны обслуживал японскую армию крейсерами до Чемульпо и Фузана. Будем брать!

«Призовая партия» обнаружила в трюмах «британца» важные стратегические грузы, ценное оборудование для железной дороги Сеул — Чемульпо (которая строилась японцами рекордными темпами, даже по ночам — при свете факелов)... Стуча на трапах прикладами карабинов, на борт «Чельтенхэма» уже высаживались сорок русских матросов. Капитан попался с поличным, но еще огрызался, протестуя:

— Это насилие, это пиратский акт, мир вас осудит...

— Ну ладно, кэп. У нас в Петербурге тоже есть профессура международного права, они разберутся... Откуда у вас такое чудесное дерево в шпалах? Это никак не японское.

— Американское, — был вынужден признать капитан...

Подывая сиренами, крейсера вошли в Золотой Рог.

Владивосток распахнул им свои жаркие объятия...

Но командиры крейсеров имели немало претензий к штабу, который спланировал операцию наугад, и могло случиться, что ни один из трех кораблей не вернулся бы обратно. Особенно возмущало заслуженных каперангов, что их боевые отчеты будет теперь «редактировать» кавторанг Кладо. Командир «России», Андреев, и без того нервный, вернулся от Цусимы, благоухая валерьянкой:

— Если боевые действия моего крейсера складывались в условиях морского театра, то как же можно исправлять их посторонним людям в условиях тылового берега? Эдак вы скоро не только редактора, но и режиссера навяжете бригаде...

Скрыдлов сказал, что ему плевать на все бумаги, но, к сожалению, бумагам придают большое значение там:

— На чердаках великой империи! Что вы, Андрей Порфирьевич, на

меня взъелись? Кладо не зарежет вас. Что-то исправит, где-то цитатку научную добавит, что-то и вычеркнет, и ваш сухой казенный отчет, глядишь, заиграет всеми красками.

Трусов помалкивал за свой «Рюрик», но в беседу круто вломился Николай Дмитриевич Дабич, командир «Громобоя»:

— Когда я, очевидец, пишу отчет, это история подлинная. Если же ее пропустить через жернова теорий господина Кладо, она становится историей официальной. Между ними большая разница: правда истинная и правда надуманная...

При встрече с командирами крейсеров Кладо подверг их суворой критике; скромно, но с важным достоинством он обвинил их в том, что они «драпали» от крейсеров Камимуры:

— А почему бы вам не принять честного боя? Куда делись лучшие боевые традиции императорского флота?

Евгений Александрович Трусов не стерпел:

— Вы сначала побывайте там, откуда мы вернулись, а потом уж рассуждайте, как спасаться на берегу, когда в море беда. Сколько было нас и сколько было японцев, сколько давал узлов Камимура и сколько могли мы выжить... Вы это учитывайте!

А скоро «благодарная» общественность Владивостока поднесла кавторангу Кладо «имменное» оружие. Деньги на подарок собирали по подписке. Среди прочих внес четыре рубля и доктор Парчевский. Именное оружие вручали в здании городской думы.

Наконец в печати был обнародован список награжденных офицеров и матросов бригады владивостокских крейсеров, но в этом списке отсутствовало имя нашего мичмана... Панафидин сначала даже не сообразил, что произошло, а когда понял, то стыдился смотреть людям в глаза. Только своему кузену Плазовскому он высказал все, что думал:

— Было бы непристойно и глупо спрашивать, почему меня обошли. Ты, юрист, скажи, где законная правда жизни?

— Закон и правда жизни — два различных понятия, которые взаимно истребляют друг друга. Советую забыть оскорбление и служить, как служил раньше: честно и свято!

— «Честно и свято», — переживал Панафидин. — Но где же самая примитивная справедливость? Разве я не делал все, что положено военному

человеку? Разве я не старался?..

На Алеутскую он больше не пошел, не поехал и на дачу к Парчевским; мичмана угнетал такой позор, будто его заклеймили всеобщим поруганием. И стало совсем невмоготу, когда он узнал, что Игорь Житецкий получил Станислава 3-й степени... За что? Этой каверзы было уже не снести, и он решил поговорить с капитаном 1-го ранга Трусовым:

— О себе и своих обидах я готов бы молчать. Но теперь я совсем ничего не понимаю: орден Станислава, к которому я был представлен, получил человек, спокойно сидевший на берегу и занимавшийся болтовней на всякие отвлеченные темы...

Трусов тоже не скрывал своего возмущения:

— Я сам не разумею, как это могло случиться. Может, у вас есть какие-то грехи, о которых мне неизвестно?

— Один мой грех — играю на виолончели...

Трусов обратился за разъяснениями к Безобразову.

— Я не знаю, кто вычеркнул Панафицина из наградных списков, — сказал тот, — но смею заверить вас честным словом, что мичмана Житецкого никто из нас к ордену не представлял.

Трусов обратился к Скрыдлову, прося командующего флотом объяснить, как это могло случиться, что один мичман, торчавший на берегу, сделался кавалером, а другой мичман, «табанивший» на крейсерах вахту за вахтой, остался, как говорят цыганки, при своих интересах.

Скрыдлов мрачно взирал на коменданта «Рюрика»:

— Поверьте, в списках на представление к орденам флот Житецкого не учитывал. Житецкий получил Станислава по личной протекции инспекторы женской гимназии имени цесаревича.

— Какое же отношение к флоту эта стерва имеет?

— Да никакого! — обозлился Скрыдлов. — Но ее дьявол сильнее нашего дьявола. Она сохранила давние связи с Петербургом, награждение Житецкого поддержал и Кладо... Сами знаете, своего теленка и корова облизнет.

Панафицин набил деньгами бумажник и отправился в «Шато-де-Флер», где случайно повстречал актрису Нинину-Петипа, сказавшую ему, что она уезжает в Петербург.

— После меня остались головешки сгоревшего театра... А вы, Сережа,

я вижу, печальный? С чего бы это?

Чужой женщине с чужой судьбой мичман выплакал свои обиды. Мария Мариусовна отнеслась к его рассказу спокойно:

— Вы, Сережа, еще ребенок, и вы не знаете, как умеют обижать... Это к вам еще не пришло! Конечно, я понимаю, офицера украшают ордена, как женщину репутация. Но я думаю, что ордена вашему брату заработать все-таки легче, нежели женщинам сложить о себе хорошую репутацию... Не смотрите на меня с таким несчастным видом. Колесо фортуны кружится безостановочно, как в ярмарочной карусели. Вспомните-ка лучше, что было писано на кольце царя Соломона: «И это пройдет...»

Панафидин в этот вечер решил выпить «как следует».

— Ван-Сю! — подозвал он официанта. — Сегодня ты у меня не останешься без дела. Ну-ка, начинай подавать с таким же успехом, с каким элеваторы подают снаряды к пушкам...

Пито было «как следует», и затем оказалось очень трудно реставрировать в памяти подробности. Он забыл ресторан с Ни-ниной-Петипа, забыл и Ван-Сю, но помнил себя уже на улице. Улица была почему-то очень смешная. И самым смешным на этой улице был, наверное, он сам. Потом словно из желтого тумана выплыла гигантская фигура матроса, и Панафидин узнал его:

— А-а, опять ты... Никорай-никорай-никорай... Панафидин рухнул в объятия Николая Шаламова, и коменддор подхватил его, как ребенка, почти нежно гудя над ним:

— Ваше благородие, да вы меня... да я за вас! Ей-ей, и маменька наказывала, чтобы я... Держитесь крепче! На крейсер в самом лучшем виде... приходи, кума, любоваться!

Шаламов дотащил Панафида до пристани, бережно, как драгоценную вазу, передал его на дежурный катер.

— Осторожнее, братцы, — внушал он гребцам. — Это золотой человек, только пить ишо не научился как следовало...

У трапа «Рюрика» мичмана приняли фалрепные, они отнесли его «прах» до каюты, там вестовые уложили в постель:

— Ничего... С кем не бывает? Конешно, обидели человека. В самом деле, с этими орденами — только начни их собирать, так жизни не возрадуешься. Сколько из-за них хороших людей пропало! У нас-то еще ничего, ордена не шире блюдечка. А вот у шаха персидского, мне кум сказывал, есть такие — с тарелку! Ежели их все на себя навесить, так сразу горбатым станешь... Панафидин крепко спал. А на почте Владивостока его ждало письмо из Ревеля, где адмирал Зиновий Рожественский спешно

формировал 2-ю Тихоокеанскую эскадру.

Он проснулся в три часа ночи, догадываясь, что до койки добрался не сам и раздевали его чужие руки. С переборки каюты на мичмана сурово взирал Джузеппе Верди, которого многие принимали за писателя Тургенева, с другой фотографии смотрел профессор Вержболович, играющий на виолончели, и когда-то он был настолько добр, что внизу фотографии оставил трогательную надпись: «Моему ученику. С надеждой...»

Мичман добежал до раковины, его бурно вырвало.

— Какие тут надежды? Тьфу ты, господи...

«Рюрик» спал. Только из кают-компании сочилась в офицерский коридор слабая полоска света да бренчала ложечка в стакане. Это баловался чайком старейший человек на крейсере — шкипер Анисимов в ранге титулярного советника.

Он угостил мичмана крепко заваренным чаем.

— Ну что, милый? Подгуляли вчера?

— Да. Ничего не помню.

— Бывает. Кто из нас с чертями дружбы не вел? Вот я, к примеру. Еще молодым матросом, в царствование Николая Первого, однажды так закрутил в Марселе, что тоже память отшибло. Очнулся уже на доске, а меня секут, а меня секут...

Панафидин «опохмелялся» чаем. Над головами собеседников покачивалась клетка со спящими птицами.

— Василий Федорович, сколько же вам лет?

— Семьдесят второй, а что?

— Да нет, ничего. Я так...

Конечно, странно было видеть за столом кают-компании боевого крейсера ветхого титулярного советника, который выслужился из матросов и дождался уже правнуков.

— Василий Федорович, а служить вам не скучно?

— Тут за день так намордуешься с палубным хозяйством, что не знаешь потом, как ноги до койки дотянуть... До скуки ли? Одно плохо — бессонница. Николай Петрович Солуха давал мне какие-то капельки, да все не спится...

От разговора людей потревожились в клетке птицы.

— Василий Федорович, можно спросить вас?

— Ради бога, о чём угодно.

— А вы не обидитесь на глупость вопроса?

— Что ж на глупость-то обижаться? Спрашивайте.

— Мы люди... у нас долг, присяга, — сказал Панафидин. — Но, случись страшный бой в океане, вдали от берегов, наш крейсер затонет, а что же станется с нашими птичками?

Шкипер подсыпал в чай казенное сахарку.

— Клетку откроем, они и разлетятся.

— Куда?

— Это ихнее дело, мичман. Не наше, не человечье...

«Птицы разлетятся, а — мы? Куда денемся мы, люд и?»

Анисимов поднялся и оторвал листок календаря:

— Время-то как летит, господи... не успеваешь опомниться. Давно ли во льдах стояли, а уже июнь... Ну ладно. Пойду. Может, и удастся вздрогнуть до побудки. Душно что-то!..

Итак, читатель, мы в грозовом июне 1904 года.

Золотой запас России в десять раз превышал японский, и Страна восходящего солнца всю войну тревожно озиралась по сторонам: кто бы ей одолжил? Если бы не щедрость банкиров Сити, придинувших свою кормушку к самурайскому рылу, Япония не продержалась бы и полугода... К июню 1904 года валютный запас Токио был исчерпан, а пароход «Корея» американской компании «Пасифик Мэйл», таящий в себе миллионы долларов очередного займа, не шел на помощь, ибо американцы боялись фрахтов «на тот свет». Людские ресурсы Японии тоже подходили к концу: в армию рекрутировали молодежь призыва 1906 года, под знамена истрапанных дивизий Куроки, Ноги и Ояма возвращали пожилых солдат запаса. Все труднее стало поднимать солдат в атаки. Случай неповиновения участились, а за это тюрьма, да еще какая! Порою на фронте творились странные дела: из японских окопов слышались призывы по-русски:

— Идите скорее... офицеры ушли! Нас мало...

Иногда японец бросал свою «арисаку» с патронами:

— Вот и все! Я никогда не хотел воевать с вами...

Эти настроения подкреплялись рукопожатием, которым на Международном конгрессе Второго Интернационала обменялись два

человека: Сен Катаяма, представлявший рабочий класс Японии, и Плеханов, представитель русского пролетариата... В Токио предчуяли кризис (военный, финансовый, политический), а может быть, даже и полное поражение. Летом Япония уже начала зондировать почву для заключения мира. Через побочные каналы дипломатии, текущие близ главного русла международной политики, нашему министру Витте было предложено встретиться где-либо на европейском курорте с японскими представителями и начать переговоры о мире еще до... падения Порт-Артура! При этом японские дипломаты угрожали, что потом условия переговоров будут иные, более жесткие, более оскорбительные для чести Российской империи.

Именно в июне подняла шум японская пресса: «Нельзя не восхищаться подвигами русских моряков! — писали в газетах Токио. — Особенно превосходно поступила эскадра (отряд, скажем точнее) владивостокских крейсеров с нашими транспортами, дав полную возможность спасения невоюющим людям, тогда как она (эскадра) имела полное право пустить на дно все наши корабли с военным флагом на мачтах...» На последний визит крейсеров Безобразова к Цусиме, на их беспримерный отход без потерь к Владивостоку газеты Токио отвечали упреками лично Камимуре: «Какая низкая комедия! Офицеры в портах уже заготовили шампанское в уверенности, что Камимура победит. Но шампанское осталось нераскупоренным... Мы от имени всего японского народа требуем, чтобы правительство сделало самое серьезное замечание эскадре Камимуры!»

19 июня на улице Токио, где стоял дом Камимуры и где проживала его семья, с утра стала собираться возбужденная толпа, выкрикивая угрозы по адресу адмирала:

— Смерть ему! Смерть и нищета его семейству...

Своими одеждами и манерами эти озлобленные люди с жилистыми кулаками никак не напоминали выходцев из простонародья. Нет! Толпа состояла из деловых людей Японии, вышедших на улицу из контор банков, из дирекций фирм, из тайных подвалов финансовой мафии. Для них (именно для них!) русские крейсера Владивостока, без страха рассекавшие японские коммуникации, стали главной причиной их банкротства...

В стране уже кончался хлопок.

Заем в валюте задерживался.

Грузы военного сырья застряли в портах.

Корабли загасили пламя в топках котлов.

Заводам Японии угрожал застой.

Страховка за грузы удвоилась, даже утроилась...

— Во всем этом, — кричали деловые люди, — повинен жалкий и трусливый адмирал Камимура... Смерть ему! Пусть он закончит свою жизнь на коленях, стоя на красной циновке...

Полиция не вмешивалась. Под градом камней вылетали стекла из окон. Рухнули с петель хрупкие двери. Несчастная жена адмирала, схватив детей, спасалась бегством. Подожженный с четырех сторон, дом Камимуры жарко пылал. Токийская биржа расплатилась с адмиралом за русские крейсера...

...Вот и вечер. Камимура послушал, как внутренние отсеки его флагмана «Идзумо» наполняются храпением матросов. Где-то на шкафуте крейсера еще хрюкали отощавшие свиньи, которых давно пора зарезать, чтобы доставить радость командам. Ветер раздувал над открытым иллюминатором желтые занавески. Выслушав доклад флаг-офицера, Камимура сказал:

— Я лягу спать. Разбудите меня ровно в полночь.

Короткого сна хватило, и голова работала ясно.

Адмирал снял мундир и накинул на себя кимоно.

Тихо опустился на красную циновку. Колени скрипнули, как шарниры старой машины, давно не ведавшей смазки. Пальцем он опробовал остроту лезвия кинжала.

Потом, обнажив живот, Камимура мысленно провел на своем чреве те линии, которые способны решить все.

Сначала кинжал войдет в левый бок. Затем его надо резко перебросить вправо примерно на 5 сантиметров ниже пупка.

Где-то именно здесь затаилась его душа.

Но это еще не все. Решительным движением по вертикали кинжал рассудит вопрос о крейсерах-невидимках...

Аквариум, где раньше жил печелийский пленник, был пуст, а от дома адмирала осталось позорное пепелище...

Кинжал, звеня, вдруг отлетел в угол салона.

— Нет! Нет! Нет! — четко произнес адмирал, поднимаясь с красной циновки, снова скрипя суставами. — Бывает, что даже обезьяна падает с дерева. Но, упав на землю, она опять вспрыгивает на дерево — еще выше, еще смелее...

Камимура завел граммофон, поставив на диск лондонскую пластинку. Далекие голоса иного мира ободрили его:

Загрустили вы опять, не огорчайтесь.

Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь...

Камимура улыбался, улыбался, улыбался!

С берега возвратился иеромонах Конечников.

— Такая жарища в городе, — говорил он Панафидину, — мне, якуту, просто дышать нечем.

— Наверное, были в институте, отец Алексей?

— Да нет, на почтамте. Вот, кстати, и письмо для вас прихватил. Читайте. Штамп-то, я гляжу, ревельский...

Мичману писал из Ревеля его дальний родственник, командир миноносца «Громкий», капитан 2-го ранга Керн, которого Панафидин с детства привык называть «дядя Жорж». Керн сообщал, что весною ему довелось побывать в тверском захолустье, в панафинских Малинниках, когда-то принадлежавших Прасковье Осиновой, урожденной Вындорской; сюда, в Малинники, из соседнего Михайловского наезжал гостить Пушкин... Кавторанг Керн сообщал из Ревеля: «Я это все пишу, Сереженька, чтобы после войны ты навестил Малинники и свое Курово-Покровское, навел бы порядок в бумагах своих пращуров. Там есть что спасать от мышей и пожаров. „Панафинский летописец“, в котором представлены твои предки с 1734 года, я видел в руках дяди Миши уже обгорелым по краям, сильно истрепанным. Жаль, если все пропадет. Как ни скромничай, но все-таки именно мы, Керны, Вульфы и Панафидины, со временем должны привлечь внимание будущих историков, ибо за могилами наших прадедов, за кустами сирени наших обнищавших усадеб еще долго будет сверкать белозубая улыбка молодого Пушкина...» В конце письма «дядя Жорж» выражал надежду, что скоро обнимет его во Владивостоке: «Обогнем эскадрою этот шарик, прорвемся с боем у Цусимы, и заранее приглашаю тебя в ресторан на Светланской».

Панафидин показал это письмо Плазовскому:

— Сидя здесь, что я могу сделать? Напишу дяде Мише в Малинники, чтобы передал наш «Панафинский летописец» в Русское генеalogическое общество. Они там свой журнал издают, пусть напечатают... Как ты думаешь, Данечка?

Плазовский советовал «смотреть в корень»:

— Ну что там генеалогия? Наука для узкого круга рафинированных

гурманов, которые уже облопались историей. Лучше передать пушкинистам. Хотя бы такому знатоку Пушкина, как Модзалевский, вот и пусть он там ковыряется... Я слышал, ты вчера опять чего-то пиликал на своем «гварнери»?

— Пробовал. Плохо. Отвык. Огрубел.

Плазовский нервно поигрывал шнурком пенсне, как балованная женщина играет на груди ниткой драгоценного жемчуга.

— Сережа, ты способен верно оценивать события?

— Ну?

— Я ведь, ты знаешь, не каперанг Стемман, который открыл для себя Вагнера или Чайковского из хрипящей трубы граммофона. Но все-таки я, твой кузен, хочу дать родственный совет.

— Ну?

— Оставь виолончель на берегу.

— Почему?

— Сам не маленький, нетрудно и догадаться, чем эта возня с крейсерами Камимуры для нас может закончиться.

— Чем?

— Дурак! Когда-нибудь врежут «Рюрику» под ватерлинию... вот тогда и заиграешь на виолончели нечто бравурное.

Сергей Николаевич подумал. И даже обозлился:

— Нет! Если что и случится, так будет хоть кого обнять на прощание. Вот обниму «гварнери» — и прощай, музыка. Да и стоит ли бить по отсекам «водяную тревогу» раньше времени? Не забывай, что все русские люди неисправимые фаталисты. Из всех худших вариантов мы надеемся, что нам выпадет самый лучший... Спокойной ночи, Даня.

«Рюрик» качнула волна. Он вздрогнул, словно человек в дремоте, жалобно звякнули в его клюзах якорные цепи, на которых с вечера устроились ночевать громадные крабы. «Рюрик» снова притих, будто засыпая. В его железных артериях тихо пульсировала остывающая кровь технических масел и пара. Крейсер спал. И спали люди этого крейсера...

Часть вторая. Клещи

Владивосток, истомленный жарящей, жил обыденной тыловой жизнью. Обыватели постепенно привыкли к мысли, что война бушует где-то далеко, их она не коснется. Все так же катили на дутых шинах извозчики, дерущие по червонцу «из конца в конец», на улицах бойко торговали цветами и мороженым, дамы выписывали туалеты из Парижа, богачи вылакали в «Шато-де-Флер» все шампанское и перешли на «Абрау-Дюрсо». В китайских лавочонках на Семеновском рынке шевелились, как черви, трепанги, похожие на ожившие вдруг сигары, в фешенебельных магазинах не переводились товары из Шанхая и Гонконга, китайские купцы убеждали покупателей не скучиться:

— Моя товала плодавай далом... осень десево!

«Вестник Владивостока» скорбел о падении нравственности почтенных отцов семейств, которые в дни войны обрели «вторую молодость», а нашествие столичных этуалей дурно влияло на юных гимназисток. Под заглавием «Человек-молния» газеты оповещали о том, что владелец женского хора, некто Пузырев, бежал из Владивостока, похитив кассу, многие из его хористок остались на бобах, на зато в «интересном положении»...

Жарко, душно. Окна в городе отворены настежь...

Духовые оркестры напоминали о войне песней о «Варяге», уже тогда ставшей народной. В руках матросов яростно ухали сверкающие трубы геликонов, бились, звеня, шипящие медью тарелки, а барабаны выступали тревожную дробь:

Прощайте, товарищи, с богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами...

Летом без лишней шумихи началась секретная операция вспомогательных крейсеров Добровольного флота России, чтобы помочь своим дальневосточным собратьям.

Англия сверхбдительно сторожила проливы мира, тряслась над своим Гибралтаром, не позволяла туркам пропускать через Босфор и Дарданеллы боевые суда Черноморского флота. Однако наши «Смоленск» и

«Петербург» миновали турецкие проливы под коммерческим флагом, а в Красном море они подняли боевые стяги, укрепив на палубах пушки, до этого спрятанные в трюмах. 1 июля они арестовали британский сухогруз «Малакка», доставлявший в Японию ценный стратегический груз — взрывчатые вещества, листы броневой стали и прочее. Арестовав еще три английских корабля, «добровольцы» отправили их в русские порты. Никто еще не предвидел последствий этой войны рейдеров, которую столь отважно объявила Россия...

Телеграфные кабели агентства Рейтер, опутавшие мир, казалось, скоро лопнут от обилия информации, которая с берегов Тихого океана извергалась на головы читателей, как нечистоты из труб канализации. Лондон был главным цензором Европы: именно там кастрировали правду о событиях в мире, отсекая в телеграммах справедливое о России, подчеркивая все порочащее Россию, почему в других государствах, черпавших информацию агентства Рейтер, отношение к русскому народу становилось все хуже и хуже, а отношение к японцам улучшалось.

Широкой публике еще не было тогда известно, что Альфред фон Шлиффен, начальник германского генштаба, советовал кайзеру использовать трудности России на Дальнем Востоке, чтобы обрушиться на нее с запада всеми силами. Именно эта угроза со стороны Германии и Австрии не позволяла России снять со своих западных рубежей регулярные, отлично оснащенные дивизии. Петербург не стронул из городских казарм и свою железную, непобедимую гвардию, способную быстро и решительно изменить весь ход войны.

Куропаткин, сидя под иконами, постоянно требовал подкреплений, и скоро его армия стала ничуть не меньше японской. Армия в Маньчжурии росла, росла и росла, а Куропаткин все пятился, пятился, пятился («Трезвый взгляд на вещи!»)...

— Чем дальше углубляются японцы в Маньчжурию, — доказывал он недоказуемое, — тем лучше для нас. Я считаю, что нам можно отступать и далее, вплоть до Харбина, чтобы от Харбина нанести японцам удар сокрушающей силы. К сожалению, Генштаб не поддержал моего мнения...

Понятно, почему не поддержал: не такие уж там наивные сидели! Куропаткин не столько жаждал победы над врагом, сколько страшился поражения. Кажется, он забыл завет Скобелева, своего учителя: «Если очень боишься быть побежденным, тебе никогда не бывать в победителях...» Куропаткин не умел воевать всем фронтом, он воевал отдельными отрядами. При этом совершал хитрые маневры, но не войсками, а канцелярскими бумагами. Советский историк А. И. Сорокин

писал: «От начальства Куропаткин защищался пером. Как опытный бюрократ, он очень складно писал, умел пустить пыль в глаза, черное превращал в белое». Куропаткин не только щеголял пером, он фальсифицировал военное положение (свое и противника), говоря попросту — врал, и своим враньем вводил Петербург и Генштаб в заблуждение. Свои неудачи он оправдывал отменой телесных наказаний в войсках: «Вот если бы секли наших ванек-встанек, как раньше, глядишь, и давно бы подписали мир в Токио...» Подпольная пресса оповещала россиян:

Куропаткину обидно,
Что не страшен он врагам.
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
А Ояма наступает
Ночью и при свете дня.
Посмотри, вон-вон играет,
Дует, плюет на меня...

Стратегия постоянного отступления тоже никак не устраивала царизм! Наместник Алексеев (по словам того же А. И. Сорокина) «рекомендовал, советовал, обращал внимание в отношении боевого использования войск; сам же Куропаткин, не будучи в состоянии разобраться в происходящем, упрямо осуществлял свой план — отступать во что бы то ни стало, увлекая японцев в глубь Маньчжурии». Указания наместника Куропаткин попросту игнорировал. Но, отступая, он отрывал армию все дальше от флота, обрекая Порт-Артур на явное поражение.

Алексеев совершил немало ошибок. Но еще никто не осудил его за пассивность, от пораженческих настроений он был далек. Сидя в Мукдене, адмирал из своего дворца доказывал Куропаткину прописные военные истины. Он вернее и грамотнее оценивал взаимосвязь флота с армией. Наместник изо всех сил «выталкивал» эскадру Витгефта из Порт-Артура, хотя он, как адмирал, понимал последствия этого риска.

— Допустим, — рассуждал наместник, — в открытом бою с Того наша эскадра потеряет один-два броненосца. Их материальная ценность ничтожна по сравнению с конечным результатом войны. Когда мы переместим эскадру Витгефта во Владивосток, у нас не будет Порт-Артурской эскадры, как не будет и отряда владивостокских крейсеров. Зато у нас появится Тихоокеанский флот! В этом случае наш

противник будет поставлен перед новой для него стратегией на море, и эта новая стратегия с новой дислокацией флота спутает его коварные планы... Это хорошо понимает адмирал Того, держащий Витгефта взаперти, но этого не желает понять адмирал Витгефт, несогласный вылезать из своего гальюна. Наш флот попал в японские клещи, и эти клещи надобно разорвать. Чем скорее, тем лучше для нас... Что, я сказал непонятно?

— Это, наконец, невыносимо! — вспылил Витгефт. — От меня требуют побед, словно от адмирала Горацио Нельсона.

«Не оправдываюсь, а по долгу совести доношу, — строчил он наместнику. — Не считаю себя флотоводцем, командую лишь в силу случая и необходимости по мере совести и разумения до прибытия командующего флотом» (то есть Скрыдлова).

— В самом деле, — справедливо вопрошал Витгефт, — если Скрыдлов назначен на место Макарова, так чего ради он просиживает казенные кресла на Светланской?..

Подобный вопрос давно волновал защитников крепости. Как ни скимал Того кольцо блокады, его не раз прорывали наши героические миноносники, смельчаки брались доставлять почту в Чифу или Инкоу на китайских джонках. Думали, что и Скрыдлов проскочит в Порт-Артур, а тогда Вильгельм Карлович свалит на него все колокола и церковные дела. Но Скрыдлов, очевидно, не мечтал быть героем: с трех крейсеров Владивостока он снимал гораздо больше пенок славы, нежели Витгефт со своей броненосной эскадры... Между тем «Его Квантунское Величество», уже озверев, талдычил в депешах Витгефту, чтобы на приход Куропаткина до осени не рассчитывали. Он писал, что все «происходящее на море производит громадное впечатление на Японию... уничтожение транспортов нашими крейсерами вызвало там целую панику, а равно и выход эскадры из Артура. Будьте бдительны, не пропускайте благоприятной минуты — снова выйти с Вашей эскадрой, но только без того, чтобы снова возвращаться на Артурский рейд...».

Витгефт созвал совещание на борту броненосца «Цесаревич», были тут флагманы, были и Стессель с генералами.

— Что вы ждете от эскадры? — спросил их Витгефт.

— Мы, — за всех отвечал Стессель, — ждем, чтобы эскадра разделила судьбу геройского гарнизона. Вот когда гарнизон уйдет, тогда и вы можете

уходить... куда вам угодно!

Флагманы решили до выручки от Куропаткина не вылезать из гавани. Одного совещания Витгефту показалось мало, он устроил повторное, с чаепитием; было сообща решено, что эскадра оставит Порт-Артур для прорыва во Владивосток лишь в самом крайнем случае... Алексеев, узнав об этом, приказал: не в самом крайнем, а в любом случае прорываться во Владивосток! Не следует ждать Куропаткина к осени, не уповать на то, что к зиме подгребет адмирал Зиновий Рожественский...

Алексеев телеграфировал из Мукдена: «Гибель эскадры в гавани в случае падения крепости ляжет тяжкой ответственностью перед законом, неизгладимым пятном на славный Андреевский флаг и честь родного русского флота...»

Это положение, согласитесь, трудно оспаривать!..

Если Витгефт никогда не оспаривал первенства адмирала Макарова, то Скрыдлов, кажется, ревновал к его славе:

— Легко ему было в Порт-Артуре... с эскадрою! А вот посидел бы на моем месте, когда от флота остались три крейсера да шаланды всякие. У них там, в Артуре, еще ноги в шампанском моют, а Владивосток два месяца сахару не видел...

Сведения о том, что творится в Порт-Артуре, с трудом просачивались в Мукден, зачастую устаревшие, а Владивосток извещался наместником телеграфно-кратко. Газетная же информация зачастую отражала лишь слухи, которым никак нельзя было верить. Скрыдлов, обладая правами командующего флотом, не обладал прямой связью с Порт-Артуром — вот какая беда!..

Над городом копилась большая лиловая туча, принесенная с океана. Темнело. Ветер гнал по Светланской сор и рванину старых газет, вихрилась пыльца, столь несносная, что даже гимназистки закрывали лица дамскими вуалями. Дома Скрыдлова встретила жена Ольга Павловна, стройная англизированная дама, каких художники любят изображать в седлах скакунов, и скромная дочь Маша, приехавшая из Пскова работать в морском госпитале. Тяжелой поступью адмирал проследовал к столу. Бестовой водрузил перед его превосходительством тарелку зеленых щей, украшенных желтком яйца и белизною сметаны. Вдали сухо громыхнуло близкой грозой...

— Сегодня нашего папу, очевидно, лучше не трогать, — сказала Ольга Павловна дочери. — Ты чем-то огорчен, Коля?

Скрыдлов налил себе стопку померанцевой.

— В наши дела стал вмешиваться сам император. Меня известили из Мукдена о его желании, чтобы крейсера перерезали телеграфный кабель, связующий Японию с материком. О наших крейсерах пошла такая слава, будто им все удается и они только спички чиркать еще не научились... Резать же кабели, лежащие глубоко на грунте, — продолжал Скрыдлов, прислушиваясь, как на подоконник падают первые капли дождя, — это безумие...

За окном вдруг грянул оглушительный ливень.

— Давно пора, — сказала Маша, даже за столом не снимавшая косынки сестры милосердия. Скрыдлов спросил ее о делах в госпитале, — Это... ужас! — ответила дочь. — Я никогда не думала, что раны можно промывать бензином. Нету спирта.

— Что за чушь? Пить-то спирт всегда находят.

— Однако марлю вымачивают в суплеме. Комки мокрой марли пихают в раны. Все потому, что нет стерилизатора.

— А почему нет?

— Говорят, роскошь. Он дорого стоит...

Скрыдлов отдал дочери свои кровные сто рублей:

— На, Машка! Купи сама этот несчастный стерилизатор, но только не проболтайся, что на мои деньги...

Вечером Николай Илларионович сказал жене, что теперь наместник требует от него не морской, а океанской операции:

— Наши крейсера должны появиться у Токио!

— Ты снова отказался, как и с этим кабелем?

— Нет. Но предупредил, что из трех крейсеров вернуться могут лишь два. Это в лучшем случае. Посмотри на карту сама: в Тихий океан они выходят одним проливом — Сангарским, а каким выберутся обратно? Через Лаперуз?

В пальцах жены дымилась дамская папироса.

— Коля, хочешь избавиться от Кладо?

— А как?

— Предложи ему в этот поход быть на крейсерах...

Скрыдлов вызвал к себе кавторанга Кладо:

— Дорогой Николай Лаврентьевич, вы знаете, сколько офицеров на берегу домогаются чести служить на крейсерах. Кавторанги согласны занимать лейтенантские должности. Все рвутся в бой! Испытывая к вам

глубочайшее уважение, хочу доставить вам и персональное удовольствие... Надеюсь, вас обрадует место старшего офицера на «Громобое»?

— Мне ваше предложение чрезвычайно лестно, — сказал Кладо. — Но я боюсь нажить лишних врагов и завистников.

— Не понял.

— Вы же сами сказали, что многие офицеры флота жаждут корабельных вакансий, не желая томиться на берегу. Стоит мне принять вашу вакансию, я переступлю другим дорогу по службе, вызову излишние нарекания, каких и без того хватает. Надеюсь, я еще не слишком надоел вам при штабе?..

Суть этой беседы Скрыдлов передал Безобразову, но друг-приятель перевел разговор в неожиданный фарватер:

— Николай Ларионыч, я очень далек от сплетен, хотя говорят черт знает что... По старой дружбе хочу предупредить, что ты занял двусмысленное положение. Прости, но люди говорят, что Скрыдлову-то сам бог велел быть в море, а не сидеть в кабинете. От души советую: тряхни стариной, вспомни, как в молодости вместе с Макаровым атаковал турок на Дунае... Хоть в эту операцию выведи крейсера сам!

Скрыдлов как-то вяло осунулся в кресле:

— Ну, Петр Алексеич... от тебя упрека не ожидал.

Безобразов клятвенно сложил перед ним руки:

— Поверь, я от чистого сердца. Я ведь не говорю, чтобы ты рвался в Артур, где тебя уже перестали ждать. Но здесь-то, во Владивостоке, покажи себя флотоводцем!

Скрыдлов вдруг треснул дланью по столу с такой силой, что с богатых чернильниц кувырнулись крышки, отлитые из бронзы в форме шлемов сказочных русских витязей.

— Кончено! — выкрикнул он, вставая (и Безобразов вскочил тоже). — Если ты решил, что, сидя здесь, я прячусь за твоей спиной, что я посылаю тебя на смерть, тогда в море ты больше не пойдешь... Да! Посиди-ка на берегу вместе со мною. На этот раз крейсера поведет в океан другой адмирал.

— Кто?

— Иессен.

С портовых барж, обступивших крейсера, какой уж день принимали

уголь и горючие брикеты. Над кораблями с утра до ночи играла музыка, нависало черное облако. «Уголь — это жизнь!» — завещал флоту Макаров, и длинные вереницы матросов, в три погибели согнутые под тяжестью мешков, таскали топливо в бункера крейсеров, так муравьи складывают свои яйца в потаенные хранилища муравейников. Уголь для моряков, как и яйца для муравьев, — это символ выживания, это надежда уцелеть. Панафидин, стоя на вахте, принял с берега катер, на котором Солуха и лекарь Брауншвейг доставили большую бутылищу с рыбным жиром для поправки малокровных матросов.

— А что на берегу? — спросил их мичман.

— Почти блаженная Аркадия, полно публики...

Сдав вахту, Панафидин навестил Хлодовского, прося разрешения отлучиться на берег. Старший офицер обманивался от духоты красивым японским веером, перед ним лежал еще майский номер американской газеты «Нью-Йорк Геральд» с корреспонденцией из Петербурга о чествовании героев крейсера «Варяг».

— Присядьте... Здесь американцы пишут, что один из наших матросов в бою при Чемульпо получил сто шестьдесят осколков сразу. Они ошпарили его всего, как кипятком. Снаряды японцев с начинкой из шимозы разлетаются в брызги металла, которые можно исчислить в две-три тысячи. Наши пироксилиновые дают не больше сотни осколков. Если учсть, что японский флот вооружала английская фирма Армстронга, то... выводы печальны.

— Почему? — удивился Панафидин. — Разве у нас когда-либо возникали сомнения в превосходстве русской артиллерии?

В руке Хлодовского отчаянно трепетал веер.

— В том-то и дело, что еще не возникало... Можете идти на берег, — неожиданно сказал он, не закончив разговора.

В самом конце Ботанической, близ Гнилого Угла и речки Объяснений, где гнездилась городская беднота и рабочий люд, Панафидин отыскал убогое жилье почтового чиновника Гусева. Старик обрадовался, стряхнул с колен жирного кота:

— А, Сережа... господин мичман. Вот радость-то...

За самоваром Гусев сообщил, что квартет распался:

— Полковник Сергеев, интендант, хорошо на альте играл. А воровал еще лучше! Уже под следствием, а ведь как тонко музыку понимал, окаянный...

— Значит, у Парчевских вы не бываете?

— Да где там! Я ведь и бывал там лишь ради моей скрипки, чтобы она

не скучала. — Кажется, Гусев догадался, что мучает мичмана. — Вия Францевна, конечно, барышня завидная. С папенькиных гонораров любой пень станет красив. Господин Парчевский в год больше вашего Скрыдлова имеет... Адмиралами-то у вас на флоте когда становятся?

— Да годам к пятидесяти.

— Вот тогда и являйтесь на Алеутскую, чем не жених?..

Панафидин собрался уходить. Сказал:

— А жаль! Жаль, что квартет наш распался.

— Э, Сережа... Живете вы там по каютаам, как суслики в норках, и ничего не знаете. Тут не только квартет — тут вся Россия скоро распадется. Умирать-то на войне русские хорошо научились. Вот только жить хорошо никак не научатся. Уж больно много воровать стали. И кто богаче, тот и крадет больше. Признак опасный! Недаром в древнем Китае мудрецы говорили: государство разрушается изнутри, а внешние силы лишь завершают его поражение...

Разговор оставил в душе мичмана неприятный осадок. Вдоль Ботанической он вышел к памятнику Невельскому, от Пушкинской завернул на Светланскую. Здесь как всегда: тротуары отданы во власть чистой публики и офицеров, а матросы шагали по краю мостовых, едва успевая козырять начальству, которое двигалось сплошным косяком, словно осетровые на брачный нерест, когда уже ничто их не остановит. Панафидин заметил и активно шагающего Житецкого, тот окликнул приятеля:

— Ух, набегался! Прямо с телеграфа. Кладо просил отбить срочную для Зиновия Петровича... Впрочем, что мы тут стоим, Сережа? Зайдем в кондитерскую. По чашке кофе, а?

В кафе Адмиральского сада они устроились под зонтиком, заказали кофе глясе с шоколадными птифурами. Житецкий свободно оперировал именами: Зиновий Петрович сказал, Федор Карлович сделает, Алексей Алексеевич поможет. До Панафида не сразу дошло, что Житецкий имеет в виду адмирала Рожественского, Авелана — управляющего морским министерством, Бирилева — командующего Балтийским флотом...

— Служить бы рад — прислуживаться тошно, — горестно ворковал Житецкий. — Кругом зависть, угодничество, сплетни, подсиживанье. Честному человеку трудно обитать среди крокодилов. Вот и под Кладо уже стали подводить мину... Хорошо, что Рожественский его давно ценит. Берет на свою эскадру! Историографом похода. Конечно, Николай Лаврентьевич меня в этой скрыдловской берлоге не оставит... уедем вместе!

— А как же Вия? — вырвалось у Панафицина.

— Вия Францевна? Что-то я, братец, не понимаю, ради чего ты приплел ее к серьезному разговору? — усмехнулся Житецкий. Панафицину стало вдруг и неловко и стыдно.

— Слушай, Игорь, не выпить ли нам?

— Извини. Сейчас не такое время, чтобы дурманить себя алкоголем. Надо бороться, отстаивать, утверждать. Война — время активных настроений. В конце концов, на Владивостоке свет клином не сошелся... От Скрыдлова хорошего не жди. Мало ему Кладо, он уже и Безобразова начал размазывать...

В саду глубоко и протяжно вздыхали праздничные валторны, за соседним столиком сидела очень красивая женщина, в ее пальцах отпотевал бокал с ледяным лимонадом. Панафицин с большим трудом отвел от этой женщины глаза.

— Я забыл поздравить тебя... с орденом, — сказал он.

— Пустяки! — отмахнулся Житецкий. — Ну, дали. Так не отказываться же? Но я возмущен до глубины души, что тебя обошли... Почему молчал? Почему не подал прошение «на высочайшее имя»? В конце концов, орден — это вопрос офицерского престижа. Ты напрасно так легкомысленно к этому относишься.

— Перестань, — взмолился Панафицин, страдая.

На прощание Житецкий горячо нашептал ему в ухо:

— Иессен опять с вами... «Богатыря»-то он крепко на камушки посадил. Теперь смотрите, чтобы не затащил вас туда, куда Макар телят не гонял. Ему-то что? У него карьера подмочена, так он, чтобы отличиться, сам на Камимуру полезет.

28 июня крейсера закончили бункеровку. С берега поступил семафор от Скрыдлова: «Бригаде принять еще четыре баржи с углем». Командиры крейсеров разводили руками:

— Мы же не резиновые, и так сели ниже ватерлиний... Но контр-адмирал Иессен распорядился не спорить и грузить уголь куда можно и сколько можно.

— Что-то там задумали, — догадывались в экипажах.

Панафицину еще долго вспоминалась прекрасная женщина в Адмиральском саду: «Бывает же такая дивная красота...» Мичман был еще непорочен, стыдясь признаваться в этом другим. Что он знал от женщин? Три секунды поцелуя от Виечки...

4 июля на крейсерах были гости; с берега понаехали катерами жены, невесты, матери. Был дан обед, женщины по привычке старались предвосхитить старания вышколенных вестовых, ухаживая за мужьями и сыновьями с готовностью, с какой они делали это на земле. Именно во время обеда Иессен воздел над «Россией» соцветия сигнальных флагов.

— Поход! Срочно. Гостям покинуть корабли...

Крейсера ушли, будто их никогда не было здесь, а вечером на рейдовые «бочки» забрались громадные крабы и сидели там долго-долго, потрескивая клешнями... Владивосток к ночи осветился золотыми огнями, в саду по-прежнему звучала музыка, на тротуарах полно было гуляющих, где-то спешили на свидание девушки в новеньких туфельках, но вся эта жизнь уже не касалась тех, кто ушел... может быть, ушел навсегда!

Первая волна небрежно, словно нехотя, качнула «Рюрик», и в клетке, висевшей над столом, забеспокоились птицы. Евгений Александрович Трусов уселся во главе стола кают-компании.

— Ну-с, поздравляю... Мы вправе гордиться! Одни только ионыские походы наших крейсеров стоили Японии потерю гораздо больших, нежели она понесла в затяжных боях на Ялу и при Вафангоу, вместе взятых. Это точные справки! Вы знаете, — продолжал каперанг, — что все японцы более чувствительны к делам на море, нежели на сухопутье. Очевидно, это врожденная черта всех народов-островитян, и этот фактор следует учитывать. Сейчас в Японии (и не только там) перепуганы нашими набегами. Транспортировка войск и грузов ведется уже не с морской, западной, а с океанской, восточной стороны японского побережья, куда мы и направляемся... в район Токио!

— Каким проливом? — сразу возник вопрос, один из самых насущных из числа вопросов жизни и смерти.

— Сангарским... прямо в горло Японии. Да, конечно, пролив Лаперуза у Сахалина гораздо безопаснее для выхода в океан, но этот пролив лучше оставить для возвращения. Адмирал Скрыдлов настоял, чтобы крейсера грузились углем выше нормы. Даже если будем следовать дальним проливом Лаперуза, в наших бункерах должно оставаться по четыреста

тонн угольного запаса для каждого из кораблей. Главное я, кажется, сказал, остальное вы обговорите без меня... с Николаем Николаевичем!

Стоило командиру удалиться, как сразу началась дискуссия, в которой Хлодовский оставлял за собой последнее слово. Кесарь Шиллинг, крейсерский «Никита Пустосвят», готовый любую ерунду отстаивать с одержимостью раскольника, на этот раз говорил вполне здраво и рассудительно:

— Не кажется ли вам, что еще со времен Рейценштейна мы не вылезаем из авантюр? По сути дела, каждая операция крейсеров зиждется на старинном великороссийском принципе: авось пронесет, авось вывезем, авось бог поможет...

Прапорщик запаса Арошидзе был согласен с бароном:

— На войне мы стали нахалами, даже страшно!

— Насчет нахальства, — вмешался Юрий Маркович, упитанный, как боровок, причесанный в лучшей парикмахерской города. — Этого слова, прапорщик, я не принимаю. Нахалом можно быть на базаре или в очереди у вокзальной кассы. А для военных людей существуют иные понятия — риск и дерзость!

Шкипер Анисимов похлопал механика по спине:

— Умница! Сразу видать, что у тебя бабка писательша...

— Бабка, верно, писательница, зато папочка из тюрем не вылезал. Не от этого ли, милый старик, я и поумнел?

Хлодовский охотно поддержал тему риска:

— Хоть с водою в трюмах, даже на последнем куске угля мы обязаны вернуться. А перспективы у нас серьезные: сейчас в Иокогаме готовят к отправке морем новые дивизии под конвоем двух крейсеров и одного броненосца.

— Значит... бой? — спросил его врач Солуха.

— Пожалуй. И потому прошу вас, господа, быть ближе к матросам. Они наши младшие братья. Если мы идем в бой по призванию, они идут на смерть по чувству долга. Чтобы никаких «персыков»! Дисциплина — штука капризная, как уличная девка. Доверие матроса к офицеру следует ценить выше подчинения. Только глупцы целиком уповают на служебную дисциплину...

Все расходились. Старший инженер-механик Иван Иванович Иванов подошел к Конечникову под благословение, и тот перекрестил его. Но молодежь обошлась без этого:

— Все под одним Богом ходим — под Андреевским стягом! Православные, лютеране, католики (и, кажется, даже один мусульманин —

минный офицер Зенилов), все они дружно карабкались по трапам, их ладони полировали латунь поручней, и без того сверкающую, а ступени трапа были обтянуты ковром, но кают-компанийский рай обрывался жестким порогом-комингсом, и тогда нога каждого ступала в мир обнаженной грубой брони...

Флаг Иессена привычно стелился над «Россией».

Панафидин не удержался и поведал Плазовскому о своем разговоре с Житецким: будто бы Иессен сейчас потащит отряд в зубы дьявола, лишь бы исправить свою карьеру.

— Подлец он и мерзавец, этот Житецкий! — возмутился кузен. — Таких людышек в старые добрые времена ставили к барьеру... Какое он имеет право оскорблять Карла Петровича, честного и порядочного человека? Иессена мы знаем как ученика Макарова, без веры в его флаг нам в море делать нечего...

Волныshalovliivo-радостно закидывали пенные плюмажи брызг на чистые палубы крейсеров. Качка усилилась. Панафидин «заклинился» в койке, чтобы креном его не вышвырнуло на палубу. Он раскрыл томик Карлейля, который иногда писал так, что стоило задуматься: «Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна. Она вечна. Она несокрушима...» Крейсера шли хорошим ходом, уверенные в себе и в своем воинском счастье.

Случайный разговор о корабельной артиллерию, начатый в канун похода Хлодовским с мичманом Панафидиным, так же случайно, но вполне закономерно был продолжен на мостице флагманской «России», где коротали тревожную ночь контр-адмирал Иессен с каперангом Андреевым... Русские моряки свято верили в достоинства своей артиллерии, и эта вера еще ни разу не была поколеблена. Однако Андреев заметил:

— Мы ведь еще не опробовали наших пушек в дуэли с крейсерами Камимуры... Как отзовется японская броня на наши попадания? Где и в какой момент сработают наши взрыватели?

Иессен вспомнил: в январе 1904 года, когда он был еще в Петербурге, его принял генерал Бринк — изобретатель снарядных взрывателей. Бринк горячо заверял Иессена: «Относительно нашей артиллерии вы можете быть совершенно спокойны — она безусловно выше японской».

— Наконец, — рассказывал Иессен, — незабвенный Степан Осипыч, благословляя меня на бригаду крейсеров, дал мне четкую инструкцию, и я наизусть помню ее слова: «Наши суда в артиллерийском деле выказали превосходство перед судами неприятеля...» Так стоит ли нам пороть горячку?

Андреев ответил, что действие бринковского снаряда можно уподобить лишь удару топора, разрушающего ящик; японский же снаряд, напичканный шимозой, превратит его в пыль.

— Американцы в своих газетах пишут, что шимоза дает такой жар, от которого даже броня плачет стальными слезами.

— Ну, эти янки известные болтуны...

Море осветила большая, очень яркая луница.

— У-у, волчье солнышко! — ругали ее матросы. После полуночи на 7 июля Панафидин с мостика передал в салон командира по извилинам переговорных труб:

— Нас не ждут, и я вижу свет японских маяков.

— Какого цвета? — спросил Трусов.

— Белый и красный.

— Именно они указывают вход в Сангарский пролив. Не прохлопайте сигнал флагмана: сейчас полезем в эту прорву...

Над картами Сангарского пролива склонились рюриковские штурмана — капитан Салов, мичмана Платонов и Панафидин. Сангарский пролив славился вихреобразными «сулолями». Войдя в его узость, огражденную горами, крейсера сразу попали в неразбериху отвратной качки, а попутное течение сильно «подпихивало» корабли в корму, отчего скорость возросла сразу на четыре узла. Рулевые боролись со штурвалами, стараясь удержать крейсера посреди пролива. Трусов стоял у телографа.

— В мирные времена, — сказал он, — корабли прижимались к берегам, чтобы избежать этих «сулоев», но... Откуда мы что знаем? Может, у берегов теперь поставлены мины?

Был сыгран «аллярм», и люди уже не покидали боевых постов. Солуха с лекарем Брауншвейгом растаскивали по трапам особые носилки, в которых раненых можно перемещать даже по вертикали, их можно просовывать через люки. Заодно с санитарами трудился и священник Алексей Конечников.

— Помочь, батюшка? — окликали его матросы от пушек.

— Ты в мое дело не лезь, как и я в твои дела не путаюсь, — отвечал иеромонах.

Сотни глаз пронизывали коридор пролива, внутри которого затаилась

крепость Хакодате, фланкирующая боевым огнем всю середину Сангарского пролива.

— Семь миноносцев! — оповестили сигнальщики.

В темени пролива миноносцы разом отвернули и шарахнулись в сторону берега. Каперанг Трусов отчаялся:

— Скорпионы проклятые! Значит, нас уже рассекретили, и теперь заработает телеграф на Токио...

С рассветом крейсера прошли мимо Хакодате, демонстрируя свое презрение к противнику. Но крепость города молчала, и Хлодовский сказал, что газетные сплетни подтвердились:

— Все пушки крепостей японской метрополии сняты с берега и отправлены на штурм Порт-Артура...

Правда, барон Шиллинг клятвенно уверял, что в глубине бухты Хакодате он разглядел очертания китайского броненосца «Чин-Иен», но «Никиту Пустосвята» дружно высмеяли.

— Никто не верит мне, — обиделся барон...

В семь утра бригада крейсеров вырвалась из теснины Сангарского пролива, и перед ними, величаво и спокойно, открылся стратегический простор Тихого океана... Первой жертвой стал корабль «Такасима-Мару», который крейсера и потопили. Но, верные себе, моряки России прежде убедились, что вся команда попрыгала в шлюпки, а берег был недалек:

— Ничего! Японцы ребята здоровущие — выбросят...

Остановили английский пароход «Самара», идущий в балласте. Оснований задерживать его не было, и пароход с миром отпустили. А скоро явление рефракции вырисовало фантастическую картину грозного японского броненосца.

— Что за корабль?.. — гадали на мостиках.

Но вот он приблизился и оказался обычным пассажирским пароходом. Солнце уже припекало. По променад-деку гуляли нарядные японки под зонтиками, из кругляшней иллюминаторов высовывались головенки японской детворы. Встреча с подобной идиллией была столь неожиданна, что матросы скопились у лееров, возбужденные этим зрелищем:

— Бабенки-то у них ничего... гляди, крали какие!

Иессен тоже досмотрел эту идиллию до конца:

— С женщинами и детьми русский флот не воюет...

Крейсера прощально взывали сиренами и стали отходить от парохода, никак не нарушая его пассажирского расписания. При этом японские женщины слали воздушные поцелуи, а русские моряки махали японкам руками, желая доброго пути...

Именно в этот день министр иностранных дел, граф Владимир Николаевич Ламздорф, в здании у Певческого моста русской столицы принял английского посла, явившегося с протестом. Скотт не собирался шутить. Он был возмущен (согласно лондонским инструкциям). Англия уже встала на дыбы. Как? Она — владычица морей, а русские моряки провели ее как старую дурочку на «блошином рынке»...

— Итак, я вас слушаю, — сказал Ламздорф.

Скотт неторопливо раскрыл роскошный бювар:

— Я вынужден сделать официальное заявление. На этот раз я не стану касаться ваших владивостокских крейсеров. Но мы не можем признать правомочности боевых действий крейсеров вашего Добровольного флота на том веском основании, что они покинули Севастополь под коммерческим флагом, которым и ввели в заблуждение турецкие власти, дабы затем пиратствовать по праву сильного против слабейшего на международных морских путях. Вами задержаны наши корабли, в том числе и «Малакка», зафрахтованная для рейса в Японию.

— Да, — отвечал Ламздорф, — мне это хорошо известно. Но задержание «Малакки» состоялось в границах общепринятых норм международного «призового» права, которое во все времена позволяло флотам противников пресекать военную контрабанду... Япония еще за три дня до нападения на Россию стала пиратски захватывать коммерческие корабли, идущие во Владивосток с безобидными грузами, и мировая общественность не протестовала против этих разбойничьих актов. Наконец, не станете же вы, господин посол, отрицать, что броневые листы для защиты бортов японских кораблей, как и многие тонны пикринов и мелинитов для выделки японской шимозы, являются важными стратегическими грузами? Вопрос от России поставлен. Ответ Англии готов:

— Правительство моего короля не может брать на себя ответственность за торговые интересы своих подданных, а броневые листы с пикринами на транспорте «Малакка», задержанном вашими крейсерами, являются частным грузом. Право же личной собственности по всем известным в мире законам остается свято и нерушимо. — Посол захлопнул бювар столь громко, будто выстрелил из сигнальной пушки. — В том случае если ваше правительство не пресечет крейсерский разбой на коммуникациях мира, правительство моего короля вынуждено будет

принять самые серьезные меры с далеко идущими последствиями... На дипломатическом языке эта вежливая фраза означала почти «объявление войны». Наши крейсера «Россия», «Громобой» и «Рюрик» прибавили оборотов, уходя прямо в нестерпимый блеск великого океана...

Их аппараты «Дюокретэ» с утра принимали телеграммы: «Русские крейсера... задерживайте отправку всех пароходов с грузами и войсками». Днем приняли из эфира истощный вопль: «Русские начали конфискацию кораблей, двигаясь в северном направлении...» Иессен отреагировал на это точно:

— В северном? Значит, мы отворачиваем к югу...

По ходу движения крейсера расстреливали японские корабли, «при этом было замечено, что многие наши бомбы не рвались, а пробивали борта насквозь... Рвавшиеся же снаряды иногда воспламеняли окружающие предметы, но настолько слабо, что пожары потухали сами собой». Андреев сказал Иессену:

— Чем не иллюстрация к нашему разговору?

— Пожалуй, — мрачно согласился Иессен. — Но я ведь не поеду сейчас в Петербург, чтобы надавать пощечин генералу Бринку, автору системы снарядов и взрывателей к ним...

Крейсера погружались в климатическое пекло. Одежда и постели пропитались влагою. Люди изнывали от пота. Офицеры без жалости покидали свои каюты, им стелили матрасы на мостиках, в батарейных палубах. Над ютами растянули тенты, в тени которых температура в 30 градусов считалась уже терпимой. Крейсера двигались навстречу сильному течению Куросиво, которое снижало их скорость. Ветер был слабый, но океан угостил их такой мертвой зыбию, от которой крейсера беспощадно валяло с борта на борт, а все, что было плохо закреплено, сорвало с переборок и палуб, со стола вихрем летела посуда, бедные птицы в кают-компании едва держались на своих жердочках...

Утром 9 июля на крейсерах пробили «аллярм».

— Вон! — показывали сигнальщики. — Дым, дым...

Никто, кроме них, дыма не видел, но скоро обозначился громадный пароход германского «Ллойда» — «Арабия».

— Призовые партии — по катерам! Быстро, быстро...

На вопрос о грузе капитан «Арабии» отвечал:

— Генераль-карго (то есть сборный груз)...
— Откуда вышли?
— Нью-Портленд, штат Орегон в Америке.
— Курс?
— Сейчас в Иокогаму, затем в Шанхай и Гонконг.
— Генераль-карго подлежит осмотру...

При осмотре выяснилось, что причины для ареста имеются, ибо трюмы «Арабии» были завалены паровозными котлами, разными машинами и рельсами. Пароход арестовали. Под конвоем моряков, знающих навигацию, его отправили во Владивосток через Лаперузов пролив. В отсеках крейсеров уже образовалась целая колония пленных с потопленных ими кораблей, а в дощатом загоне блеяли трофейные овцы... Плыли дальше на экономическом режиме котлов, дабы не расходовать уголь напрасно. Оставалось миль 40-50 до мыса Нодзимазаки, за которым начинался Токийский залив. Решили переждать время на малом ходу, чтобы ночью открылись огни Иокогамы...

— Семафор с «Громобоя»! — вдруг доложили флагману. «Громобой» докладывал: ему не хватит угля на возвращение в базу, и это сообщение вызвало почти шок на флагмане:

— Как? Новейший крейсер, котлы и машины экономичнее наших, так почему же расход угля больше, чем у нас?

Дабич внес поправку: он дотянет до Владивостока, но будет вынужден спалить неприкосновенный запас угля в 400 тонн. Крейсера, застопорив машины, раскачивались один возле другого. Иессен через мегафон окликнул Дабича:

— Николай Дмитрич, подвинти «Громобоя» ближе к моей «России», я скажу пару любезных слов твоему механику.

Несколько оборотами винтов Дабич «подвинтил» крейсер ближе к флагману, и все увидели на борту «Громобоя» здоровенного дядю. Стоя на вытяжку, он отдавал честь адмиралу.

— Вы, — крикнул ему Иессен, — срываете нам всю операцию. После похода будете отданы под трибунал... За такие дела надо расстреливать! Без жалости...

На борту флагмана устроили экстренное совещание командиров крейсеров — как быть, что делать? Иессен был возмущен:

— Именно здесь, на подступах к японской столице, этот разгильдяй заявляет, что у него нет угля. Интересно, о чем он думал во Владивостоке, докладывая мне, что бункеровался под самые крышки люков? Решайте, как нам поступить...

— Наверное, возвращаться, — предложил Дабич.

Нервный Андреев накапал себе валерьянки:

— Николай Дмитрич, да постыдись... имей совесть!

— Я думаю, — скромно вмешался Трусов, — коли уж мы забрались в это логово, то отказываться от операции нельзя. Пусть «Громобой» вернется без четырехсот неприкасаемых тонн. Пусть спалит в котлах палубные настилы. Пусть сунет в кочегарки все, что горит. Даже мебель с койками. Даже масло.

— Я такого же мнения, — решил Иессен. — Возвращаться не имеем права. Операция будет продолжена...

Крейсера вышли в район Токио, и утром И июля на них напоролся спешащий англичанин «Найт Коммандер», который на выстрел под форштевень отвечал возрастанием ходового буруна. Такое наглое непослушание озлобило Иессена:

— Оглох он, что ли? Дайте еще раз под нос...

Снаряд точно ударили «британца» в носовую скулу. Корабль, вздрогнув, сам по себе отдал якоря, которые сорвали со стопоров тяжкие цепи, с грохотом они исчезали в бездне, пока не коснулись далекого грунта океана.

— Вот теперь он будет с нами повежливее...

Трусов отозвал Панафидина в сторонку:

— Сергей Николаич, вас обошли наградою, и единственное, чем я могу помочь вам, так отправить с призовой партией на этого «Коммандера»... Что там жалкий Станислав? Мы представим вас к Владимиру — с мечами и бантом!

— Есть, — кратко отозвался Панафидин...

Он возглавил партию с «Рюрика», а «Россия», как и в прошлый раз, прислала партию лейтенанта Петрова 10-го.

— Опять забыл ваши имя и отчество, — извинился мичман.

— Алексей Константинович, — отвечал Десятый.

— Вот и хорошо. Начнем с осмотра...

В трюмах обнаружили рельсы, конструкции железнодорожных мостов, вагонные колеса. Явная военная контрабанда! Но капитан ни в какую не желал предъявить коносаменты на груз и маршрут (а это подозрительно так же, как если бы человек, попавший в полицию, отказался назвать свое имя и адрес). Панафидин случайно заметил в каюте пресс, в котором были зажаты несколько книг, но с умом решил до поры до времени помалкивать... наконец капитан сознался:

— Черт с вами! Я вышел из Шанхая.

— Но вы же не китаец. Откуда пришли в Шанхай?

— Из Нью-Йорка, дьявол вас разбери! Не ищите коносаментов. Их обещали мне выслать шанхайскою почтой. Если решили тащить меня во Владивосток на расправу, у вас ни черта не получится, ибо у меня в бункерах угля — на три лопаты...

Проверили: да, топлива для доставки корабля во Владивосток не хватало. Иессен распорядился — подрывать судно. Экипажу отвели 30 минут на сбор багажа и спасение. Участник похода вспоминал: «В команде парохода все индусы, а офицеры — англичане. Ругались эти англичане страшно, и главным образом лаяли американскую компанию, которая их зафрахтовала, уверяя, что в Тихом океане русских крейсеров встретить нельзя никоим образом...» Петров 10-й подготовил «Найт Коммандер» к взрыву, а Панафидин вернулся в каюту, покинутую капитаном. Разжав на столе пресс, мичман изъял из-под него копировальные книги, которые теперь послужат обвинительным документом для «призового суда». Все рельсы, все мости, все колеса рухнули на дно океана... Только успели рассадить спасенных по отсекам, а музыканты крейсеров уже играли новый «аллярм».

— Что еще там стряслось? — взбежал на мостики Трусов, и ему показали английский пароход «Тсинан»...

На нем оказался груз риса и сахара, полно было пассажиров. Иессен с флагмана в нетерпении спрашивал:

— Откуда и куда «Тсинан» идет?

— Из Манилы в Иокогаму... без контрабанды!

— А женщины есть?

— Бабья хватает, — отвечали «призовые» матросы.

— Тогда... без осмотра! Побережем слабые женские нервы. Капитану стравить пар из котлов, и может поднимать их снова, когда наши крейсера исчезнут за горизонтом...

(Это было сделано нарочно, дабы англичане не спешили в Иокогаму с предупреждением.) Обрадованные таким легким исходом дела, британцы очень приветливо общались с русскими, обменивались с ними папиросами, охотно рассказывали:

— Знаете ли, как прозвали ваши крейсера в газетах Европы? Везде пишут, что Россия завела на Дальнем Востоке крейсера-невидимки, которые никто не может поймать...

Опустилась ночь. Японские маяки светили ярко.

Перед Камимурой стояла сложнейшая задача со многими неизвестными — как в трудной шахматной партии.

Верховное командование Токио известило его о русских крейсерах сразу же, как только они миновали Хакодате, выбираясь из Сангарского пролива. Последовал первый вывод:

— Однажды использовав этот пролив, русские не осмелятся этим же проливом возвращаться обратно, ибо нет сомнений, что оборона Хакодате будет нами усиlena. Скорее они пойдут проливом Лаперуза, огибая Шикотан в группе Курильских островов... Впрочем, выждем свежей информации с моря.

Япония разом затворила свои порты, как осторожный моллюск при виде опасности захлопывает створки раковины. Ни один из кораблей уже не был выпущен в море, зато Япония торопливо принимала всех спешащих укрыться в ее гаванях. Наконец Камимура был оповещен, что русские крейсера появились близ Токийского залива. Голова японского адмирала работала четко:

— Их тенденция к продвижению на юг заставляет догадываться, что задумано ими в конечном результате... Сейчас у Порт-Артура снова возникла накаленная обстановка, генерал Ноги начал штурм окрестных высот. Следовательно, близится момент, когда адмирал Витгефт вынужден решиться на прорыв эскадры в Желтое море. Значит, — логично мыслил Камимура, — владивостокские крейсера появились в океане не ради набега. Очевидно, они обогнут Японию с юга, устремляясь в Желтое море, чтобы встретить эскадру Витгефта и укрепить ее своим появлением... В таком случае мы не станем гоняться за крейсерами в океане. Лучше мы встретим их у мыса Шантунг — на ближних подступах к Порт-Артуру! Но сначала выждем информацию о дальнейшем продвижении русских крейсеров к югу...

Но такой информации не поступило. Приходилось отбросить карты Желтого моря, снова раскладывая обширные листы всего морского театра. Требовался быстрый и решительный анализ:

— Если исчезла их тенденция к югу, тогда... Тогда они снова превращаются в невидимок! Допустим, что крейсера отходят на север, где адмирал Иессен, конечно, станет выискивать коридор для возвращения к Владивостоку... Где нам ожидать его? Наверное, их, уже усталых и с опустевшими бункерами, удобнее всего перехватить возле Владивостока...

Но какое решение Камимуры оказалось самым единственным в этой ситуации — этого мы никогда не узнаем! Японская история войны совсем не затрагивает эту тему, будто она и не волновала ум адмирала. Английские

же источники, самые осведомленные, тоже теряются в различных догадках. Зато для наших крейсеров было ясно с самого начала: какой бы пролив они ни избрали для возвращения домой, в конце любого из них они могут принять встречный бой...

Маяки Японии погасли. Уже рассветало.

— Ну, — сказал Иессен, — давайте решать... Мы всадили свой топор в полено так глубоко, что его уже трудно выдернуть обратно. Прошу помнить, что бункера «Громобоя» опустошены и мы больше не способны танцевать до упаду... Думайте!

Крейсера медленно увлекало на север мощное попутное течение. Трусов сказал, что вернуться можно Охотским морем:

— Обогнув Шикотан, проскочим через Лаперузу.

— Ты проскочишь, — обиделся Дабич. — А мой «Громобой» у твоего Шикотана издаст последний вздох... паром.

Андреев заметил Дабичу, что согласен с Трусовым:

— Жги палубу! Пихни в топку даже рояль из кают-компании. Собери всю угольную пыль метелкой... Если дотянем до Сахалина, там в Корсаковском посту имеется угольный склад.

— Я такого же мнения, — сказал Иессен, — тем более что вторичный опыт с Сангарским проливом нам не удастся. Наверняка при выходе из него нас будет сторожить Камимура... Он станет последним дураком, если этого не сделает!

12 июля — уже на обратном курсе — встретили океанский пароход «Калхас» британской «синетрубной» компании. «Калхас» следовал из канадского Ванкувера в Иокогаму с контрабандным грузом. В бронированных сейфах парохода «призовики» обнаружили корреспонденцию для Лондона и — что самое главное! — секретную переписку японских дипломатов для Токио.

— Взять его! — повелел Иессен. — Для графа Ламздорфа, пусть на досуге почитает, что о нас думают иностранцы...

Под арестом русских матросов «Калхас» шел теперь вровень с крейсерами, и все удивлялись, как легко он выдерживает океанскую волну. Зыбь изматывала людей, всем давно хотелось покоя. Утешались мыслью, что в Охотском море посвежеет. Во время обеда на «Рюрике» в кают-компанию вошел боцман.

— Что у тебя? — спросил его Хлодовский.

— Так что, энти самые индусы, которых мы набрали с британского «Коммандера», ничего нашего не шамают.

— Как же это?

— А вот так! Уж мы и рис им варили. И гречкою соблазняли. Макарон тоже не жалели... с маслом! А они ото всего нашего воротятся, как от погани.

— Ну ладно. А мясо-то вы им давали?

Палуба пошла в сторону, но боцман на ногах устоял.

— Так точно! Одначе, религия у них не нашенская. Ни за что мясо не жрут, ежели его кто другой веры готовит...

Иессен распорядился — отдать индусам всех баранов. Они просили о сохранении тайны их культовых обрядов. Пришлось на спардеке крейсера отгородить угол брезентами вроде шатра, внутри которого скоро послышались ритуальные песнопения. Никто над чужою верою не смеялся, но удивлялись:

— Едят-то с песнями! В каждой избушке свои игрушки...

Близость севера сказывалась приятной прохладой, офицеры потащили свои матрасы обратно в каюты. Салов сообщил Панафидину, что в районе Шикотана туман держится иногда по месяцу, а то и больше... Все штурмана были крайне озабочены:

— Какой день идем только по счислению, по приборам, без обсервации даже по звездам... Страшно подумать!

«Калхас» под конвоем матросов оторвался от крейсеров, самостоятельно следя во Владивосток — под суд! 16 июля туман сгустился в сметану, а кильватер — штука опасная: впереди идущий не может дать «стоп» или «полный назад», ибо в его корму сразу врежется таран следующего за ним крейсера... Иессен переговорил с Андреевым:

— Положение дрянное! Мы осуждены ползать в тумане, пока не пережжем весь уголь. Уже начинаем запутываться в местных течениях... Не рискнуть ли нам Сангарским проливом?

— Еще раз? Но там нас ждет Камимура.

— Бой так бой! — отвечал Иессен...

Холодные воды Ойя-Сиво сгущали плотные водяные пары. Но штурмана не подвели, выведя крейсера точно в устье Сангарского пролива. Момент решающий! Мощно взревели воздуходувки, из труб повалил дым — крейсера набирали давление в котлах, чтобы накопить побольше ходовой ярости в машинах. На охране города Хакодате с крейсеров видели старый японский броненосец «Такао» и, кажется, корвет «Конго» (тоже

старенький). В отдалении снова рыскали японские миноносцы, от которых добра не жди.

Очевидец писал: «Мы продолжали идти тем же ходом, не обращая внимания на неприятеля, один раз хотели было открыть огонь, но решили не тратить снаряды. Ожидали при выходе (из пролива) встретить эскадру Камимуры». Следом за крейсерами настойчиво гнались японские миноносцы, но тоже не стреляли, словно участвуя в похоронных проводах...

— Все это наводит на мысль, — сказал Плазовский, — что на выходе из пролива нас действительно стережет Камимура.

Но вот пролив кончился, крейсера разом погасили огни и рыскнули в сторону, а миноносцы продолжали гнаться за ними по курсу ранее светивших огней. Камимуры нигде не было. Крейсера уверенно лежали на курсе — во Владивосток!

«Громобой» дотянул до базы на последних кусках угля. Из газет моряки узнали, что они давно потоплены Камимурой.

В головах еще гудело. Твердая земля отчизны шаталась под ногами как палуба. В самом деле, отмотать на винтах за 12 суток больше трех тысяч миль — это надо уметь...

Англичане, обычно сдержанные в похвалах, признали высокие мореходные качества экипажей русских крейсеров!

Свой протест от 7 июля Англия подкрепила мобилизацией матросов запаса, ее адмиралы начали угрожающее развертывание британского флота, дабы устрашить Россию. Лондонские газеты открыто требовали от парламента признать действия русских крейсеров «пиратскими», чтобы владычица морей обрела юридическое право на безнаказанное их уничтожение. Гайд-парк в Лондоне, это давнее прибежище болтунов, шарлатанов и публичных демагогов, ежедневно гудел от митингов.

— Леди и джентльмены! — призывали ораторы в потрепанных штанах. — Не довольно ли русским испытывать наше гордое терпение? Сейчас эти вандалы собирают на Балтике вторую эскадру адмирала Рожественского, чтобы выручить первую, околевающую на самом дне гнилой порт-артурской бочки, как дохлая крыса... Ха-ха-ха! Я спрашиваю вас, имеющих удовольствие смеяться вместе со мною: стоит ли утруждать наших давних друзей-японцев разгромом эскадры Рожественского в

далеких морях? Не лучше ли, если наш флот задаст ему трепку здесь же... у самого порога Англии... в проливах Ла-Манша!

Действия крейсеров Владивостока и «добровольцев» в Красном море всколыхнули весь мир, международная биржа реагировала новым повышением страховых пошлин. В деловых кругах США возникла растерянность, пароходные компании разрывали контракты на поставки в Японию, матросы торчали по тавернам, не желая выводить в море груженые корабли.

— Нам жизнь еще не опротивела, — говорили они...

«Нью-Йорк геральд» интриговала своих читателей:

ТОКИО. Большое возбуждение господствует здесь в связи с движениями Владивостокского отряда. «Россия», «Громобой» и «Рюрик» прошли Сангарский пролив, выйдя в Тихий океан...

НЬЮ-ЙОРК. Спокойствие и независимая позиция американской прессы и публики по отношению к событиям в Красном море несколько изменились ввиду возможности захвата американских судов владивостокскими крейсерами в Тихом океане.»

Капиталисты США наняли для митингов некоего Мура, который под видом профессора международного права требовал крови:

— Почему наш президент молчит? Англия уже вывела свои эскадры, дабы навести на морях порядок... Топить их всех! — призывал этот «ученый». — Всех русских... топить как котят!

Наиболее спокойно и терпимо вела себя германская пресса: «Нельзя оспаривать, что поход крейсеров принес им крупный успех...» Немецкие адмиралы бдительно следили за крейсерами Владивостока, издали они изучали их оперативную хватку. Тирпица и прочих адмиралов кайзера не волновала паника на биржах, им было плевать на все банки с тушеною, на все эти рельсы с паровозами, погребенные на глубине километра, — за острыми и рискованными зигзагами крейсерских курсов они разглядели нечто новое в развитии морской тактики, их прельщал русский опыт войны на море, который теперь следовало дополнить, отшлифовать и приобщить к первостепенным задачам германского флота — на будущее...

Адмирал Тирпиц отбросил указку на карту, и она легла поперек Цусимских проливов, словно заграждая их.

— Мы, — сказал он, — напрасно держим своего корреспондента в крепости Порт-Артура, нам следовало бы иметь агента именно во Владивостоке... Я удивлен, — сказал Тирпиц, — почему в Берлине никто

не подумал об этом раньше?

О степени интереса к этой войне легче всего судить по количеству корреспондентов, состоящих при японских армии и флоте. Германия с Францией прислали лишь по два человека, СТА — 15 борзописцев, зато Англия — сразу 2 журналистов. Но вся эта орава людей, жаждущих сенсаций и гонораров, постоянно жаловалась, что «косоглазые ничего не показывают...».

— А что бы вы хотели видеть? — спрашивали японцы.

— Хотя бы известное место адмирала Того.

— Простите, мы такого места не знаем...

Что бы ни писала о Того иностранная печать, любая заметка о нем была покрыта завесою тайны: «Того вернулся в известное место», «Флот адмирала Того покинул известное место». Многие в мире ломали головы, желая угадать координаты сверхсекретного убежища, где прячется сам Того и где он скрывает флот, но японцы бдительно охраняли свою тайну. Зато вот мы, русские, точно знали, где зарыта собака! Могли и пальцем показать на карте: «Того вот тут...»

...До 1889 года острова Эллиот в Желтом море были почти неизвестны европейцам, пока русские гидрографы не сделали их первое описание. Крохотный архипелаг в 60 милях к востоку от Порт-Артура природа кое-как собрала из скалистой земли. Иной островок в несколько шагов человека, другие имели даже китайские деревни. Местные жители издавна платили зверскую дань пиратам, морским хунхузам, отбиравшим у них половину улова рыбы, из десяти редисок они оставляли земледельцу одну. Русские поставили к островам «Квантунскую» охрану, и с тех пор китайцы с Эллиота стали зажиточны (во всяком случае, намного богаче своих соседей с Ляодунского полуострова, где в правление императрицы Цыси царила повальная мерзкая нищета). Острова Эллиот обладали удобными якорными стоянками, хорошим климатом. Над ними весело кружились морские голуби, а громадное количество ядовитых змей отпугивало пришельцев. Теперь между островами иногда проходил японский миноносец «Сиро-Нисса» («Тайное сияние»), сигналом рожка оповещая о своем появлении. Он раздавал по кораблям Того свежую почту и журналы, он же забирал с кораблей Того изящные шкатулки с прахом убитых для отправки на родину...

В одно из воскресений корреспондентам США и Англии японцы предложили морскую прогулку. К услугам желающих они предоставили боевой миноносец, весь обвешанный мантелетами — связками канатов, предохраняющими от осколков. Среди журналистов был и консул Джордж Кеннан, впечатления которого были опубликованы потом в «Русском инвалиде». Кеннан писал, что на подходе к острову Дачан-шань-Дао «мы заметили густой дым, поднимающийся из-за острова, и думали, что это какие-нибудь транспортные пароходы. Но каково же было наше удивление, когда мы увидели весь флот Того, стоящий на якоре под парами. Особенно удивлены были мы, американцы...».

Сеппинг Райт готов был плясать от радости:

— Наконец-то! Вот оно, известное место Того...

Отсюда, оградив себя минами и бонами, адмирал Хэйхатиро Того контролировал подходы к Порт-Артуру, дежурные корабли извещали его о каждом движении русских; здесь, в логове «известного места», Того держал наготове свою мощную эскадру, отлично обеспеченную угольщиками, ремонтными и лазаретными судами. Под гигантским флагом покачивался флагманский броненосец «Миказа»; гостей провели в салон адмирала, который приветствовал их радостным известием:

— Вы застали меня в хорошем настроении, ибо я только что узнал о видах на великолепный урожай риса в Японии...

Корреспонденты сразу раскрыли блокноты, чтобы запечатлеть радостные слова, произнесенные с унылым выражением на лице. Того был в черных, неряшливо свисавших брюках, при белом кителе с одним орденом. Его салон украшал камин, как в европейском доме; на панели камина лежал безобразный осколок русского снаряда. Того, играя роль любезного хозяина, дал иностранцам подержать этот осколок в руках:

— Не обрежьтесь, у него очень острые края... Этот осколок чуть не убил меня, но, пролетев мимо моей ничтожной персоны, он вырвал большой кусок мяса из ноги доблестного лейтенанта Мацуумура... Тяжкое, но славное воспоминание!

Сеппинг Райт аккуратно положил осколок на место. Конечно, адмирала спрашивали о крейсерах Владивостока.

— Я не занимаюсь ими, — был скромнейший ответ; на вопрос же американцев, когда он покончит с русской эскадрой в Порт-Артуре, Того отозвался незнанием. — Это зависит не от меня, — тихо сказал он, — а от русского адмирала Виттефта, если он снова отважится выбраться из гавани в море.

— Отсюда вам будет легко его перехватить.

— Наверное, — пожал Того плечами...

Гостям предложили дешевое виски марки «банзай», отличный чай и рисовое печенье. Кеннан спрашивал:

— Наверное, у вас, адмирал, много флаг-капитанов?

— У нас, у японцев, на этот счет имеется старинная поговорка: корабль, у которого семь капитанов, обязательно разобьется о камни. И я, — сказал Того, скромно улыбнувшись, — очень веселился, когда узнал, что идентичная поговорка есть и у русских тоже: у семи нянек дитя остается без глаза...

Тут все дружно стали хаять Россию, а Сеппинг Райт, подвыпив «банзая», хвастал, что хорошо изучил русских:

— Лучше всего они раскрываются в своей литературе. Русские писатели точно отразили несовершенство своей дикой нации. Так, например, если все народы мира ложатся спать, то герои русских романов постоянно недосыпают, желая лишь «прилечь на часок». Во всех цивилизованных государствах люди нормально завтракают, обедают и ужинают. Герой же русской литературы постоянно голоден и стремится лишь «наскоро перекусить»... Все у них неосновательно, все торопливо и все неряшливо. Зато вот по части выпивок, болтовни, музыки и чтения газет — тут русские непревзойденные мастера!

Хэйхатиро Того не ответил даже подобием улыбки:

— Нисколько не касаясь характера всего русского народа, я могу иметь мнение лишь об офицерах русского флота, с которыми до войны не раз встречался. Все они отличаются бодростью, весельем, они умны и грамотны, хорошо владеют собой и совсем не похожи на тех безобразных людей, о которых вы читали в романах...

После этой отповеди Сеппингу Райту адмирал в его сторону больше и не смотрел. Его спрашивали:

— Как вам удалось сделаться знаменитым?

— Я смолоду придерживался смысла древней японской мудрости: лучше быть клювом цыпленка, нежели хвостом тигра.

— К кому из русских адмиралов вы испытываете уважение?

— Мы всегда побаивались адмирала Макарова.

— А кто, по-вашему, лучший полководец России?

— Куропаткин, — вдруг весело захохотал Того...

Янки быстро набрались «банзая». Размахивая руками и роняя карандаши с блокнотами, они выражали восхищение всем увиденным, говорили, что теперь только писать и писать... Читатели ошалеют от восторга! Кеннан сказал:

— Господин адмирал, мы, американцы, здорово надавали Испании, когда вели с ней войну из-за Кубы и Филиппин, там, в Мадриде, все испанские адмиралы до сих пор ставят примочки на свои синяки. Но если бы нам довелось сражаться против вас, мы все были бы разбиты вами — с позором!

Того встал, давая понять, что визит окончен. Вся эта пишущая шатия-братия удалилась. Были вызваны вестовые:

— Уберите все и как следует проветрите салон, чтобы тут не воняло глупыми европейцами и дураками из Америки...

Того выбрался на шкафут «Миказы», чтобы выкуриТЬ папиросу. Миноносец отваливал от флагмана, увозя гостей, которые пьяно цеплялись за неряшлиевые гроздья грязных мантелетов. День угасал, темнело. Покуривая, адмирал иногда подолгу смотрел в сторону недалекого Порт-Артура, над которым вспыхивали яркие снопы искр, небо там прочерчивали, словно рейсфедером, четкие траектории фугасных снарядов...

Того ждал. Он ждал, когда армия генерала Ноги заставит адмирала Витгефта снова вывести Порт-Артурскую эскадру в море — навстречу ему, адмиралу Того... он этого дождется!

Из дневника безвестного участника обороны Порт-Артура: «Банзай! Ура! Лязг оружия... стоны... От взобравшихся наверх (японцев) в минуту ни одного живого... Деремся на трупах, все в крови... А японцы шеренгами, с криками „Банзай!“, лезут на наши штыки, со стенами летят с кручи вниз. Вот, вижу, под отвесом скалы засело их с полроты на уступе и палят вверх без разбору. Пулей в них не попасть, а штыком не достанешь.

— Валяй, ребята, камнями! — кричу я.

Выбили и этих. Отступили немногие, а большинство так и осталось на месте, повисли мертвые на остриях скал...»

Порт-Артур держался стойко. Японцы не признавали Красного Креста, убивая санитаров, а потому горы поверженных врагов окружали наши укрепления. Иногда эти кучи людей шевелились, а самураи на вопли своих же раненых отвечали усиленным огнем. Чтобы избавиться от трупного смрада, наши солдаты засовывали в ноздри комки пакли, пропитанной скипидаром. Русские потери — это факт! — были намного меньше японских, но положение становилось уже критическим, почти отчаянным.

Наместник Алексеев умолял Куропаткина хотя бы оттянуть часть японских сил, дабы полегчало защитникам Порт-Артура, и Куропаткин охотно пошел ему навстречу. Оттянуть японцев — в его понимании — значило отступить еще дальше в глубь Маньчжурии, что он и сделал, оставив 18 июня японцам Инкоу.

Инкоу лежал в самой глубине Ляодунского залива и в отличие от других китайских городов считался городом богатых компрадоров, его называли «маньчжурским Порт-Саидом». Куропаткин преступно отвел свои войска, когда в доках Инкоу еще оставалась на ремонте наша канонерка «Сивуч».

У городских ворот захватчиков встречали богатые мандарины, развернув перед ними желтые знамена «Лун-чи» с изображениями страшных драконов. Компрадоры кричали «Ван-шоу!» (то есть «Многие лета!») победителям. Японцам поднесли приветственные адреса консулы — американский, английский и немецкий (кроме французского, которого японцы тут же запихнули в тюрьму, как русского союзника). Страшный взрыв потряс Инкоу, ни единого стекльшка целым не осталось — это русские моряки рванули своего «Сивуча», после чего, сложив на арбы свои манатки, пешком ушли из Инкоу догонять армию Куропаткина и с трудом нагнали его уже в Ляояне. Агентство Рейтер спешно оповестило цивилизованный мир о том, что канонерская лодка «Сивуч» сдалась «добропорядочным японцам». Затем английская колония Инкоу закатила самураям роскошный ужин, на котором присутствовали и европейские дамы в белых платьях... Мандарины нестерпели этого и в своем усердии перед оккупантами решили перещеголять англичан. Они закатили японцам такой пир, что Уайтхолл в Лондоне зашатался от зависти. На беспрестанные вопли японских офицеров «Банзай!» мандарины отвечали:

— Ван-шоу... ван-шоу, — восхваляя своих захватчиков.

— Банзай... хэйка банзай! — не уступали им самураи.

К полуночи пьяные японцы стали орать «Ван-шоу!», а пьяные мандарины осипли от криков «Банзай!». На следующий день, к удивлению китайцев, японцы сорвали с городских зданий «Лун-чи» с драконами, водрузив над ними свое красное солнышко. Не это мне странно! Другое: англичане, кажется, обиделись на своих союзников, ибо Англия давно собиралась оккупировать Инкоу, чтобы сделать из него некое подобие Гонконга или Сингапура. Но японцы сразу показали им, кто здесь хозяин...

Никто не понимал причин оставления Инкоу, а для наместника это был удар... Ведь за Инкоу рельсы КВЖД, облитые русским потом и осыпанные русским золотом, эти проклятые рельсы тянутся до Ляояна, от Ляояна

рукой подать до Мукдена, где сейчас в роскоши дворца сидит он сам, «Его Квантунское Величество», и для него рельсы обрывались не где-нибудь, а именно за этим вот столом, крытым зеленым нефритом, на который он и возложил свои локти с адмиральскими обшлагами:

— Куропаткин и в самом деле вознамерился драпать до самого Мукдена... Оттянул японцев, ничего не скажешь. Так помог Артуру, что повесить его мало... мерзавца!

В падении Инкоу была еще одна угроза — обрыв связи.

Все депеши из Порт-Артура шли морем на Инкоу, откуда и доставлялись в Мукден; теперь же морякам предстояло под лучами прожекторов пересекать Печелийский залив, чтобы попасть в китайский порт Чифу. Здесь они вручали почту русскому консулу, который и телеграфировал содержание депеш на имя наместника...

Это и долго и рискованно! Забегая вперед, я сразу же предваряю читателя, что обрыв связи, вызванный падением Инкоу, отразился не только на судьбе геройского Порт-Артура — он отразился и на Владивостоке, где сейчас отдыхали наши усталые крейсера... Куропаткин помог!

В порт-артурском ресторане «Палермо», угол которого был разрушен прямым попаданием, сидел пожилой штабс-капитан, вчера раненный, еще осыпанный прахом окопов. Перед ним стояла бутылка французского коньяка «мари», за которую он отдал последние сорок рублей. Говорил в открытую, без страха:

— Куропаткин — стенка, за которой ничего нету. Пустота! А ведь он был нашим военным министром! Неужели лучшего не сыскали? Теперь мне в траншею японцы листовки кидают. Вот, почитайте: «Храбры русики я была Артур скоро вкусный еда с закусики прошу готовь...»

Генерал Ноги уже занимал высоты Волчьих Гор, откуда японцам виделась гавань, откуда его пушки могли бить по кораблям, стоящим внутри бассейна... Весть о падении Инкоу вызвала в гарнизоне упадок духа, истощение сил. В довершение всех несчастий крейсер «Баян» задел какую-то шальную мину, его переборки выдержали давление воды, но бедняга притащился в бассейн с дифферентом на нос.

— Ну вот! — говорили на эскадре. — Подрыв «Баяна» даст начальству новый повод оправдать бездействие эскадры. В самом деле, лучше уж смерть в бою, нежели ждать, когда тебя свалит осколком или отравишься

какой-нибудь падалью...

Над позициями, перелетая с мертвых на живых, тучами роились жирные маньчжурские мухи с красными, как у вампиров, отвратными головами. Солдаты с высот позиций сливали в низины целые бочки с негашеной известью, чтобы хоть как-то спасти себя от заразы... 20 июля Стессель объявил по гарнизону, что вольнонаемные могут считать свои контракты расторгнутыми, китайские джонки согласны за деньги прорваться в Чифу. Питерские пролетарии-путоловцы были возмущены:

— Во как! Нас сюда Степан Осипыч бесплатно привез ради победы, а теперь я за свои же кровные труса праздновать должен... Никуда не поедем! Назло врагам... Лучше уж тут и подожнем на рабочих местах, у своих станков...

На флагманском броненосце «Цесаревич» адмирал Вильгельм Карлович Витгефт разделял вечернюю трапезу со своим младшим флагманом — контр-адмиралом князем Ухтомским, который с подозрением гурмана обнюхал ромштекс с яйцом.

— Это еще не собачина? — спросил князь.

— Пока лишь конина, — отвечал Витгефт. — А если хочешь шашлык из баранины, напросись на ужин к коменданту. Вера Алексеевна Стессель — лучшая хозяйка в гарнизоне крепости.

— И лучшая спекулянтка, — добавил князь...

Витгефт показал ему директиву от Алексеева, в которой были слова, бьющие по самолюбию адмиралов, словно пощечины: «ЭСКАДРЕ ОСТАВИТЬ ПОРТ-АРТУР... напоминаю лично вам и всем начальствующим лицам О ПОДВИГЕ КРЕЙСЕРА „ВАРЯГ“!»

— Бьет... если не по лошадям, так по оглоблям, — сказал Витгефт. — Но порою мне кажется, что японцы не лезли бы в Порт-Артур, если бы здесь не стояла наша эскадра. Им нужна добыча наглядная и осязаемая, дабы предъявить миру товар лицом. Уведи мы отсюда броненосцы во Владивосток — и натиск самураев, наверное, ослабнет... Петр Петрович, я готов умереть. Но готов ли я, как адмирал, вести в бой эскадру?

— Я не готов, — сознался Ухтомский, — и в успех прорыва не верю, как не веришь в него, думается, и ты...

25 июля японцы начали обкладывать бассейны гавани бомбами из осадных орудий. Случайным попаданием вдребезги разнесло телефонную станцию «Цесаревича», следующий взрыв поразил самого адмирала... Вильгельм Карлович оторвал окровавленную ладонь от правого плеча, сказал доктору:

— Жаль... жаль... даже очень жаль!

— О чём вы? — не понял его врач.

— Жаль, что не сразу... было бы лучше... для всех!

На следующий день Витгефт открыл совещание флагманов. Настойчивые понукания со стороны Алексеева обрели для него законную форму, подкрепленные особой директивой Николая II, утвердившего мнение дальневосточного наместника о необходимости скорейшего прорыва эскадры во Владивосток.

Рескрипт есть рескрипт, и флагманам пришлось встать.

— Объявляю всем вам волю его императорского величества, которая да будет для всех нас священна... Кто может, тот прорвется, — подлинные слова Витгефта, вошедшие в протокол. — При аварийных ситуациях никого не ждать. При гибели кораблей никого не спасать, чтобы не задерживать общее движение эскадры... При сильном сопротивлении противника на генеральном курсе к Владивостоку разрешается отойти в порты нейтральных государств, даже если это грозит интернированием и разоружением. Но, — заключил Витгефт уже твердым голосом, входя в заглавную роль этого чудовищного спектакля, — ни в коем случае обратно в Порт-Артур никому не возвращаться...

В порту горели цистерны с машинным маслом, черный ядовитый дым окутывал эскадру, из этого непроницаемого облака русские броненосцы ритмично выплескивали струи ответных залпов, громя перекидным огнем — через горы! — батареи противника... «Пересвет» дважды вздрогнул от попаданий, а «Ретвизан» получил пробоину ниже ватерлинии, его низы жадно поглощали забортную воду — тонну за тонной. Но желание сразиться с эскадрою Того было так велико в команде, что эту пробоину на скорую руку Залатали железом и деревяшками:

— Где наша не пропадала! Пойдем с заплаткою...

Владивосток казался людям теперь волшебною сказкой, городом надежды и счастья. Правда, находились и скептики:

— В июне уже пробовали, да назад раком пятались. Ничего у нас не получится! Надо дождаться прихода балтийцев Зиновия Рожественского, и тогда можно смело вылезать из этой берлоги... Или мало мы тут пузырей на воде оставили?

— Так лучше пузырь! — отвечали маловерам. — Кто и булькнет, не без этого, на то и жизнь морская... Или лучше в этой могиле вытянуться в стельку да лежать руки по швам?

Адмирал Витгефт заранее попрощался с сыном, который в чине мичмана служил в десантной роте Квантунского экипажа, уже израненный, трижды награжденный за отвагу.

— Прощай, Володя. Может, и не увидимся. Какая б ни была кончина моя, напиши маме, что смерть моя была легкой...

Чем выше положение полководца, тем более удален он от опасности. На флоте иначе: чем выше положение адмирала, тем выше он поднят над мостиком флагмана, открытый для противника в большей степени, нежели его подчиненные, укрытые броней. Генералам не надо ходить в атаки, зато адмиралы ведут корабли сами, обязанные увлекать экипажи своим личным примером, личным бесстрашием. Потому-то солдаты и говорят — нас послали, а матросы говорят — нас повели!

Значит, от личного поведения Витгефта зависит сейчас судьба всей эскадры. Хэйхатиро Того остался с кораблями у Эллиота, распорядившись, чтобы адмирал Камимура не пропустил возле Цусимы владивостокские крейсера.

— Ни в коем случае! — настаивал он.

Камимура не хотел снова расстилать красную циновку.

Свершилось! Наконец-то в Петербурге оценили кавторанга Хлодовского как надо. Скрыдлов поздравил его:

— Вас отзывают с крейсеров в Главный морской штаб, и я от души радуюсь вместе с вами, Николай Николаич. Вас ожидает любимая работа на благо русского флота, о какой вы давно мечтали. Можете сразу заказывать билет до Петербурга.

Хлодовский выглядел респектабельно, при галстуке-бабочке, как у актера, пушистые бакенбарды красиво обрамляли его симпатичное лицо. Он справился с волнением:

— Билет я, конечно, куплю... на пятое, скажем, августа, дабы не лишать себя счастья свершить на «Рюрике» еще один боевой выход. Поверьте, я не могу оставить свой крейсер, когда события у Порт-Артура назревают вроде нарыва.

— Нарыв скоро лопнет, — мрачно ответил Скрыдлов. — А я бы на вашем месте не впадал в крайности этой лирики.

— Для меня это не лирика, а вопрос чести...

После выхода в океан на крейсера было страшно смотреть.

Вернулись с рыжими, обгоревшими трубами, словно побывали на пожаре. Борта «поседели» от потеков засохшей соли. Палубы осыпало изгарью котлов и сажей. Потрясло достаточно, теперь крейсера нуждались в ремонте. На «Рюрике» потекли холодильники. «Громобой» обнаружил дефекты в рулевом управлении, а на «России» сломался клинкет (задвижка) в паропроводах, отчего из 32 котлов флагмана неожиданно могли отказать сразу четыре котла. Предстояла большая работа. Наконец, просто выпспаться, просто погулять — это ведь тоже надо...

Панафидин снова коснулся смычком виолончели!

— Не знаю, что случилось с руками, — жаловался он. — Смычок не идет по грифу, а пальцы словно деревянные...

Вечером он навестил бал в Морском собрании, но танцевать стеснялся и был даже рад, когда рюриковские бароны Курт Штакельберг и Кесарь Шиллинг залучили его в ресторан. Курляндцы были чудаками порядочными, но ребята славные. Штакельберг делал вид, что он тонкий знаток вин:

— Рекомендую бордо, не знавшее солнце Гароны, или вот этот мускат-люнель, разлитый по бутылкам в Тамбове.

— У меня выбор гораздо лучше, — настаивал гигант Шиллинг, подстриженный ежиком, словно уличный городовой. — Попробуй мадеру из города Кашина, славного святыми угодниками... Заодно блесни перед нами, Сережа! Скажи что-нибудь по-японски.

— Домо аригато, — сказал Панафидин.

«Никита Пустосвят» был настроен трепливо:

— Дама и рыгато? Перетолмачь на язык родных осин.

— Пожалуйста: «домо аригато» — «благодарю вас»...

Бароны ушли танцевать. Наплывы бальной музыки тревожили воображение, и Панафидин нечаянно вспомнил ту прекрасную женщину, которая недавно в кафе Адмиральского сада скромно пила ледяной лимонад. Тут к мичману подсел осунувшийся каперанг Стемман, жующий пирожок.

— Давненько не виделись, Сергей Николаич. Вы еще не жалеете, что променяли «Богатыря» на «Рюрика»?

— Да нет, Александр Федорович, пока все хорошо...

— Поздравляю. У вас ходовая вахта где?

— Мостик.

— А боевая?

— Второй пушечный каземат правого борта...

Стемман аккуратно доел хрустящий пирожок.

— Порт-Артур обречен, — неожиданно произнес он, переходя на шепот. — Судя по всему, нашим крейсерам скоро предстоит встреча с эскадрою Вильгельма Карловича Витгефта.

— Где?

— Боюсь, опять возле Цусимы... место тяжкое! Два узких пролива, слева Корея, справа Япония, а до Владивостока еще винтить и винтить. Кажется, в штабе Скрыдлова уже планируют — и раневу, и характер встречи. За наши крейсера можно быть спокойным, а вот Витгефт... выдержит ли он бой?

Для всех на «Рюрике» было неожиданно, когда вечером кавторанг Хлодовский показал билет на поезд до Петербурга.

— Но за мною еще один поход... последний! — сказал он. — Я пойду в море с этим билетом в кармане. После меня хлопотную должность старшего офицера, очевидно, займете вы, Николай Исхакович, — сказал он минеру Зенилову, — или вы, Константин Петрович, — кивнул он лейтенанту Иванову 13-му.

Хлодовский как будто предвидел свою судьбу!

В проводах, безжалостно оборванных у Инкоу, уже звенела трагедийная нота, а выход эскадры из Порт-Артура становился неизбежен... Скрыдлов развел бурную деятельность.

— Времени нет, нет времени! — суетился он. — Если уж нельзя форсировать ремонт крейсеров, значит, надо его сворачивать. Какие механизмы разобраны, быстро собрать. Что там на «России»? Клинкет паропровода? Ладно, как-нибудь пронесет... Главное — быстро! Чтобы в любую минуту бригада могла выйти в точку раневу с эскадрою Витгефта.

— А где она, эта точка? — спрашивали каворанги.

— Пока... сам не знаю, — отвечал Скрыдлов.

Он телеграфировал наместнику, что крейсера Владивостока готовы отвлечь на себя эскадру адмирала Камигуры. «Для успеха, — сообщал Скрыдлов, — мне КРАЙНЕ ВАЖНО знать время выхода адмирала Витгефта» (ибо координация действий необходима как воздух). Алексеев отвечал, что о выходе Витгефта известит сразу же, как только будет извещен об этом сам.

— Он меня известит, когда сам узнает, — ворчал Скрыдлов. — А если

его вообще не известят? Такое ведь тоже возможно...

Все в жизни объяснимо, и только поведение Скрыдлова остается необъяснимым. История уже сняла с него придирчивые упреки за то, что он не рискнул прорваться в Порт-Артур. Но почему адмирал и теперь оставался на берегу? Все надеялись, что уж сейчас-то, когда решается судьба Порт-Артурской эскадры, он по праву займет место на мостике «России», чтобы, соединясь с эскадрою Витгефта, возглавить весь флот...

Но этого не случилось. Николай Илларионович предпочел за лучшее пересидеть в своем кабинете на Светланской улице. Безобразова он тоже пощадил, сказав ему:

— Крейсера поведет Карл Петрович Иессен...

С календарей, как отсохший лист с дерева, слетела еще одна страница и открылась новая — 28 июля 1904 года.

— Будем ждать сигнала от наместника, — сказал Скрыдлов и сложил на животе руки, как старая бабка на завалинке, которая все в жизни уже сделала, теперь остается последнее — не прохлопать трубного гласа, зовущего ее в лучший мир.

Витгефт был ранен, и никто бы не осудил старика, останься он тогда на берегу. Но Вильгельм Карлович оказался исполнительнее Скрыдлова: с пяти часов утра 28 июля он безропотно занял место на адмиральском мостике флагманского броненосца «Цесаревич». Оттуда, со страшной высоты, он видел все, а все люди издалека видели своего адмирала...

В окружении Витгефта сейчас были: контр-адмирал Матусевич, начальник его штаба; любимец покойного Макарова — лейтенант Коля Азарев (штурман); флаг-офицеры в чинах мичманских — Эллис и Кувшинников; лейтенант Ненюков (артиллерист), а среди них выделялся отважный сын сербского народа — красавец Драгичевич Никшич, тоже лейтенант (и тоже штурман).

Младший флагман эскадры, князь Ухтомский, держал флаг на броненосце «Пересвет», и, если Витгефт погибнет, он обязан заменить его, продолжая битву... Крейсер «Новик» открыл движение эскадры, за ним плавно тронулся «Цесаревич», в кильватер флагману пристраивались другие броненосцы, крейсера и миноносцы. Все было торжественно, не без величавости. Над мачтами «Цесаревича» ветер развевал и комкал почти праздничный сигнал: «ФЛОТ ИЗВЕЩАЕТСЯ, ЧТО ГОСУДАРЬ

ИМПЕРАТОР ПОВЕЛЕЛ НАМ СЛЕДОВАТЬ ВО ВЛАДИВОСТОК...»

— К бою! — последовали команды.

Витгефт приглядывался к «Ретвизану», которым командовал дерзостный поляк, капитан 1-го ранга Эдуард Щенснович:

— Как-то там с наскоро заделанной пробоиной? Ведь они даже не успели откачать пятьсот тонн воды.

— Ничего, держатся, — из-за плеча подсказал каперанг Иванов, опытный командир «Цесаревича».

— Я боюсь, — ответил Витгефт, — что стоит эскадре набавить узлов, и переборки на «Ретвизане» полетят к чертям... Как вы думаете, Николай Михайлович?

— Полетят, конечно, — не стал мудрить Иванов...

— Сколько держать? — спросил Витгефт у Матусевича.

— Пока нас устроят и двенадцать узлов...

Берега Квантума исчезали вдали. Японские крейсера «Ниссин» и «Кассуга», пересчитав русские корабли, скрылись из виду. Было 11.30, когда из пасмурного отдаления тяжело и зловеще простили очертания главных сил броневого кильватера самого Того, флаг его реял над «Миказой», за ним двигались «Асахи», «Фудзи», «Сикисима» и прочие. Громадная свора миноносцев блуждала по флангам, будто присматриваясь, в кого вонзить свои зубы... Поворотом «все вдруг» Того сразу вышел на пересечку, чтобы забрать голову нашей колонны в клещи, а потом раздавить ее вместе с флагманским «Цесаревичем».

— Четыре румба влево, — не растерялся Витгефт, найдя самое верное решение, отчего противники стали расходиться на контргалсах, и Того не сразу понял, что его маневр сорван. «Ниссин» открыл огонь, на что Витгефт реагировал без промедления: — Броненосцам отвечать из главного калибра...

Того, используя преимущество в скорости, обошел нашу эскадру с конца, он менял свои курсы, снова и снова примериваясь к охватам головы, но каждый раз оказывался в дураках, а башенный огонь враждующих сторон отражал нарастание боя во время неизбежных сближений. Того постыдно «промахнулся» в неумелом маневрировании, его эскадра оказалась далеко позади русской, на «Цесаревиче» даже пошутивали:

— Того, наверное, сегодня не выспался.

— Да, что-то не видать прежнего задора.

— О! Попадание в «Читозе»... вон-вон, видите?

«Читозе», жестоко раненный, уже отползал в сторону, за ним отбегали японские крейсера. Еще доклад:

— Вижу, на «Сикисиме»... корму рвануло!

Совершив непонятный поворот на восемь румбов, эскадра Того строем фронта удалялась в море, на горизонте виднелись только трубы, мостики и мачты... Там пластами блуждал дым.

— Ничего не понимаю... зачем? — недоумевал Витгефт.

— А я, кажется, догадываюсь, — ответил Иванов. — Того боится, что мы, как в прошлый раз, отвернем обратно к Артуру, вот и заманивает нас подальше от крепости...

Время 14.30. Дистанция между противниками настолько возросла, что бой сам по себе прекратился. Русская эскадра держалась курса в сторону Корейского пролива, где за Цусимой открывались дороги во Владивосток. Никто из кораблей Того не рисковал подходить ближе 70 кабельтовых, и только в хвосте нашей колонны броненосец «Полтава» отбивался от японских крейсеров. Желтое море спокойно стелилось под килями российских броненосцев. Им хватило брони, чтобы выдержать удары фугасов, им хватило и пушек, чтобы громить врага, и не хватало лишь двух-трех узлов скорости обеспечить себе полноту победного триумфа...

— Не пора ли командам обедать? — спросил Иванов.

— Как угодно, — отвечал Витгефт. — Мне сейчас не до еды, но, если люди не потеряли аппетита, я не возражаю...

В три часа дня адмирал запросил командиров кораблей о повреждениях. Ответы поступали утешительные — ничего страшного не произошло, все в порядке. Того допустил такие грубейшие просчеты в тактике, он так неумело руководил боем, что на русской эскадре окрепла уверенность в своих силах, и Того уже не казался таким страшным, каким его англичане малютят. Матросы с ночи были на ногах, теперь иные ложились прямо на броню палуб, возле пушек, говоря:

— Задам храпака, пока там адмиралы волынят...

В 16.30 снова началось сближение противников, две эскадры развили бушующие шквалы огня, в котором страдали одинаково и японцы и русские... «Миказа» уже горел, но забивал пламя, одна из башен японского флагмана не проворачивалась. Свирепый ливень осколков осыпал и наши палубы, русские комендоры — скрывая раны! — не оставляли орудий, стреляя, стреляя, стреляя... Витгефт не покидал площадки адмиральского мостика, открытый всем словно напоказ. Флаг-офицеры тянули его за полы тужурки, даже за штанины брюк:

— Вильгельм Карлыч, опасно... вниз, в рубку!

— Оставьте меня. Сегодня я должен быть молодцом. Отсюда мне удобнее видеть, и здесь меня видят вся эскадра. В конце концов, человеку

безразлично, где умирать!

Кажется, адмирал решил сегодня искупить все прежние слабости, нарочно бравируя показной храбростью, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его смелости. «Цесаревич» (с Витгефтом) и «Пересвет» (с Ухтомским) — эти два флагмана, старший и младший, — были снова поставлены Того под ураганный огонь, чтобы выбить

командование русской эскадрой. В половине шестого вечера японский снаряд сбил фок-мачту на «Цесаревиче», и адмирал Витгефт исчез навсегда в кратком мгновении ослепительной вспышки... На решетки мостика шмякнулась его нога с остатком штанины, украшенной лампасом.

Это было все, что осталось от человека!

Ослепленный взрывом, поднялся каперанг Иванов:

— Где Матусевич?.. Ненюков?.. Драгичев?..

Весь штаб эскадры — вповалку. Мертвые переплетались с живыми, и мичман Эллис приник лицом к лицу лейтенанта Азарева — так, будто они дарили один другому последнее смертное целование. Николай Михайлович Иванов пришел в себя:

— Эскадра не должна знать о гибели флагмана... Флаг адмирала Витгефта не спускать! Эскадру поведу я... сам поведу! Его шатало. Из носа и ушей фонтанировала кровь.

— На румбе... какой курс? — спрашивал он.

— Держим... сто восемнадцать, — отвечали рулевые, перехватывая липкие от крови рукояти штурвала.

Время 17.43. Вторым снарядом разнесло ходовую рубку «Цесаревича». Все, кто уцелел от первого взрыва, полегли замертво. Флагман, ведущий эскадру, начал скатываться в бессмысленную циркуляцию, но при этом эскадра, еще не зная о гибели Витгефта, исполнительно заворачивала ему в кильватер, думая, что адмирал начинает очередной маневр...

Неожиданно для японцев она даже удвоила мощь огня, а корабли противника ослабляли огонь, многие выходили из боя. «Якумо» и «Асахи» были разрушены взрывами, в их пробоины хлестала вода. «Кассуга» и «Чин-Иен» едва оправились от попаданий, сильно дымя. На крейсере «Ниссин» снесло палубные надстройки... Того сорвал с головы фуражку! Он швырнул ее на решетки мостика, скользкие от крови убитых, и топтал

фурражку ногами, с хрустом раздавив адмиральскую кокарду.

— О, боги... не может быть! — выкрикивал он.

Его «Миказа» превращался в развалину. Мостики и спардек напоминали свалку каких-то неведомых конструкций. Грот-мачта, уже перебитая, склонялась над этим хаосом изуродованного железа, грозя рухнуть. Орудийные башни омертвело молчали, сочась дымом (у флагмана осталась одна шестидюймовка). Палуба была усеяна убитыми. Орали раненые. «Миказа» горел...

— Они, кажется, побеждают меня, — признал Того.

(Признание Того зафиксировали два посторонних человека: французский адмирал Эмиль Олливье и британский морской атташе, который все время битвы не покидал Того, стоя подле него на мостице «Миказа». По словам Олливье, адмирал Того был потрясен решимостью русской эскадры, которая надвигалась на него, готовая погибнуть, «чтобы спасти судьбу войны и честь России... Того дает приказ к отступлению!». Английский атташе дополняет: «Того увидел, что перед невероятным упорством русской эскадры, которая решила во что бы то ни стало пробиться (во Владивосток), ему придется отступить...»)

— Лейтенант Сакураи, — велел Того, — пишите приказ. Это будет мой позорный приказ — об отступлении.

— Не может быть, адмирал!

— Да, да... на этот раз мы проиграли.

— Отступление к Эллиоту?

— Нет, в Сасебо... на ремонт!

(В отдаче приказа возникла пауза, которую не понять, не зная флотских порядков. Объявляя флоту свою волю, флагман сначала оповещает: «Готовьтесь принять приказ», после чего корабли обязаны ответить ему поднятием флагов: «Ясно вижу, вас понял». Лишь после этого обмена сигналами флагман извещает эскадру о своем приказе...) Корабли уже ответили Того, что его поняли и ждут распоряжений. Ни японцы, ни русские еще не знали, что не только участь Порт-Артура, но, может, и судьба всей войны была заключена в этой раскаленной минуте. Итак, японская эскадра выжидала приказа — об отступлении. Но именно в этот момент Того заметил странную циркуляцию «Цесаревича». Он сузил глаза в две щелки:

— Лейтенант Сакураи, прежний приказ отменяется. Мы не идем в Сасебо на ремонт — мы продолжаем битву...

Не попади второй снаряд в рубку «Цесаревича», не замедли Того с отдачей приказа — и все было бы иначе...

Все, все, все! Но эта критическая минута кончилась.

Адмирал Того нагнулся и, подхватив фуражку с раздавленной кокардой, снова нахлобучил ее на голову. Начиналась последняя фаза боя, и заходящее солнце было русским в глаза, ослепляя наших наводчиков...

Из груды мертвых тел на мостике «Цесаревича» вдруг начал вылезать лейтенант Ненюков, очнувшийся после взрыва:

— Кто здесь живой? Отзовитесь... вы, живые!

Живых не было. «Цесаревич» продолжал выписывать кривую, но следующие за ним корабли уже поняли бессмысленность этого маневра, и они — один за другим — покидали флагман, строй был сломан ими, в растерянности они сбились в кучу.

Дмитрий Всеволодович Ненюков сам встал к штурвалу, решив заменить рулевых и даже адмирала Витгефта, нога которого валялась в углу рубки, сверкая лампасом. Но штурвал вращался свободно: управление рулями не срабатывало.

— Братцы, кто может, поднимите сигнал...

Сигнал он поднял: «Командование эскадрой передается младшему флагману». Контр-адмирал Ухтомский, не зная, что случилось с Витгефтом, машинально распорядился:

— Оповестите эскадру: «Следовать за мной».

Но фалы, протянутые к мачтовым реям, были разорваны осколками, сигнальщики «Пересвета» укрепили флаги к поручням мостика, где их никто не разобрал, и потому за кормою «Пересвета» никто не последовал. Японская эскадра активизировала стрельбу, и в этом кошмаре каперанг Эдуард Щенснович, командир «Ретвизана», принял почти дикое, но верное решение:

— На таран... тараним «Миказу» и Того!

— Переборки не выдержат, — предупредили его.

— Нам ли сейчас думать о переборках?..

«Ретвизан», сам полузатопленный, устремил свой форштевень на вражеского флагмана. Японцы обрушили на дерзкого огонь всех кораблей сразу. Порою «Ретвизан» совсем исчезал в дыму и всплесках воды, но потом вырывался из них снова, страшный в своей безумной ярости... ближе, ближе, ближе. Ближе!

До «Миказы» оставалось всего лишь 17 кабельтовых.

— Баковая, круши Того! — призывал Щенснович.

«Миказа» вздрогнул, как боксер от удара в челюсть. Из его носовых погребов выбросило черный гриб дыма, и верхушка этого гриба — уже в небесах — полыхала сгоравшими кордитами. И тут осколок угодил Щенсновичу прямо в живот. Скрюченный от невыносимой боли, он терял сознание.

— Держитесь эскадры... — прошептал капреранг.

«Ретвизан» отвернулся, но минутами своей доблести он дал передышку своим кораблям, на себя одного принимая множество ударов, предназначенных всей нашей эскадре...

— Переборки выдержали, — доложили Щенсновичу.

— Прекрасно! Оставьте меня... умереть...

«Аскольд» воздел флаги: «Крейсерам следовать за мной», и они ринулись за ним на прорыв, пересекая курсы своих броненосцев, которые князь Ухтомский уже начал оттягивать в сторону Порт-Артура. Между бронированных громадин метался «Беспощадный», с его мостика матерился командир Михайлов:

— Куда вы? Предатели... только во Владивосток!..

Того уже отводил свою эскадру. Не потому, что он щадил русских. Просто у него более не оставалось сил — ни духовных, ни материальных. Наконец погреба опустели — их содержимое было выпалено в противника. Сама полуразбитая, еще вспыхивая фейерверками палубных пожаров, тоннами черпая в себя воду, японская эскадра исчезала во мраке ночи...

Она уходила в Сасебо — она шла на ремонт!

Вдали от гула этой безумной битвы, втишайшем Мукдене, наместник Алексеев составил для Владивостока секретную телеграмму за № 2665, которая и оказалась последним решающим мазком на этом обширном полотне трагедии русского флота: «Эскадра (Витгефта) вышла в море, сражается с неприятелем, высылайте крейсера в Корейский пролив» — к Цусиме! Но чем завершился бой эскадры, наместник еще не знал...

Когда в Петербурге восемь часов утра, во Владивостоке два часа дня. Отправленная в этот срок телеграмма Алексеева легла на стол перед адмиралом Скрыдловым лишь 29 июля.

— Филькина грамотка! — сказал адмирал Иессену. — Эскадра Витгефта вышла... когда вышла? Она сражается с неприятелем... с каким

успехом? Выслать крейсера к Цусиме — это единственное, что мне понятно. Надеюсь, и вам, Карл Петрович?

— А если Витгефт опять вернется в бассейны?

(Они говорили о нем еще как о живом человеке.)

— Вполне возможно, — отвечал Скрыдлов.

Иессен рассуждал педантично, но верно:

— Если мне поставлена задача встретить Артурскую эскадру, то я должен знать точное время, иначе я, как навигатор, не могу вычислить ни координаты randеву, ни точку времени!

— Судя по всему, вы увидите ее на подходах к Дажелету.

— На подходах... так воевать нельзя!

— Нельзя, — согласился Скрыдлов. — Но, очевидно, и сам наместник ни шиша не знает, что в море творится... Думаю, что южнее параллели корейского Фузана вам продвигаться не следует. При встрече с Камимурой старайтесь отвлекать его к северу, дабы избавить бедного Вильгельма Карлыча от борьбы с крейсерами. При погоне разрешаю сливать за борт запасы пресной воды, можете выбросить из бункеров даже половину угля, дабы облегчить свое движение... Исполать вам!

В пять часов утра, когда город безмятежно спал, открыв окна, а дворники еще только начинали поливать улицы, «Россия», «Громобой» и «Рюрик» тихо снялись с рейдовых «бочек» и вышли в Амурский залив. Крейсера хорошо качнуло в их развороте на открытое море, и только в 9.30 адмирал оповестил бригаду сигналом: «Наша эскадра вышла из Артура, теперь сражается... идем ей навстречу». (Увы, эскадра уже вернулась в Порт-Артур, никто давно не сражался, и встречать было уже некого.)

Но люди-то верили в то, во что им хотелось верить:

— Встретим артурцев! Еще как встретим...

Я не знаю, сколько пробило на часах в кабинете командующего флотом, когда адмирал Скрыдлов бомбой вырвался из кабинета, потрясая очередной телеграммой наместника:

— Все меняется! Витгефт убит, наша эскадра разорена...

Крейсера надо вернуть, иначе... Срочно посыпайте вдогонку им миноносец! Самый быстрый. Пусть не жалеет угля и машин. Пусть догонит, пусть вернет. Крейсера там уже не нужны!

Номерной миноносец сорвался с рейда и стремглав вырвался в открытое море. Молодой командир в кожаной тужурке пригнулся на мостице, как жокей в седле, крича по трубам в машину:

— Ну, ребята... выжимай! Сколько можете...

Словно острый нож, миноносец вонзился в тяжелые волны — и

пошел, пошел, пошел распарывать их, резать, кромсать, как плугом. Свистящая пена летела через головы людей, корпус от напряжения сочился «слезой», но об этом никто не думал. Главное — догнать, остановить, вернуть... Больше суток длилась чудовищная гонка, наконец где-то очень далеко горизонт украсило выхлопами дымовых труб. Но «лошадиные силы» машин иссякли, и командир красными от соли глазами, чуть не плача, смотрел, как растворяются дымы русских крейсеров, уходящих дальше и дальше — в неизбежное, в роковое...

С большим трудом он вернул миноносец во Владивосток. Его шатало от усталости, рука с трудом вскинулась к фуражке:

— Крейсера ушли... я видел только их дымы!

Скрыдлов, отвратясь от карт, обратился к иконе:

— Господи, простишь ли? Вечная им память...

Японские женщины, повязав головы синими полотенцами, унылой вереницей тянулись по сходням на крейсера, неся на согбенных спинах мешки с британским кардифом. Они работали молча, без песен и смеха, только слышалось их учащенное дыхание, а под шаткими сходнями, соединявшими берег с палубами, качалась сизая вода, поверх которой плавали арбузные корки и рыжие комки раздавленной хурмы. Это были женщины, одинокие или вдовы, судьба которых еще с юности колебалась, как и эти сходни, между фабричной каторгой или домом терпимости, а потому они не роптали на тяжесть мешков с углем, их почерневшие лица силились улыбаться...

Адмирал Камимура, глядя на них, с печалью стареющего мужчины думал о жене, которая в Токио навещала теперь пепелище родного дома, и, наверное, она подолгу плачет возле обгорелых вишен, посаженных ею в год их свадьбы... Вахтенный начальник флагманского «Идзумо» доложил адмиралу, что бункеровка крейсеров затягивается по вине этих нерях, которые не умеют двигаться по сходням бегом.

— Я сторонник найма китайских кули, — сказал он.

— Я тоже... Что сегодня на обед в экипажах?

— Бобовая похлебка с цыплятами и овощами.

— Надеюсь, котлы наших камбузов не вычерпраны до дна. Так покормите этих несчастных и дайте им рису сколько хотят.

Кто знает, может, среди них есть и матери наших доблестных

матросов... Какие новости с моря? — спросил Камимура.

— Русские броненосцы снова укрылись в бассейнах Артура, кроме флагманского «Цесаревича», который интернирован немцами в китайском порту Кью-Чао. Он страшен. Но он жив...

В отличие от русского командования Камимура точно в срок был извещен о событиях в Желтом море. 29 июля Того указал ему взять четыре броненосных крейсера и легкий «Чихайя», чтобы сторожить возможный прорыв порт-артурских крейсеров к Владивостоку (имена их были известны: «Аскольд», «Диана» и «Новик»). В шесть часов вечера следующего дня Камимура получил свежую информацию с моря. «Аскольд» видели уже на траверзе Шанхая, «Диана» промчалась куда-то мимо Формозы, а «Новик» растворился в неизвестности. Того напомнил по радио, что сейчас следует ожидать выхода владивостокских крейсеров... Камимура принял решение:

— Передайте адмиралу Уриу, что ему надлежит крейсировать южнее Цусими, а я беру самые лучшие крейсера для контроля за подходами к Цусиме со стороны северных румбов...

В ночь на 1 августа «Идзумо» выдерживал скорость в экономическом режиме котлов, дабы зря не расходовать запасы боевого кардифа. Где-то страшно далеко, словно в другом мире, горизонт обозначился сабельной полоской рассвета. Было 4 часа 15 минут, когда Камимуру вызвали на мостики.

— В чем дело? — недовольно спросил адмирал.

— В море блеснул огонь... как вспышка спички!

Это могли открыть рубочную дверь неизвестного корабля; это корейский рыбак мог взмахнуть фонарем; это, наконец, могло просто показаться утомленным сигнальщикам. Камимура откровенно зевнул. Ради приличия он решил побывать на мостике еще минут двадцать, после чего хотел спуститься обратно в салон — к своей подушке, набитой чайными листьями.

— На южных румбах — три тени! — последовал доклад.

Громадные цейсовские бинокли разом вскинулись на мостиках «Идзумо». Три тени постепенно оформились в четкие силуэты русских крейсеров, и сомнений уже не оставалось:

— «Россия»... «Громобой»... концевым — «Рюрик»!

«Невидимки» разом обрели зримую сущность.

— Не стоит мешать им, — сказал Камимура, — пусть они отбегут еще дальше к югу, а мы тем временем захлопнем ворота, ведущие к Владивостоку... Можно прибавить оборотов.

Вода с тихим ропотом расступалась перед «Идзумо».

Участник этих событий вспоминал: «К вечеру мы все по обыкновению собирались на юте, пели песни, дурачились и смеялись... Не разошлись ли мы с артурцами, до сих пор их не встретив? Строим планы, какие лихие походы будем делать вместе с крейсерами Артурской эскадры...»

Настроение было хорошее. Скорость приличная.

— Для меня, — говорил каперанг Трусов, — эта операция дорога еще и по отцовским чувствам. Я встречаю не только Артурскую эскадру, но увижу и сына — мичмана с «Пересвета». Что я скажу жене и дочери, если встреча не состоится?

Заступающие на ночную вахту растаскивали к пушкам и приборам чайники, сухари с колбасой. Хлодовский велел разнести по всем постам содовую и сельтерскую воду:

— Мало ли что... Дни жаркие, пить захочется...

Ночью крейсера вышли на параллель Фузана (в Корее) и Хиросимы (в Японии). Здесь они развернулись к весту, выжидая подхода артурцев из Желтого моря. Было четыре с половиной часа, когда резкий свист воздуха в переговорной трубе разбудил Иессена, адмирал приник ухом к медному амбушору.

— Прошу наверх, — сказал ему Андреев.

— А что там?

— Мы сейчас проскочили мимо каких-то кораблей... еще темно, и было трудно разобраться — каких?

— Сколько до Фузана?

— До берегов Кореи миль сорок, не больше.

— Добро. Сейчас поднимусь...

Горизонт оставался еще непроницаем. Иессен, зевнув в перчатку, с неприязнью смотрел, как Андрей Порфирьевич Андреев, уже нервничая, скрупулезно отмеряет себе из пузырька 15 капель валерьянки. Наконец, это даже смешно:

— Да плесните на глазок. К чему эта математика?

— Нельзя. Медицина — наука точная. Надо пятнадцать... При этом один сигнальщик подтолкнул другого:

— Псих-то наш... все о здоровье печется.

— Нашел время. Хлобыстнул бы всю банку сразу — и за борт! Чего

там напрасно мучиться...

Двигаясь в предрассветном пространстве, крейсера легко несли на себе кольчугу броневых покрытий, плутонги орудий и боевых припасов. В их душных отсеках сейчас досыпали последние минуты более двух тысяч человек:

на «России» — 745,
на «Громобое» — 790,
на «Рюрике» — 812...

— Наши... наши идут! — заволновались сигнальщики.

Крейсера пробудились. По правому траверзу обозначились дымы кораблей, и матросы (иные босиком, прямо с коеч) перевешивались через жидкие леера бортов, вглядывались в смутные еще очертания корабельных силуэтов.

— Ура! Все-таки прорвались...
— Молодец старик Витгефт!..
— Эй, артурцы! Привет из Владивостока...
— Слава богу, встретились...
— Теперь всем нам будет легче...

Каперанг Андреев резко опустил бинокль.

— Головным — «Идзумо», — тихо сказал он Иессену.

Рассветало. Японские крейсера шли четкой фалангой, сразу же отрезая нашей бригаде пути отхода к северу. Между мателотами противника выдерживались тесные интервалы, как на императорском смотре. Теперь все видели на их мачтах громадные белые полотнища с красными кругами в «крыжках» знамен. Радость встречи угасла. Начинался трезвый подсчет вражеских сил по порядку его кильватера: «Идзумо», «Токива», «Адзума», а концевой еще терялся во мгле.

— Дистанция восемьдесят кабельтовых.
— Вижу. Но кто же концевым? — спрашивал Иессен.
— Три высоких и тонких трубы... Это «Ивате».

Иессен снял фуражку и долго крестился.

— Аллярм! — провозгласил он затем.

Стеньговые флаги, зовущие к бою, мигом взлетели до места, На страже корабельных знамен встали часовые — испытанные в мужестве, дисциплинированные, которые лучше умрут, но не оставят своих постов. Крейсера ожили — в трескотне трапов, уводящих матросов то под самые облака, то бросающих их в преисподни глубоких трюмов. Все грохотало — люки, двери, клинкеты, и за последним вбежавшим все это с лязгом запиралось, будто людей запечатывали в несгораемом банковском сейфе.

Унтер-офицеры пристегивали к поясам кобуры с револьверами. А барабанщики все били и били «аллярм». Режущее пение боевых горнов наполнило тишину мотивом битвы:

Наступил нынче час,
когда каждый из нас
должен честно свой выполнить долг...
Долг!
До-олг!
До-о-олг!

(Я помню этот мотив. Он сохранился и на нашем флоте).

За пять минут до «аллярма» была перехвачена депеша Камимуры в Сасебо: «Воспрепятствуем... бой, нужно еще два крейсера... проход русским по флангу загражден». Панафидин занял свое место. В бортовом каземате все напоминало времена Ушакова и Нельсона, только дерево заменяло железо; внутрь корабля торчали «зады» пушек, выставивших свои дула наружу. В орудийных просветах (портах) отсвечивало море.

Камимура разрядил пушки — ради пристрелки.

Линия его крейсеров в отличие от нашей была однотипна, она несла одинаковую артиллерию, разница была лишь в том, что одни имели гарвеированную (английскую) броню, а флагманский «Идзумо» был закован в круптовскую (германскую)...

— Шпарат как на параде, — сказал Шаламов.

Панафидин выглянул из порта, как с балкона большого дома, прикинув расстояние до противника, и наивно решил:

— А что? Нам выпал прекрасный случай проверить нашу артиллерию на любых доступных дистанциях...

Иеромонах Алексей Конечников обходил боевые посты, окропляя пушки «святой» водицей, дребезжаще распевал:

— Спаси, господи, люди твоея-а-а... а-аминь!

Он явно спешил, ибо боевое расписание призывало его в баню-лазарет «Рюрика». Через дверь носового отсека Панафидин окликнул барона Курта Штакельберга:

— Камимура уже начал, а чего же мы?

— Сейчас... начнем и мы, — ответил Штакельберг, и в этот же момент что-то ярко-рыжее, как шаровая молния, врезалось в носовой каземат, соседний с панафидинским.

— Песок давай... сыпь, сыпь, сыпь! — орал кто-то.

Пушки уже отскочили назад в первом залпе, компрессоры плавно поставили их на место, клацнули замки. Николай Шаламов ловко забросил в пасть казенника свежий снаряд. Панафидин не сразу сообразил: песком будут засыпать лужи крови убитых, чтобы ноги живых не скользили по палубе. Элеваторы, гудя моторами, подавали наверх снаряды и пороховые кокоры. Через дверной проем было видно, как матросы волокут Штакельберга за ноги, и голова барона жалко мотается.

— Куда вы его? Что с ним, братцы?

— Уже готов... открасовался. Амба!

«Как быстро это бывает», — не ужаснулся, а просто отметил в сознании мичман. Но с этого момента он перестал метаться, четко реагируя на мычание сигнальных ревунов, зовущих его батарею к залпам. Русские снаряды при попаданиях давали нечеткий блеск, словно высекали искру из кремня, а японские вызывали клубки густейшего дыма, отчего иногда казалось, что наши снаряды вообще не долетают. Многое становилось ясно — такое, о чем мичман ранее не задумывался. «Рюрик», идущий концевым, ритмично вздрогивал под ударами разрывов фугасного действия.

Николай Шаламов кричал:

— Горим... горим же! Вы что, не видите?

— На «России» трубу сбило, братцы.

— Давай разноси шланги... Трюмные, напор, напор!

Брандспойты выкручивались из рук матросов. Пламя из носового отсека перекинулось в соседний. Японские фугасы взбрасывали кверху куски палубного настила. Все это — в треске огня, в ядовитом дыму. У переживших разрыв шимозы сразу спекались губы, возникала страшная жажда, они орали:

— Пить! У кого есть хлебнуть... хоть глоток!

Пушки, отброшенные взрывами, перекатывались на качке, грозя переломать ноги. В открытые порты море хлестало соленой пеной, а мертвецы, жидкие, как студень, ерзали затылками по тиковым доскам, их уже ничто не касалось...

— Подавай! — требовали комендоры от элеваторов.

Панафидин стянул с кресла убитого наводчика, сам приникнув к прицелу. Краем глаза, целясь в «Идзумо», он видел, что флагманская «Россия» несет уже половину трубы, а дым клубами валит прямо из

палубы... Взмахом руки он звал Шаламова:

— Ты жив? Тогда подавай... подавай!

— Урра-а-а!.. — донеслось сверху, с палубы.

Это радовались, когда взрывом раскрыло корму «Ивате», и он, контуженный, остался на месте, а броневая фаланга Камимуры шла дальше как заговоренная, и борта японских крейсеров вспыхивали яркими точками — в упор били орудия знаменитой фирмы Армстронга... Победные возгласы «Ура!» верно поняли только наружные вахты, а те, что оставались внутри крейсеров (ничего не видящие), решили, что наверху приветствуют появление Порт-Артурской эскадры, и потому тоже кричали:

— Урра-а! Теперь мы вместе... мы спасены...

Флагманская «Россия» теряла скорость. Клинcket паропроводов (который так и не успели починить в базе) вывел из строя сразу четыре котла. Кормовая труба, уже разбитая, не давала тяги на топки. Сопла вентиляторов с могучим ревом засасывали внутрь крейсера дымы пожаров и невыносимые газы от разрывов шимозы, удушающие людей в низах.

— «Рюрик» горит, — сообщали с вахты. — Горит, но узлы он держит пока что не хуже нас...

Иессен понимал, что отряд, уже избитый с одного борта, нуждается в перемене курса. Где он, спасительный маневр, чтобы расцепить клещи, в которые они попали? С севера — броненосные силы Камимуры, а с юга — адмирал Уриу с легкими крейсерами. Андреев подсказывал Иессену отворот к югу:

— Потом вдоль берегов Кореи вывернемся к северу.

— В любом случае они нас нагонят.

— Несомненно! Но отбиваться будем до крайности...

Об Андрееве писали: «Болезненный, нервный в обычной обстановке, в бою он выказал небывалое хладнокровие и мужество, весело разговаривал с матросами близ орудий, чем сильно поддерживал боевые настроения. Старший офицер крейсера капитан 2-го ранга Вл. Ив. Берлинский был убит наповал, когда стоял рядом с командиром...»

— Не уносите его с мостика, — велел Андреев. — Накройте Андреевским флагом, и пусть остается с нами...

Один за другим смело за борт прожекторы. Японские снаряды разворачивали в бортах такие дырищи, через которые свободно пролезал

человек. Пробило фок-мачту. По внутренней ее шахте снаряд, как в лифте, опустился в отсек динамо-машин, но, слава богу, не взорвался, его раскаленная болванка каталась среди электромоторов, стонущих от усилий. Сначала снаряд поливали водой, а потом привыкли к нему, и матросы пинали его ногами, как чушку:

— У, зараза! Валится тут, ходить мешает...

Иессена предупредили: с юга виден «Нанива».

— Сам черт его несет, — выругался адмирал...

«Нанива» издали пострелял по «Рюрику», потом примкнул в кильватер крейсерам Камимуры, усиливая мощь его огня. Было 05.36, когда Иессен решился на отворот к югу.

— Сейчас или никогда, — сказал он...

«Ивате» справился с пожарами после взрыва и занял место в кильватере за крейсером «Нанива». А на наших кораблях одно за другим замолкали орудия. Нет, их не подбили — случилось худшее. На дальних дистанциях боя, когда пушки задирали стволы до предела, слетала резьба шестеренок в подъемных механизмах, и пушки оседали, беспомощные в вертикальной наводке. Андреев спустился с мостика — к комендорам. Артиллерийские кондукторы, люди бывальные, чуть не рыдали:

— Так што там, в Питере-то, думали раньше? Или им дистанция боя в ширину улицы снилась? Ведь погибаем...

— Шестерни дерымовые! Цена-то им — рупь с полтиной, как за бутылку, из-за них бьют нас, а кто виноват?

Что мог сказать на это Андреев? Да ничего.

— Это преступно, — соглашался он с матросами. — Такое оружие могли поставить на крейсера только враги... Но у нас есть один выход: сражаться до конца!

Люди задирали пушки с помощью талей, удерживая их при стрельбе канатами. Иногда — под огнем противника — они подставляли под орудие свои спины, а порой вспрыгивали на казенную часть стволов, как на бревна, и весом своих тел удерживали пушки в нужном угле возвышения...

На мостике Андреева поджидал Иессен в обгорелом кителе, он держал перед собой обожженные руки, подставляя их под освежающий сквозняк, задувавший в разбитые окна ходовой рубки. Обманным маневром адмирал отводил крейсера к югу, чтобы затем отыскать «окошко» для перехода на северные румбы — спасительные для них. Андрееву он сказал:

— Все бы ничего, и мы бы выкрутились, но с моря, сами видите, подходят еще два японца: «Чихайя» и «Такачихо», а «Рюрик» уже перестал отвечать на позывные... Как у вас?

— Я, — прокричал ему в ухо Андреев, — велел закладывать под машины взрывчатку и готовить кингстоны к открытию!

— Добро, — согласился Иессен и даже кивнул...

(В отряде оставалось лишь четыре орудия в 203-мм против шестнадцати японских, на 14 русских орудий меньшего калибра японцы отвечали залпами из 28 стволов. Камимура подавлял бригаду таким громадным превосходством, какого не имел даже адмирал Того в сражении с Порт-Артурской эскадрой.)

— Отгоните «Наниву», — требовал Иессен. — Он опять лезет к «Рюрику»... На баке, вы слышали? Сигнальщики, дать на «Рюрик» запрос: «Все ли благополучно?»

На вопрос адмирала крейсер долго не отвечал. Издали было видно, как взлетают над ним груды обломков палубы, в столбах рыжего дыма исчезают надстройки... Ровно в 06.28 над искалеченным мостиком распустился кокон флага «Како».

— «Рюрик» не может управляться, — прочли сигнальщики. Наверняка этот сигнал «Како» разобрали и на мостиках «Идзумо»: с японских крейсеров слышались крики радости.

— Запросите «Рюрик» — кто на мостике?

Ответ пришел: крейсер ведет лейтенант Зенилов.

— Это минный офицер, — подсказал Андреев.

Иессен сбросил с себя тлеющий китель:

— А где же Трусов? Где, наконец, Хлодовский?

Камимура не распознал маневра русских, и, казалось, уже пришло время, чтобы, прижавшись к берегам Кореи, развернуть бригаду в норд-остовую четверть горизонта.

— Но теперь мы не можем оставить «Рюрика»!

— Никак не можем, — отозвался Андреев...

Массы железа перемещались с движением орудийных стволов, масса железа быстро уменьшалась с количеством залпов, масса железа раскалялась докрасна и потом остывала — на все на это магнитные компасы реагировали скачками картушек, будто их стрелки посходили с ума от ужаса. Точность совместного маневра бригады была уже немыслима, ибо на трех крейсерах три путевых компаса указывали три разных курса...

«Цела ли каюта? Не сгорела ли моя виолончель?..»

Последний раз Панафидин видел Хлодовского — по-прежнему элегантного, при «бабочке», будто он вернулся с бала, только бакенбарды исчезли с его лица, сожженные в пламени пожаров. Обходя орудия, он похлопывал матросов по спинам:

— Ты городской, ты деревенский, все морские. Не на казнь идем, не на виселицу — в священный бой за отчество!

Вскоре из соседнего каземата проволокли на носилках офицера: «В виске громадная рана, один глаз вылез, другой — будто из стекла, но кто это — не узнать...»

— Кого потаскали? — спросил Панафидин.

— Хлодовского, — ответил Шаламов.

— Ах, боже мой! Ну, подавай... подавай...

Линолеум палуб уже сгорел, всюду плескалась грязная вода с ошметьями бинтов, в этой воде, розовой от крови, плавали мертвецы. Шаламов запечатал снаряд в канале ствола:

— А, мудрена мать! Чую, что тут уже не до победы, тока бы житуху свою поганую продать подороже...

Элеваторы еще работали, подавая из погребов снаряды и кокоры зарядов. Но артиллерия не успевала расстреливать их в противника: отдача боеприпасов неправлялась с подачей. Один японский фугас воспламенил «беседку» поданных к пушкам кокоров. Из мешков разбросало длинные ленты горящих порохов. Извиваясь и шипя, словно гадюки, они прыгали на высоту до двух метров, и матросы ловили их голыми руками, выбрасывая в открытые порты.

— Сгорим! Спасайся, братва, кто может...

Кто-то сиганул через борт в море, другие кричали:

— Стой, падла! Подыхать, так один гроб на всех...

Откинулся люк, в его провале появилась голова прапорщика Арошидзе, который тянул за собой шланг под напором:

— Держите... у вас хорошо, у других еще хуже!

Панафидин глянул на свои обожженные руки, с которых свисали черные лохмотья кожи:

— Ну, все. Отыгрался на своем «гварнери»...

— В лазарет! — говорил Шаламов. — Хотите, отведу?

— Оставайся здесь, я сам дойду... сам...

Баня с лазаретом была встроена между угольных бункеров, которые и принимали на себя удары японских снарядов. Но при этом, разрушая наружные борта крейсера, взрывы каждый раз вызывали шуршащие

обвалы угля, который тоннами сыпался в море. Панафидин ступил в лазарет, как в ад... Вповалку лежали изувеченные, обгорелые, хрипящие, безглазые, страдающие, а один сигнальщик, потеряв обе руки, рвался от санитаров:

— Кому я такой нужен теперь? Лучше сразу за борт...

Конечников отпускал «грехи» умирающим, кромсал ленты бинтов для перевязок, а Солуха в черном переднике, держа сигару в зубах, орал на лекаря Брауншвейга:

— Хватит таскать в баню! Нет места. Всех в кают-компанию, несите людей туда. Занимайте каюты... скорее, скорее...

Увидев Панафицина, он показал ему в угол:

— Если вы к кузену, так он вон там... уже кончается.

Плазовский был еще жив, пальцы его пытались нашупать шнурок от пенсне, который был стиснут зубами.

— Даня... неужели ты? Это я, Сережа... ты слышишь?

Острый свист заглушил все слова. Фугасы все-таки доломали защитную стенку угля, они вскрыли магистрали, и теперь раскаленный пар под сильным давлением ринулся в лазарет, удушая людей в белых свистящих облаках пара. Переборка треснула, как перегоревшая бумага, и на раненых с грохотом покатились тяжелые куски кардифа, добивая тех, кто еще надеялся жить... Панафидин с трудом вернулся в свой каземат, но каземата уже не было. Из черной пелены дыма навстречу шагал незнакомый и страшный человек, похожий на гориллу.

— Я! Я! Я! — выкрикивал он, и мичман узнал Шаламова.

— Где остальные?

— Я! — отвечал Шаламов. — Я — все остальные... Он был единственный — уцелевший.

Холодильники «Рюрика» еще вырабатывали мороженое, в них охлаждался чай с лимонным и клюквенным экстрактом, но все эти блага уже не доходили до раненых. Каюты были заполнены умирающими. Солуха велел Брауншвейгу давать кому один шприц с морфием, а кому сразу два... Шкипер Анисимов и капельмейстер Иосиф Розенберг свалили Хлодовского с носилок прямо на обеденный стол кают-компании, за которым Николай Николаевич так часто председательствовал. Брауншвейг потянул с него штанины брюк... вместе с ногами.

— Там у него каша из костей, — шепнул он Солухе.

— Два шприца, — отвечал врач...

Иногда приходя в сознание, Хлодовский требовал:

— Откройте клетку, всех птиц на волю...

Солуха и Конечников ранены еще не были, а Брауншвейг, осыпанный мелкими осколками, оставался бодр и даже весел. Медицина была скорая и простая: что отпилить, что отрезать, где наложить жгут, кому воды, кому вина — вот и все, пожалуй, ибо времени на всех изувеченных не хватало. Большие коленкоровые мешки с перевязочными материалами быстро опустели (хотя раньше думали, что их хватит до конца войны и даже останется). Солуха сказал Брауншвейгу:

— Побудьте здесь, а я поднимусь на мостик. Все-таки надо глянуть, что там с Евгением Александровичем...

Личные впечатления Н. П. Солухи: «Палуба была завалена осколками, перемешанными с телами убитых и кусками человеческих тел. У орудия на баке лежала целая куча убитых. Всюду смерть и разрушение! Силуэты вражеских судов изрыгали гром выстрелов. Воздух вздрагивал от них. В ушах создавалось сильное напряжение барабанных перепонок, доходившее до боли. Наш крейсер дрожал от собственной стрельбы и ударов снарядов неприятеля...»

В рубке распоряжался лейтенант Николай Исхакович Зенилов, принявший командование крейсером.

— Док, — сказал он Солухе, — меня... в голову, но вы меня не трогайте. Я свое достою. Желаю заранее знать, кому из лейтенантов вручить крейсер, когда меня не станет.

Солуха не мог дать точного ответа:

— Штакельберг первым из офицеров вписался в синодик. После него остались лейтенанты: Постельников, но уже без памяти, Сережа Берг — вся грудь разворочена. Могу назвать только мичманов и прaporщиков запаса. Впрочем, я слышал, что лейтенант Иванов 13-й еще держится у своих пушек.

— А что с Николаем Николаевичем?

— Хлодовский близок к агонии.

— Вот как! С билетом до Петербурга в кармане...

У каперанга Трусова было разворочено лицо. Он лежал в рубке, удерживая на качке бутылку с минеральной водой, которую и хлебал через горлышко. Рядом с ним перекатывало с боку на бок рулевого, которому выбило из орбит глаза.

— Вам надо вниз, — сказал Солуха каперангу.

Трусов, мотая головой, отползл в угол рубки:

— Оставьте меня. Я уже не жилец на свете, а мостика не покину. Перевяжите, и пусть ваша совесть будет чиста...

Личные впечатления иеромонаха А. Конечникова: «Я наполнил карманы подрясника бинтами, стал ходить по верхней и батарейной палубам, чтобы делать перевязки. Матросы бились самоотверженно, получившие раны снова рвались в бой. На верхней палубе я увидел матроса с ногой, едва державшейся на жилах. Хотел перевязать его, но он воспротивился: „Идите, отец, дальше, там и без меня много раненых, а я обойдусь!“ С этими словами он вынул матросский нож и отрезал себе ногу. В то время поступок его не показался мне страшным, и я, почти не обратив на него внимания, пошел дальше. Снова проходя это же место, я увидел того же матроса: подпирая себя какой-то палкой, он наводил пушку в неприятеля. Дав по врагу выстрел, он сам упал как подкошенный...»

Священник вернулся в кают-компанию, где над грудами обезображеных тел порхали птицы, обретя свободу. Иллюминаторы были распахнуты настежь, но не все пернатые покинули крейсер, вылетев в голубой простор. Хлодовский требовал:

— Выпустите их... пусть летят... домой, домой!

«Рюрик» получил снаряд под корму и начал выписывать циркуляцию (подобную той, какую выписывал в Желтом море флагманский «Цесаревич»). Лейтенант Зенилов нашел силы дать ответ на запрос адмирала: «Не могу управляться». После обмена сигналами вражеский снаряд влетел под броневой колпак боевой рубки и разом покончил со всеми живыми...

Лейтенант Иванов 13-й сражался на батареях левого борта, когда его окликнули с трапа:

— Константин Петрович, вам на мостик!

— Что там случилось?

— Идите командовать крейсером...

Из рубки еще не выветрились газы шимозы, Зенилов лежал ничком возле штурвала, Иванов 13-й задел ногою что-то круглое, и это круглое откатилось как мяч. Не сразу он сообразил, что отпихнул голову капитана 1-го ранга Трусова.

— Выбрось ее, — велел он сигнальщику...

Иессен на двух крейсерах продолжал битву с эскадрою Камимуры, а вокруг «Рюрика», выписывавшего концентрические круги, хищно кружили «Нанива» и «Такачихо». С панели управления кораблем все приборы были сорваны, они болтались на проводах и пружинах, ни один компас не

работал. Лейтенант Иванов 13-й продул все подряд переговорные трубы, но из всех отсеков лишь один отзывался ему утробным голосом:

— Динамо-пост слушает... чего надо?
— Говорит мостик. Что вы там делаете?
— Заклинило. Сидим как в гробу. Ждем смерти...

Из отчета лейтенанта Иванова 13-го: «Руль остался положенным лево на борт, т. к. подводной пробоиной затопило румпельное и рулевое отделения, была перебита вся рулевая проводка, управление машинами вследствие положения руля на борт было крайне затруднительно, и крейсер не мог следовать сигналу адмирала идти полным ходом за уходящими „Россией“ и „Громобоем“, ведущими бой с броненосными крейсерами японцев... Огонь нашего крейсера ослабевал».

Глупо было искать живых в рубках мостики. Иванов 13-й все же проверил их снова. Велико было удивление, когда в штурманской рубке он увидел лежащего капитана Салова:

— Михаил Степаныч, никак вы? Живы?
— Жив. Течет из меня, как из бочки. Всего осыпало этой проклятой шимозой... Осколки во — с орех!
— Так чего же не в лазарет?
— Сунься на палубу, попробуй — сразу доконают...
Через открытую дверь Иванов 13-й показал в море:
— Вот они: «Такачихо» и «Нанива»... Что делать?
— Попробуй управляться машинами. Если удастся, круши их на таран, сволочей! Пусть мы вдребезги, но и они тоже...

Вихляясь из стороны в сторону разрушенным корпусом, почти неуправляемый, крейсер «Рюрик» хотел сокрушить борт противника, чтобы найти достойную смерть. Из отчета Иванова 13-го: «Попытка таранить была замечена неприятелем, и он без труда сохранил свое наивыгоднейшее положение...»

— Тогда... рви крейсер! — сказал ему Салов.
— Рано! «Россия» и «Громобой» идут на выручку...

«Рюрик» уже превратился в наковальню, на которую японские крейсера — все разом! — обрушили тяжесть своих орудийных молотов, чтобы из трех русских крейсеров добить хотя бы один.

Из рапорта адмирала К. П. Иессена: «Видя, что все японские крейсера

сосредоточили огонь на одном „Рюрике“, все последующее мое маневрирование имело исключительной целью дать „Рюрику“ возможность исправить повреждения руля, при этом я отвлекал на себя огонь противника для прикрытия „Рюрика“... маневрируя впереди него, я дал ему возможность отойти по направлению к корейскому берегу мили на две».

Камимура заранее предчувствовал свой триумф:

— Обезьяна упала с дерева, но она снова сидит на его вершине и хохочет, — говорил Камимура. — Русским не уйти даже в Желтое море, где их добьет адмирал Ури...

— Мина! Мина! Мина! — орали на мостике «Идзумо».

Вот этого японцы не ожидали: из последних боевых усилий последние минёры «Рюрика» выпустили последнюю торпеду, и она, бурля перед собой воду, прочертила гибельный след...

К великому сожалению, мимо «Идзумо»...

Из официальных отчетов японского командования о войне на море (37-38-й год эпохи Мэйдзи, III том): «Рюрик» все еще продолжал доблестное сопротивление. С наших судов сыпался на него град снарядов, оба мостика были сбиты, мачты повалены, не было живого места... на верхней палубе команды убиты или ранены, орудия разбиты, и могли действовать лишь несколько штук.

Четыре котла были разбиты, из них валил пар... крейсер понемногу садился (в море) кормою».

«Рюрик» вписывался в историю, как и крейсер «Варяг»:

Прощайте, товарищи, с богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.
Не скажет ни камень, ни крест, где лежим
В защиту мы русского флага...

«Громобою» досталось крепко! Даже писать страшно-Сначала рвануло на фок-мачте площадку фор-марса, где сидели мичман Татаринов и 12 матросов. Со страшной высоты мостик крейсера осыпало кусками человечины, к ногам Дабича упало плечо с эполетом мичмана. В бою

разорвало святыню корабля — его кормовой флаг, от часового осталась лишь нижняя половина тела; флаг заменили новым, и до конца боя часовые менялись на посту, заведомо зная, что больше трех минут им у флага не выстоять — все равно укокошат...

— Держаться! — слышались призывы, одинаковые что возле орудий, что подле котельных жаровень. — Братишки, не посрамим чести русского матроса... Бей Кикимору! Лупи Карамору!

Смерть уродовала всех подряд, не разбирая чинов и титулов. На корме «Громобоя» полегло сразу полсотни матросов и офицеров — труп на трупе. Людей разрывало в куски, они сгорали заживо в нижних отсеках, обваривались паром и кипятком, но сила духа оставалась прежней — победоносной. Капитан 1-го ранга Николай Дмитриевич Дабич держался молодецки. Пучки острых осколков врезались под «гриб» боевой рубки, два осколка поразили командира — в бок и в голову. Его утащили вниз, едва живого. Дабича замещал старший офицер кавторанг Виноградский. Минут через двадцать сигнальщики замечают:

— Бежит как настеганный... Носа не видать!

Дабич с головой, замотанной бинтами, взбежал на мостик:

— Ну, слава богу, я снова на месте...

Вторичным взрывом подле него убило пять человек, и его вторично отнесли в каюту. Виноградский продолжал вести крейсер. Не прошло и получаса, как — глянь! — Дабич ползет по трапу на мостик — на четвереньках.

— Николай Дмитрич! — даже обиделся Виноградский. — Или не доверяете мне? Вас же отвели в каюту, лежали бы...

Семнадцать ранений подряд выпустили из Дабича всю кровь, но свой офицерский долг он исполнил до конца.

— Не сердитесь, голубчик, — отвечал Дабич. — Нет у меня каюты. Разнесло ее вдребезги. Вот я и решил, что лучше мостика нет места на свете...

Из интервью Н. Д. Дабича для газет: «Вы не можете представить, как во время боя притупляются нервы. Сама природа, кажется, заботится о том, чтобы все это человек перенес. Смотришь на палубу: валяются руки, ноги, черепа без глаз, без покровов, словно в анатомическом театре, и проходишь мимо почти равно-душно, потому что весь горишь единственным желанием — победы! Мне пришлось остаться на ногах до последней минуты».

Уже никто на «Громобое» не боялся смерти, и потому, когда умирающий лейтенант Болотников начал кричать: «Я жить хочу! Спасите меня!» — это произвело на всех потрясающее впечатление, ибо о жизни

никто не думал.

Время 06.38. Русский флагман снова геройски развернул крейсера на защиту погибавшего собрата «Рюрика».

Началась самая убийственная фаза боя — невыгодная для нас и очень выгодная для японцев. «Россия» и «Громобой» на коротких галсах пытались заградить «Рюрик», подставляя под огонь свои борта, а Камимура с ближних дистанций действовал «анфиладным» (продольным) огнем. В носовых погребах «России» возник пожар такой силы, что пламя струями было изо всех щелей, срывая железные двери отсеков, красными бивнями оно вырывалось из иллюминаторов, как из пушек. Мостик и рубки флагмана оказались в центре пожара, все командование — во главе с адмиралом — чуть не сгорело. Люди были окружены огнем с четырех сторон (переборок), а над ними горела пятая плоскость — потолок. Полыхала краска! Этот чудовищный вулкан работал минут пять, пока в погребах не выгорели все пороховые кокоры, и тогда в еще раскаленную атмосферу снова проникли люди, забивая остатки пламени... «Россия» уже лишилась трех дымовых труб, отчего котлы задыхались без тяги, скорость крейсера уменьшалась с каждой потерянной трубой. В эти гибельные моменты Камимура запоздал с поворотом, и потому его крейсера оказались немного южнее наших.

Это случилось на отметке в 07.12, и на флагмане многим показалось, что «Рюрик» ожил машинами, задвигав рулями, готовый следовать в едином строю. Иессен скомандовал:

— Поднять сигнал: «Полный ход... Владивосток!»

Полумертвый корабль вдруг отрапортовал (повторил) сигнал адмирала, что значило: я вас понял.

— Ответил! Ей-ей, справится... еще покажет!

— Следить за буруном «Рюрика», — велел Андреев.

— Есть бурун... есть, — радовались матросы, и все офицеры вскинули бинокли. — Да, пошел с буруном, слава богу!

Иессен решил, что ждать более нельзя:

— Пока Камимура отошел к южным румбам, нам сам бог велел оторваться от него к норду... прибавить оборотов!

Поворот был завершен в 07.20, но «Рюрик» снова отстал, а Камимура уже нагонял уходящие крейсера. Ничего не оставалось, как снова вернуться

на защиту «Рюрика», который в это время беспомощно разворачивало носом в открытое море.

— Еще сигнал: «Следовать во Владивосток!»

«Рюрик» вторично отрепетовал адмиралу флагами, но с места не сдвинулся. Иессен сильно страдал от ожогов.

— Что будем делать, Андрей Порфириевич?

— Выход один, — отвечал Андреев. — Если отвлечем крейсера Камимуры на себя, «Рюрик» останется со слабейшими — «Нанива» и «Такачихо». Поторопимся к нордовым румбам, пока Камимура не захлопнул это последнее «окошко»...

«Россия» и «Громобой» легли на курс в 300 градусов.

Крейсера Камимуры сразу же ринулись за ними в погоню.

Японцы шли мористее, ближе к востоку, явно желая оттеснить наши корабли к корейским берегам — прямо на камни!

Противники лежали на параллельных курсах.

Два часа длилась погоня, и два часа подряд наши крейсера отбивались из последних орудий (а комендоры тем временем разбирали на части поврежденные пушки, чтобы добыть детали для ремонта разрушенных орудий). Боясь быть прижатыми к берегу, Андреев и Дабич время от времени отворачивали свои крейсера вправо, умышленно идя на сближение с японцами, и в таких случаях Камимура не рисковал — он отходил еще дальше в открытое море, чтобы избежать попаданий.

После девяти часов утра японские крейсера ввели в бой всю артиллерию, чтобы покончить с «Россией» и «Громобоем», и, казалось, от наших кораблей сейчас останутся на воде пузыри. Но на отметке в 09.50 случилось неожиданное: в наступившей тишине над мостиком «России» прогудел последний снаряд.

— Кажется, это лебединая песня Камимуры!

«Идзумо» с креном лег в развороте, за ним исполнительно отвернули все крейсера, на большой скорости уходящие прочь.

Пять долгих часов непрерывного сражения закончились.

Люди огляделись и заметили, что многие из них поседели. Но из громадного числа экипажей сошел с ума только один человек, и его сразу же изолировали от здоровых...

Неожиданный отворот эскадры Камимуры, прекратившего погоню за

нашими крейсерами, объяснялся просто. Японские корабли сами наглотались воды из пробоин, в их машинах тоже возникали аварии, а боеприпасы кончились. Английская фирма Армстронга снабжала японцев комплектами снарядов (по 120 штук на одно орудие). Все эти комплекты растаяли в боевом пространстве, и Камимура решил пресечь опасный для него поединок с «Россией» и «Громобоем», чтобы иметь верный и решительный результат от потопления беззащитного «Рюрика»...

В интервью для своих газет офицеры с японских крейсеров говорили откровенно: «Мы вполне сочувствовали русским крейсерам, которые были вынуждены покинуть на наш произвол своего бедного беспомощного товарища, а самим уйти во Владивосток...» Сеппинг Райт записал слова адмирала Камимуры: «Рюрик» остался для нас незабываем! Этот русский крейсер казался всем нам демоном, летящим на огненных крыльях...»

Японцы уже измотались — их стрельба замедлилась, стала неточной. В низах «Рюрика» еще бушевали пожары («Раненые, кто ползком, кто стоя на коленях, кто хромая, держали шланги»). Во внутренних отсеках воды было на полметра, но вода быстро становилась горячей как кипяток. Все лампы давно разбились. Люди блуждали в этом парящем кипятке, в железном мраке они спотыкались о трупы своих товарищей.

Но с кормы «Рюрика» еще палила одинокая пушка!

Здесь, по словам Конечникова, два или три комендора стреляли, хотя подавать снаряды было уже некому. Возле пушечного прицела возился какой-то человек, из оскаленных зубов которого торчал мундштук офицерского свистка. Он обернулся, и священник с трудом узнал в нем юного мичмана. Панафидин протянул к нему руки, с которых свисала обгорелая кожа, и прохрипел только одно слово:

— Подавай...

Из элеваторной сумки священник вынул снаряд:

— Хоть и не мое это дело — людей убивать, но... Господь простит мое прегрешение! — И он засунул снаряд в пушку...

На поддержку «Нанивы» и «Такачихо» подходили легкие крейсера адмирала Уриу: «Ниитака», «Цусима» и «Чихайя», потом с севера, закончив погоню, вернулись к «Рюрику» броненосные силы Камимуры, в отдалении зловеще подымливали миноносцы...

Вахтенная служба японцев точно отметила для истории время, когда

«Рюрик» сделал последний выстрел: было 09.53.

К этому времени из офицеров «Рюрика» остались невредимы: мичман барон Кесарь Шиллинг, прапорщик запаса Рожден Арошидзе, младшие механики Альфонс Гейне и Юрий Маркович, чудом уцелел и старый шкипер Анисимов. Лейтенант Иванов 13-й устроил среди офицеров, здоровых и раненых, краткое совещание:

— Взорваться уже не можем. Штурман Салов клянется, что бикфордов шнур был в рубке, но там все разнесло. Был запас шнура в румпельном отсеке, но там вода... Значит, — сказал лейтенант, — будем топиться через кингстоны.

— Сработают ли еще? — заметил старший механик Иван Иванович Иванов, тяжко раненный. — Тут так тряслось, как на худой телеге. К тому же, господа, ржавчина... сколько лет!

«Никита Пустосвят» сразу выступил вперед:

— Я здоров как слон, меня даже не оцарапало. Сила есть, проверну штурвалы со ржавчиной. Доверьте эту честь мне!

— Благословляю, барон, — согласился Иванов 13-й.

Шиллинг спустился в низы, забрав с собой Гейне с Марковичем, чтобы помогли ему в темноте разобраться среди клапанов затопления. «Рюрик» не сразу, но заметно вздрогнул.

— Пошла вода... господи! — зарыдал Иванов-механик.

— Птиц выпустили? — спросил Иванов 13-й.

— Да, — ответил ему Панафидин...

Камиура выжидал капитуляции «Рюрика». Заметив, что русские не сдаются и топят крейсер через кингстоны, он впал в ярость, велев продолжать огонь. Очевидец писал: «Это были последние выстрелы, которые добивали тех, кто выдержал и уцелел в самые тяжкие минуты боя, а теперь смерть поглощала их буквально в считанные минуты до конца его». Именно в эти минуты Солуха потерял лекаря Браунштейга: «Осколком ему разорвало живот, кишечник выпал, а другим осколком раздробило правое бедро. Испытывая страшные страдания, он, как врач, сознавал всю безнадежность своего положения и просил меня не беспокоиться о нем:

— Я хочу умереть на «Рюрике» и вместе с моим «Рюриком»! Вы же спасайте других, кого еще можно спасти...» Почти сразу был повержен осколком и сам Солуха.

— Ну, все! — крикнул он. — Это ужасно... не ожидал... Матросы обмотали доктора пробковым матрасом, наспех перевязали, как куклу, и швырнули далеко за борт:

— Ничего! В воде отойдет скорее...

Панафидин растерянно спросил Арошидзе:

— Неужели конец? Что нам делать?

— Спасайся кто может... таков приказ. Вах!

— Чей приказ?

— Не знаю. Но кричали с мостика... Прыгай. Вах!

На верхней палубе страшно рыдал механик Иванов:

— Ну хоть кто-нибудь... застрелите меня! Я ведь не умею плавать. Да не толкайте меня, я все равно не пойду за борт. Мне все равно. Лучше остаться здесь...

Рыдающий, поминая свою жену, он удалился в каюту, закрылся на ключ изнутри, и больше его никто не видел.

— За борт! — кричал с мостика Иванов 13-й. — Выносите раненых... разбирайте настилы палуб... всем, всем — за борт!

«Видя все это, — писал А. Конечников, — я пошел исповедовать умирающих. Они лежали в трех палубах по всем отсекам. Среди массы трупов, среди оторванных рук и ног, среди крови и стонов я стал делать общую исповедь (то есть для всех одну!). Она была потрясающа: кто крестился, кто тянул ко мне руки, кто, не в состоянии двигаться, смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными слез... картина была ужасная... Наш крейсер медленно погружался в море...»

— За борт, за борт! — громыхал мегафон с мостика.

Безногие и безрукые, калеки лезли по трапам, крича от боли. В море летели белые коконы матросских коеок, пробковые матрасы которых способны минут сорок выдерживать на воде человека, а потом они тонули... Чтобы уйти от града шимозы, экипаж сыпался в море иногда гурьбой, по несколько человек сразу, при этом матросы держались за руки, словно дети в хороводе... Панафидин обалдело наблюдал, как суетно снимает с себя штаны «Никита Пустосвят», оставаясь в нежно-фисташковых кальсонах, украшенных кружевными фестончиками.

— Чего глядишь? — орал барон. — Прыгай...

Панафидин показал ему обезображеные руки:

— Видишь? Мне с такими руками не выплыть.

— Жить захочешь, так поплыешь... за мной!

Мимо Панафидаина мелькнули роскошные кальсоны, и барон рыбкой ушел в воду. Тут же сбоку подбежал Николай Шаламов, он схватил мичмана в охапку и увлек его в бездну... Японцы тщательно фиксировали свои наблюдения. В 10.20 «Рюрик» стал ложиться на левый борт, и лишь тогда прекратилась стрельба. Корма крейсера уходила в шипящее, как

шампанское, море, при этом круто обнажился его ярко-красный таран, и в 10.30 корабль с грохотом перевернулся кверху килем.

Двенадцать минут длилась агония. Наконец крейсер выпустил из отсеков воздух — с таким шумом, будто вздохнул смертельно усталый человек, и быстро исчез под водою.

— Ура! — закричали плавающие матросы. — Ура, братцы...

«Ура!» — кричали ему, когда он родился.

«Ура!» — кричали ему, когда он уходил из жизни...

Близким разрывом снаряда Панафицина отнесло в сторону от Шаламова, и голова матроса затерялась среди множества голов, которыми было усеяно море, словно кто-то раскидал здесь сотни мячей. Странное дело: в воде было очень хорошо! Панафицин испытал громадное облегчение от морской прохлады, словно попал в ванну после длинного трудового дня, и он почти радостно отдался этому всеобъемлющему блаженству.

Сначала мичман плавал, держась за койку, потом уступил ее обессиленному матросу, который задыхался от газов шимозы, попавших в его легкие. Кто-то звал издалека:

— К нам, к нам... Сергей Николаевич! Сюда...

Но мичман видел, что кусок палубного настила с торчащими болтами, за который держались человек десять, был так мал, что ему не за что уцепиться, и, перевернувшись на спину, он отдался во власть сильного течения. Иногда вскидывая голову, Панафицин смотрел в сторону японских крейсеров, недоумевая: «Почему не идут? Теперь-то им чего бояться?..» Но потом подумал, что, наверное, этой соленой купелью адмирал Камимура завершает акт самурайского мщения «Рюрику» за его доблестное сопротивление... Где-то слышался крик человека:

— Адрес! Запомни мой адрес...

Ясно: кто-то прощался с жизнью, умоляя друзей о последней воле на этом свете. А свет был велик, и солнце стояло в зените, обжигая своими лучами, бьющими почти вертикально. Панафицин расстегнул брюки, и они нехотя потонули под ним. Труднее было избавиться от тесного кителя, но и китель поехал нагонять брюки в темной таинственной глубине. Однако долгое напряжение битвы, все пережитое за эти часы ослабили организм, и в голову полезли всякие гадостные мысли, сковывающие волю к

сопротивлению. Думалось о недостижимости дна, об акулах, хватающих пловцов за ноги, о том, что никогда ему не увидеть «Панафидинский летописец» в печати, а умирать в 22 года тяжко... Энергичным рывком, всплеснув воду, мичман перевернулся на живот, чтобы плыть ближе к людям, но вдруг ощутил, что сил не осталось, каждый замах руки давался с трудом, словно он передвигал тяжеленные мешки. И тут вспомнились птицы, которые так и не покинули кают-компании крейсера, вспомнилась почему-то и красивая женщина, пившая однажды лимонад в Адмиральском саду...

— Люди! — закричал он, но ответом ему было молчание.

Как навигатор, мичман уже понял, что попал в струю течения, каких у Цусими множество, и его относит куда-то в сторону, обрекая на одиночество. От этого ему сделалось страшно. А вскоре Панафида занесло в длинную полосу грязной пены, выброшенной из отсеков «Рюрика»; эта пена была густо перемешана со слоем Ъ пористых, как вулканическая пемза, кусков шлака, уже отработанного в топках котлов. И так велико было одиночество, что мичман даже обрадовался этой грязной пене, даже этим легковесным кускам корабельного шлака...

— Люди-и! — звал он. — Где же вы... лю-юди-и... И тут впереди что-то мелькнуло — обнадеживающее. Панафидин, насилия ослабленную волю к жизни, поплыл дальше, не веря своим глазам. Среди кусков шлака плавала его волшебная виолончель — великолепно звучавший «гварнери». Это было чудо, но чудо свершилось... Панафидин схватился за ручку футляра с такой истовой верой, будто ему сейчас нести виолончель к новым берегам, к новой лучезарной музыке...

Солнце беспощадно обжигало затылок мичмана, который припал лицом к шершавому футляру инструмента:

— Ну, вот... снова вместе... теперь до конца!

Виолончель с большим запасом воздуха хорошо держала на воде, а крепкие защелки футляра не давали воде просочиться внутрь. Панафидин вспомнил, что часы остались в нагрудном кармане кителя и сейчас, наверное, еще отсчитывают время своего погружения, пока не коснутся далекого грунта. По солнцу же было уже часа два-три, если не больше.

Он заметил, что японские крейсера уже начинали вдалеке спасение рюриковцев, между ними фронтально шли миноносцы.

— Эй, аната... аната! — слабо крикнул Панафидин.

Он потерял счет времени, когда перед ним (и нависая над ним) вырос, словно карающий меч, кованый форштевень японского крейсера. «Идзумо», — прочел он на его скеле, но ошибся в иероглифе: это был

«Адзумо». С борта легко выкинули откидной трап. Матрос в белых гетрах, стоя на нижней площадке, у самой воды, с улыбкой протягивал свою руку:

— Русикэ... русикэ, — звал он почти ласково.

Панафицина вытянули на трап, и в следующее же мгновение форштевень «Адзумо» сокрушил под собой хрупкое тело виолончели, сверкнувшей из разбитого футляра благородным лаком.

Японские матросы вывели мичмана на палубу — под руку, плачущего. Это был плен, страшный, унизительный плен, всегда оскорбительный для каждого честного человека...

ПРИКАЗ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ № 231

Высочайше утвержденным 21 марта положением Военного совета определено: Установить отпуск в год на каждого военнопленного на чернение, смазку и починку обуви: на чернение двух пар сапог 15 коп., на смазку сапог в течение года 60 коп., на починку белья 20 коп., на стирку простынь, наволочек и полотенец — 60 коп., на покупку мыла для бани, мытья рук и стирального белья — 90 коп... А всего по 3 руб. 35 коп. на каждого пленного в год с отнесением вызываемого расхода на военный фонд...

О чем и объявляю по военному ведомству для всеобщего сведения и руководства.

Подпись: Военный Министр
Генерал-адъютант Сахаров.

Возвращение во Владивосток напоминало траурную процессию, только без музыки и факельщиков. Общая убыль в экипажах крейсеров составила 1178 матросов и 45 офицеров. «Таких потерь в личном составе не было еще ни в одной морской битве после Наварина (1827 года), и, в частности, наш флот со временем Александра I еще ни разу не нес подобного урона; действительно, — отмечали историки флота, — нужно быть железными существами, чтобы выдержать такой адский бой...»

— Андрей Порфирьевич, — распорядился Иессен, трети сутки не покидавший мостики «России», — я думаю, что все «результаты» боя мы

погребем в море... Нет смысла удручать жителей Владивостока этим страшным зрелищем.

Мертвый кавторанг Берлинский еще лежал на мостице под Андреевским флагом, и каперанг Андреев кивнул на мертвеца:

— А его... тоже за борт?

— Оставьте. Хоть одного предадим земле...

Сразу после отрыва от Камимуры в экипажах крейсеров возникло нервное волнение среди матросов:

— Куда идем? Спешит будто на ярмарку.

— В самом деле, почему бросили «Рюрика»?

— Грех, братва! Грех на душу взяли.

— Да, скверно. Но, значит, так надо.

— А мне? Не надо жить, што ли?

— Молчи, шкура! Много ты понимаешь...

Только теперь сказалось прежнее напряжение. На мостице «Громобоя» почти замертво рухнул каперанг Дабич, и его отнесли на операционный стол. По долгу службы бодро держались одни врачи. Но среди людей начались обмороки, рвота, даже истерики.

Другие же, напротив, обрели нездоровую возбудимость, хохотали без причины, не могли уснуть, ничего не ели. Жарища стояла адовая, а рефрижераторы были разбиты. Отсутствие льда увеличивало смертность среди раненых. С большим трудом механики наладили «ледоделательную» машину, которая сначала давала холодную воду... Крейсера с натугой выжимали 13 узлов. Без тяги дымовых труб усилилось несгорание углей в топках. Вовсю ревели воздуходувки компрессоров, отчего возникала масса искр, снопами вылетавших из покалеченных труб, и эти искры золотым дождем осыпали шеренги мертвецов, сложенных на ютах, обшитых в одинаковые парусиновые саваны.

Был тих, неподвижен в тот миг океан,

Как зеркало, воды блестели.

Явилось начальство, пришел капитан,

И «вечную память» пропели...

По наклонным доскам, под шелест кормовых знамен, убитые покидали свои корабли, погружаясь навеки в иную стихию.

Напрасно старушка ждет сына домой.

Ей скажут — она зарыдает,

А волны бегут и бегут за кормой,
И след их вдали пропадает...

Отгремели прощальные салюты, матросы надели бескозырки, и все было кончено. Андреев отмерил 15 капель валерьянки.

— Прибраться в палубах! — стал нервничать он.

— Во, псих... уже поехал, — говорили матросы.

Боцманские команды лопатами сгребли в море остатки безымянных человеческих тел, комки бинтов и груды осколков. Там, где лилась кровь, остались широкие мазки белой извести. Надстройки крейсеров были изъедены лишаями ожогов — в тех местах, где шимоза выжгла краску и оплавила металл...

— Боюсь, что во Владивостоке нам предстоит пережить тяжкие минуты, — заметил контр-адмирал Иессен.

— Да, Карл Петрович, оправдаться будет нелегко...

Телеграфные агентства России заранее оповестили Владивосток о битве у Цусимы, и все жители города собрались на пристани, издали пытаясь распознать степень разрушения крейсеров, желая разглядеть на мостиках и палубах своих родственников. В торжественном молчании, не спеша добирая последние обороты винтов, «Россия» и «Громобой» вплывали в Золотой Рог, осиротелые — уже без «Рюрика», — и в громадной толпе людей слышались горькие рыдания. Корреспонденты сообщали в Москву и Петербург: «До последнего момента не верилось, что „Рюрика“ нет. Ужасно было состояние находящихся здесь семейств некоторых офицеров... между ними жена и дочь командира „Рюрика“ Трусова, жены старшего механика Иванова и доктора Солухи».

В руках встречающих мелькали театральные бинокли:

— Жив! Вон он... Танечка, Танечка, видишь?

— Я вижу, мама. Но это не он, это другой.

— Да нет же! Ты не туда смотришь...

Вдова капрранга Трусова явилась на пристань уже в трауре, ее дочь, гладко причесанная курсистка, уговаривала:

— Мама, ну не надо... уйдем. Не нужно видеть им эти проклятые крейсеры. У тебя еще сын... сын в Порт-Артуре!

Портовые баржи, обтянутые поверху тентами, окружили крейсера, начиная принимать раненых для своза их на берег. В ситцевых платочках, держа узелки с гостинцами, вглядывались в крейсера матросские жены. Тихо плакали:

— Наверное, моего нету. Он был такой... бедовый.

— Валя! Иди сюда... не крутись. Больше нет у нас папы.

— А где он, папка-то?

— Там... — И махали руками, как в пропасть.

Под пение горнов на палубу флагманской «России» тяжко поднялся адмирал Скрыдлов, принял рапорт от Иессена.

— Я знаю, — сказал ему Иессен, — что сейчас я буду подвержен всяческим инсинуациям по поводу моего отведения крейсеров. Газеты станут порочить меня за то, что мы оставили «Рюрик», а сами ушли во Владивосток... Заранее предупреждаю: я буду требовать военного суда над собой!

Моральной стороны дела Скрыдлов не касался:

— Но по законам войны на море, к сожалению, всегда очень жестоким, вы поступили правильно... Кто осмелится обвинить вас в чем-либо? Когда погибал миноносец «Стерегущий», кавторанг Боссе тоже отвел свой «Решительный», дабы избавить флот от лишних жертв. Покойный адмирал Макаров не осудил его.

— Благодарю, что вспомнили, — отвечал Иессен...

Из рапорта контр-адмирала К. П. Иессена: «В заключение считаю своим долгом засвидетельствовать о доблестной службе и преданности воинскому долгу офицеров и нижних чинов моего отряда крейсеров. Это были железные существа, не ведавшие ни страха, ни усталости. Вступив в бой прямо ото сна, прямо с коек, без всякой перед тем пищи, они в конце пятичасового сражения дрались с тою же энергией и с такой же великолепной стойкостью, как и в самом начале боя...»

Впечатления от пленных с «Рюрика» японцы изложили в интервью для английских газет: «Вообще, — говорили они Сеппингу Райту, — хотя русские были очень спокойны и деликатны, но держали они себя с большим достоинством, даже с оттенком некоторой надменности по отношению к нам, победителям...»

Панафидин появился на палубе «Адзумо» как раз в тот момент, когда японские унтер-офицеры пытались пересчитать пленных. Матросы, еще мокрые, израненные, не понимали, чего хотят от них эти «япоши», и Панафидин помог победителям:

— Ребята, постройтесь вдоль борта, как на «Рюрике»...

Японский врач наложил перевязки на его обгорелые руки, мичману

выдали короткое кимоно (хаори). Всех офицеров отводили в особую каюту, где стоял накрытый для угощения стол, поражавший изобилием вин, заморских фруктов и коробками папирос. Минуя длинный коридор, Сергей Николаевич заметил много пустых бутылок, и в этот момент поверил, что писали в газетах: перед боем японцы, обычно люди трезвые, пьют непростительно много... В каюте Панафидин застал прапорщика Арошидзе и мичмана Шиллинга, который по-прежнему оставался в своих роскошных кальсонах. «Никита Пустосвят» спросил его:

— Чего тебя подхватили позже? Мы уже обсохли.

— Отнесло течением. Думал, вообще не заметят.

— А-а, ну садись с нами. Выпьем...

Панафидин выпил виски без всякой охоты. Сообща офицеры стали перебирать в памяти уцелевших — кто кого последний раз видел и где. Арошидзе вдруг показал глазами направо. Панафидин разглядел в борту круглую, почти аккуратную дырку калибром в 203-мм, через которую вошел русский снаряд. Арошидзе перевел глаза влево. Там, в переборке, была такая же дырища — результат попадания русского снаряда.

— Били точно, да что толку? — хмыкнул Шиллинг.

— Очевидно, — догадался Панафидин, — снаряд выскочил из другого борта, проделав еще дыру, и разорвался над морем.

— Значит... — помрачнел Арошидзе и замолк.

— Значит, — договорил за него «Никита Пустосвят», — эти взрыватели замедленного действия, изобретенные генералом Бринком, могут только смешить японцев...

Вечером, когда их позвали к ужину, дырки были уже заделаны деревянными втулками, точно подогнанными под калибр русских снарядов, и эти незаметные раны в корпусе своего крейсера японцы закрасили: шито-крыто, никаких следов.

— Ловко работают, — удивился барон Шиллинг.

Утром они увидели крейсер «Нанива» из отряда адмирала Уриу, на котором оказались доктор Солуха и механик Маркович. Панафидин удивился, что иеромонаха Конечникова самураи держат на особом положении... Кесарь Шиллинг пояснил:

— У него такая выразительная физиономия, что самураи испытывают к нему почти родственную симпатию...

Иеромонах был представлен командиру «Адзумо» — кавторангу Фудзи. Якут, естественно, поклонился ему. Но Фудзи тут же указал на портрет императора Муцухито:

— Прежде поклонитесь ему... Куда вы шли?

На его груди, средь множества орденов, иностранных и японских, блестал русский орден Анны 2-й степени. Задав вопрос, Фудзи предложил священнику гаванскую сигару из коробки. После чего якут заговорил с ним по-английски:

— Я вряд ли могу ответить на ваш вопрос, ибо я некомбатант, лицо духовного культа и к навигации не имел отношения. Фудзи с подозрением пригляделся к якуту:

— Некомбатант? Я бывал в России и знаю, как выглядят русские священники. У них длинные волосы и большие бороды.

— Я из якутов, — отвечал отец Алексей, — а мои волосы и моя бороденка сгорели в бою, как и этот подрясник.

— Азия — для азиатов... не так ли? — засмеялся Фудзи и сказал, что русских надо вытеснить за Урал. — Вам, якутам, лучше благоденствовать под скипетром нашего микадо...

С этими словами он открыл платяной шкаф своей каюты. Это было совсем уж нелепо, но факт: Фудзи облачил православного иеромонаха в мундир японского офицера. На прощание сунул в карман Конечникова пачку бумаги, назначение которой каждому понятно. Этот японский пипифакс — спасибо за него Фудзи! — позже пригодился для другого дела, более важного...

На подходах к Симоносеки японцы пересадили с миноносца на «Адзумо» шкипера Анисимова. Старик на восьмом десятке лет молодцевато, как юнга, поднялся по зыбкому штурм-трапу.

— Все сметено могучим ураганом, теперь мы станем мирно кочевать... — кричал он рюриковцам еще издали.

В гавани Сасебо было тесно от кораблей. Здесь рюриковцы увидели броненосцы Того и крейсера Камимуры. Большие порталевые краны ловко выдергивали из их башен поврежденные орудия, словно гнилые зубы из десен, подавали на башни новенькие стволы. Японцы, умевшие хранить свои секреты, на этот раз явно сплоховали. Пленные все видели своими глазами:

— Попали мы, братва, как раз в капитальный ремонт.

— Видать, им тоже от нас досталось.

— Да, не все нам... вон какие пробоины!

— Это не наш калибр: это артурцы наделали...

Пленных с «Адзумо» высадили на берег, где они встретили Иванова 13-го, механика Альфонса Гейне, штурмана Салова и доктора Солуху. Всех раненых отвезли в госпиталь, а здоровым велели построиться. Каждому офицеру была выдана пачка папирос и веер. Почти все были облачены в

хаори, лишь один «Никита Пустосвят» оставался в кальсонах, ибо японцы не нашли халата для его гигантской фигуры. Черт дернул прапорщика Арошидзе за язык:

— Вот пусть барон и открывает наш парад победы...

Другой бы обиделся, а Кесарь Шиллинг воспринял этот совет вполне серьезно и занял место во главе колонны — с папиросой в зубах, с веером в громадной ручице. Было еще очень рано, но вдоль улиц Сасебо уже толпились горожане, молча наблюдая, как перед ними тащится говорливая колонна пленных, ведомая великанином в кружевных кальсонах нежного цвета. И уж совсем было непонятно жителям, почему среди русских пленных затесался босяк с лицом азиата, но в мундире офицера японского флота, поверх которого красуется христианский крест.

Пленных разместили в казармах на окраине (офицеров отдельно от матросов). Иванова 13-го японцы просили составить списки раненых и здоровых, что он и сделал. Переводчицей была молоденькая Цутибаси Сотико, которую многие знали по прежней развеселой жизни во Владивостоке. От нее же выяснили, что в Сасебо не задержат — всех отправят в Мацуями.

— Хороший город-курорт, — щебетала Сотико.

— А, был я там, — мрачно возвестил старик Анисимов. — Ничего городишко, только у нас в Тамбове лучше...

Японцы дали русским расслабиться, обжиться в казармах, потом начали таскать на допросы. Легче всех отбоярился иеромонах Алексей, который сказал, что, кроме молитв, ничего не знает. Зато из других офицеров японцы душу вытрясли. Перед Панафидиным они раскладывали карты и схемы Владивостока, просили рассказать о готовности окрестных фортов.

Иванов 13-й велел передать в матросский барак:

— Пусть молчат, если начнут спрашивать. Ушами хлопай, знать не знаю, ведать не ведаю — милое дело...

Ни бумаги, ни карандашей, ни газет японцы пленным не давали. Но кормили хорошо и даже пытались угодить русским национальным вкусам. Вечером, гуляя перед своим бараком, Панафидин встретил Николая Шаламова и ужасно ему обрадовался. Рассказал, что до сих пор не может понять, как оказалась в море его виолончель, которая и спасла ему жизнь.

— Так это я ее выкинул, — ответил Шаламов.

— Ты?

— Ну да. Вы же сами говорили, что, ежели придет амба, так первым делом надо спасать вашу бандуру... Вот я и решил угодить вашему

благородию. Взял ее и швырнул за борт.

— Ладно. Теперь давай думать, как бежать отсюда.

— Так это проще простого. Тока сухарей поднакопить надо. Хорошо бы еще — огурцов. Без огурцов рази жизнь?

Но сначала решили осмотреться в Мацуями.

— Сасебо уже видели... дрянь! Может, в Мацуями интереснее, — рассуждал Шаламов, охотно покуривая мичманские папироски. — А с другой стороны — когда еще в Японии побываем? Надо пользоваться случаем, коли сюда заехали...

Мацуями — городок с гаванью на острове Сикоку, что расположен в южной части Японии (префектура Эхиме). Японский писатель Синтаро Накамура в своей книге «Японцы и русские» писал, что жизнь военнопленных в лагерях Мацуями «была очень вольной: они играли в карты, шахматы, пели, плясали... Некоторые из них держали даже певчих птиц... В школах их принимали радушно, угождали чаем с десертом... Пленные часто отправлялись на серные источники Дого близ Мацуями... После купаний они приятно проводили время за пивом...»

У меня нет оснований не доверять автору, другу нашей страны, но по мемуарам военнопленных я знаю, что их моральное состояние было отвратительным. Никакие льготы и поблажки, узаконенные решением Гаагских конференций, не могли избавить русских людей от чувства своего позорного положения. Плен есть плен, и тут не до японской экзотики. «Жизнь в пленау, — писал доктор Н. П. Солуха, — нравственно очень тяжела, и, несмотря на то что я ни в чем не могу упрекнуть японцев в их обращении с пленными, я постоянно мечтал о том счастливом дне, когда я буду свободен...» Однако через Красный Крест доктор отправил жене во Владивосток открытку, чтобы не ждала его скоро, ибо он по своей воле задержится в Мацуями.

— В чем дело, док? — удивился Иванов 13-й. — Вы же некомбатант, как мы, грешные. Вам дорога на родину открыта.

— Дорогой Константин Петрович, — отвечал Солуха, — я все-таки врач и не могу покинуть своих раненых. Мало того, мой здешний коллега, японский профессор Кикуци, был ассистентом профессора Брунса в клинике германского Тюбингена, а потому я, ассистируя ему, могу многому поучиться... Нам, врачам, никогда не следует отмахиваться от чужого

опыта!

С ним было все ясно: Солуха — человек долга, и потому пусть жена подождет. По законам войны все некомбатанты (врачи, священники, вольнонаемные, а также калеки) имели право на депортацию. Впрочем, японцы, чтобы избавить себя от лишних едоков, охотно отпускали на родину и тех офицеров, которые давали им «честное слово», что они по возвращении домой не станут более участвовать в этой войне...

Очаровательная Цутибаси Сотико предупредила Алексея Конечникова, что его документы уже выправлены в конторе французского консула и скоро он, как некомбатант, может ехать на родину. Якут заартачился, говоря, что у него, как и у доктора, тоже есть свой долг перед паствой. Но тут Иванов 13-й многозначительно подмигнул ему, чтобы он не упорствовал. Конечников затих, сидя на своей циновке, разложенной на полу. Когда же Сотико ушла, он спросил лейтенанта:

— Чего вы мигали мне, Константин Петрович?

Тут иеромонаха обступили офицеры с «Рюрика».

— А ума-то у вас нету, — говорили они ему. — Вам обязательно надо ехать. И чем скорее в Петербурге узнают подробности нашего боя, тем лучше для всего флота российского...

Тайком от японцев офицеры устроили меж собой совещание. Было решено известить столичное Адмиралтейство и Артиллерийский ученый комитет о своих наблюдениях, вынесенных из самого пекла битвы; о том, что половина артиллерии на крейсерах не была выбита японцами, а попросту разрушилась сама по себе при залпировании на дальних дистанциях боя...

— Наконец, — внушили иеромонаху, прося все запомнить, — взрыватели генерала Бринка оказались бессильны перед японской броней. Снабдить снаряды такими взрывателями мог только человек, желающий уничтожить флот России как боевую силу государства. Фугасное действиеказалось ничтожно, ибо в снаряде много металла, зато очень мало взрывчатки. Иначе говоря, наш флот превратили в красиво выкрашенную игрушку для парадов, а боевое значение флота свели к нулю...

— Надо записать, — волновался якут, — так я всего не запомню. Если я с такими выводами появлюсь в Питере, мне просто надают по шее и выставят за ворота, как самозванца... Нет уж! Вы, господа хорошие, все это изложите на бумажке, и пусть каждый из вас подпишется. А я отвезу.

Огрызок карандаша нашли. Встал насущный вопрос: где взять бумаги? Японцы запрещали пленным иметь бумагу. Тут иеромонах пошарил в карманах роскошного мундира, подаренного ему Фудзи, и достал пачку

разноцветного пипифакса, которым не спешил пользоваться.

— Это мне Фудзи сунул, еще на «Адзумо», — пояснил якут. — Ничего страшного. Писать можно и на пипифаксе.

— Не возбраняется! — поддержал его «Никита Пустосвят», по-прежнему щеголяя кальсонами (в ожидании, когда японцы сошьют для него на заказ хаори невероятных размеров). — Бумага есть бумага. Не все ли равно, на какой бумаге писать?

— Вы забыли, барон, что читать... читать-то как?

— Читают так, как пишут, — огрызнулся Шиллинг.

С бароном согласились. Конечно, все делалось втайне, чтобы японцы ничего не узнали. Им ведь невыгодно (и даже опасно) любое разоблачение слабостей русского оружия — именно сейчас, в канун выхода с Балтики 2-й Тихookeанской эскадры адмирала Зиновия Рожественского... Конечников вспоминал: «Составляли донесение в постели, я лежал справа от Иванова, барон Шиллинг слева, они были караульными. При появлении часового японца старались всеми путями замаскировать свое занятие. К четырем часам утра наше сообщение было готово...»

— Ну а что дальше? — спросил Панафидин. — Как эту нотацию скрыть от японцев? Хорошо, если бы вы были ранены. Тогда бумажку легче всего упрятать под перевязкой.

— Сережа, — возмутился якут. — Не один вы воевали, у меня тоже ранение найдется. Только я не трезвоню о нем...

Он размотал бинт на ноге и показал свою рану.

— Побольше ваты, — советовал Солуха. — Я вам забинтую как надо. Давайте сюда ваш дурацкий пипифакс...

Николай Петрович промыл рану, между ватой спрятал секретное донесение и очень добротно перевязал ногу заново.

— Ну... господи, помоги! — взмолился Конечников.

На следующий день его, как отъезжающего на родину, изолировали от офицеров. «Грустно было, — вспоминал якут, — расставаться со своими, тем более что мне при прощании запретили даже с ними разговаривать. Под конвоем японца отвели меня на пристань и посадили на маленький пароходик, и только в пути я узнал, что он идет в Нагасаки». Мундир у него отобрали, взамен напялили пиджак, подарили кепку. «Этого грустного путешествия мне не забыть во всю жизнь: среди чужих людей, не говорящих даже по-английски, рядом с четырьмя гробами русских матросов, я, священник, сидел в кепочке...»

Было два тщательных обыска — в Сасебо и в Нагасаки. Конечникову велели развязать рану. Он развязал, а вату держал в руке. Ему сказали, что

вата уже грязная, надо бы заменить.

— Вата еще чистая, — ответил якут по-японски...

Лагерь в Мацуями был размещен в сараях барабанного типа, сколоченных из досок; потолков не было, а крыши соломенные, и, когда задувал ветер с моря, японская солома тоскливо шуршала над головами спящих, навевая печальные сны о России, где соломы тоже хватало. Окна были заклеены бумагой. Для офицеров поставили кровати, а матросы спали на земляном полу. Завтрак начинался с чая, к которому давали хлеб, яйца и масло. Обед состоял из трех блюд, очень дурно приготовленных, но обязательно с мясом, что удивляло пленных, ибо они знали, что сами-то японцы сидят на рыбе. Армейские чины, попавшие в плен при Тюренчене, оставались в своих сапогах, а морякам, имущество которых погибло с кораблями вместе, японцы выдавали соломенные сандалии, в каких ходили крестьяне.

— Вообще-то, — рассуждал «Никита Пустосвят», облаченный в новое хаори, — нам с этими Гаагскими конференциями здорово повезло. Самураи из шкуры вон лезут, только бы доказать миру, что они приобщились к достижениям европейской гуманности... Сережа, а Вольтер у них был? — спросил барон.

— Не знаю, — отвечал Панафидин, выковыривая желток из яйца. — Наверное, если не Вольтер, то что-нибудь похожее на Вольтера японцы в своей истории имели. Вряд ли найдется нация, которая не дала бы миру хоть одного мыслителя!

Пленных рюриковцев навестили (вроде экскурсии) молодые мичманы и гардемарины японского флота. Они сразу выставили несколько бутылок коньяку и виски «банзай». Настроены гости были радостно и радостными голосами сообщили, что крейсера из эскадры Порт-Артура завершили свою трагическую судьбу:

— «Аскольд» разоружился в Шанхае, «Диана» интернирована в Сайгоне, а ваш крейсер «Новик» зашел в Кью-Чао, где и бункеровался. Мы его потеряли из виду, а он тем временем обогнул всю Японию со стороны океана, и мы настигли его уже на Сахалине. «Новик» взорвался, как и ваш «Варяг», а матросы ушли в тайгу... Нам, — говорили гости, — было очень жаль топить ваш героический «Рюрик», но вы нас очень обозлили своим сопротивлением. Извините, пожалуйста.

— На этот раз извиняем, — отозвался Иванов 13-й.

— Зато на втором галсе, — грозно произнес «Никита Пустосвят», — постараемся быть более осмотрительны. И тогда уж вы извините нас, если мы поменяемся местами, как в вагоне поезда, чтобы из окна не слишком-то вас задувало холодом...

Вспоминая о бое крейсеров у Цусимы, японцы точно называли места своих попаданий, перечислили все пробоины на «Рюрике» и свое знание тут же вежливо оправдали:

— У нас были отличные дальномеры системы Барра и Струда, каких вы не имели. Це огорчайтесь: сейчас эскадра вашего адмирала Зиновия Рожественского, готовая тронуться в путь, уже поставила на мостиках подобную же оптику...

На прощание японцы оставили в бутылках недопитый коньяк и пачку газет, в которых журналисты Токио с большим уважением описывали геройское поведение «Рюрика». Офицеры просили Панафицина переводить эти статьи, столь лестные для их самолюбия, но мичман оказался толмачом неважным:

— Я не все понимаю. Пишут, что мы дрались отважно. А расстрел нашего экипажа в воде оправдывают разумным подходом к делу, который оказался в бою выше норм человеколюбия...

Вечером Панафидин встретился с Шаламовым на условленном месте — под столбом, на котором висело объявление: «Нельзя посторонникам ходите отсюда к северу, югу и дальше». Наверное, это писалось на уровне знаний русского языка обворожительной переводчицы Цутибаси Сотико...

— Ну так что будем делать дальше? — спросил Панафидин.

— Да я согласен, — отвечал Шаламов, охотно беря папиресу у мичмана. — Мне с вами-то бежать способнее. Вы же человек у нас образованный. Даже по-японски учились.

— К сожалению, по шпаргалкам. Экзамен-то в институте выдержать легко, зато трудно сдавать экзамены, когда вопросы задает не профессор, а сама жизнь... Привыкли мы на Руси все делать шаляй-валай, лишь бы поскорее да понаваристее... Знаешь ли ты, братец, где мы с тобой находимся?

— Так точно — в Мацуями.

— Допускаю. А где Мацуями?

— Ну, в Японии.

— Вот именно, а Мацуями на острове Сикоку...

Следовательно, бежать они могли только морем, предварительно стащив у рыбаков фунэ — лодку или шхуну с парусом и компасом.

Симоносекский пролив загорожен брандвахтой, значит, им надобно обогнуть Кю-сю с юга, а там — прямым вестовым курсом — можно выбираться прямо к Шанхаю.

— Сдохнем! — заявил Шаламов, прежде подумав.

— Без запаса воды, конечно, сдохнем. Но что-нибудь придумаем. Лишь бы оторваться в море — подальше от Мацуями.

Беседуя, чуть отошли от столба и сразу же напоролись на штык часового, охранявшего лагерь.

— Матэ, омайя! — заорал он. — Матэ, омайя!

Пришлось вернуться обратно к столбу.

— Чего он хоть вопил-то нам? — спросил Шаламов.

— В таких случаях кричат одно: «Стой, кто идет?»

— Да я иду! — обозлился Шаламов. — Русский матрос идет. Нешто ж мне эдакой сопли слушаться? Бежим...

О замышлением побеге Панафидин рассказал в офицерском бараке одному только старику Анисимову.

— Не советую, — отвечал титулярный советник. — Японский язык знать можно, но глаза на японский манер не перекосишь. В этом-то халатике до колена хорошо только из сумасшедшего дома бегать, а в Мацуями за версту видеть, что русский идет. На первом же углу за цугундер схватят и...

— Так не сидеть же мне тут! — возмутился мичман.

— Сиди, коли попался. Если бы из Японии так легко бежать было, наверное, уже все мы в России чай пили...

За бараками лагеря начинались густые заросли бамбука, даже не огражденные забором. А что там, за этой бамбуковой рощей, Панафидин не знал... К ночи стало свежо. Чистые звезды приятно помигивали с небес, и невольно думалось, что эти же звезды видят сейчас во Владивостоке. Из матросского барака проливалась над Мацуями сердечная песня:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку.
И крепко же, братцы...

А в офицерском сарае упивался своим баритоном Шиллинг:

Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит...

Паду ли я...

Утром Панафицина растолкал штурман Салов:

— Вставайте, мичман... тревога! Пока мы тут спали, барон Кесарь Шиллинг убежал. Японцы в панике и прострации...

Впрочем, не прошло и часа, как солдаты гарнизона, гордые оказанной им честью, доставили беглеца в лагерь.

— Да ну! — отмахивался от расспросов барон. — Разве тут убежишь? Не успел я выйти из лагеря, все прохожие набросились на меня, как голодные собаки на мясо...

По лагерю было объявлено, что пленный мичман барон Шиллинг не оправдал доверия японского императора и потому должен отсидеть 10 суток в карцере. В наказание за побег барону не давали бриться, не разрешали убирать в камере. Вокруг лагеря японцы заметно усилили охрану, понаставили везде будок с часовыми. Но бамбуковую рощу по-прежнему не охраняли, как препятствие для русских непреодолимое... Очень хорошо!

Японские ночи — душные, кошмарные ночи. Панафицин не мог спать. Томился, мучился. Переживал былое. Вия теперь отошла куда-то в небытие, совсем ненужная. Но почему-то (знать бы — почему?) снова вспоминалась красота той незнакомки в Адмиральском саду, ее тонкие пальцы, обвивавшие отпотевающий бокал с ледяным лимонадом... «Кто же она? И для кого несет свою неземную красоту?..»

— Сколько у вас гробов? — спросили в Нагасаки.

— Четыре, — отвечал Конечников.

— Значит, еще копать четыре могилы...

Сдав гробы с мертвymi матросами властям Нагасаки, иеромонах Алексей устроил их погребение на русском кладбище в Иносе и десять дней (в ожидании парохода) не снимал с ноги перевязки, скрывавшей донесение рюриковцев. Он писал: «Все это время тайная полиция не оставляла меня ни на минуту, а при отплытии в Шанхай мне дали 35 рублей на билет. К моему несчастью, все китайцы принимали меня за японца...»

В Шанхае он навестил крейсер «Аскольд», у которого из пяти дымовых труб две были срезаны как бритвой, а три зияли скважинами попаданий. Прорываясь из Порт-Артура, крейсер «Аскольд» выдержал

лютейший бой с японцами, а теперь успокоился в доке; ремонт обещал быть затяжным, и потому разоружение «Аскольда» прошло безболезненно для престижа команды. Артурцы встретили священника приветливо, собрали для него деньжат, чтобы он приоделся по-божески. Якут купил себе элегантную «тройку», фасонистый котелок и тросточку, впервые в жизни ощущив себя пижоном. В таком виде он дал интервью для шанхайской газеты, выходившей на английском языке, и, пожалуй, именно в Шанхае прозвучало первое слово правды о жестокой схватке наших крейсеров с эскадрою Камимуры. Это же интервью было перепечатано потом в Москве и в Петербурге, откуда оно пошло гулять по газетам русской провинции...

С помощью французского консула Конечникову лишь осенью удалось устроиться на немецкий рефрижератор, который за «страховые» проценты брался доставить бананы из Манилы во Владивосток. С этого корабля он и ступил на родную землю.

Карл Петрович Иессен переживал трудные времена. Ему приходилось отругиваться от нападок журналистов, обвинявших его в преступном оставлении «Рюрика» (хотя официальная и флотская печать признали его действия правильными). В подавленном настроении он принял Конечникова в гостинице «Европейская», где снимал номер. Терпеливо выслушав мнение о недостатках корабельной артиллерии, Иессен изучил записи Иванова 13-го, изложенные на пипифаксе. Потом сказал:

— Этого вполне достаточно, чтобы осудить наше питерское благодушие. — Иессен, судя по всему, был настроен решительно. — В бою крейсеров, — говорил он, — совместились две крайности: доблесть наших экипажей и позорная слабость боевой техники, в мои которой Петербург уговаривал нас не сомневаться... Какие у вас планы? — вдруг спросил он.

Конечников сказал, что обязался перед товарищами передать все их записи в самые высшие инстанции империи.

— В высшие... Да будет вам известно, что в России легче добиться свидания с преступником, сидящим в тюрьме, нежели получить доступ к высокому начальству. Начальство у нас привыкло общаться только с начальством... У вас есть время?

— Конечно, господин контр-адмирал.

— Тогда задержитесь во Владивостоке, — попросил Иессен. — Выводы пленных офицеров с «Рюрика» я проверю на практике... Это необходимо, чтобы наши головотяпы из щедринского города Глупова не вздумали отмахнуться от этих трагических выводов, вынесенных честными людьми из самой гущи боя крейсеров... На безлюдном острове Русском, в

окрестностях Владивостока, он устроил испытательный полигон, куда свезли отработанные корабельные котлы из лучшей стали, поставили обрезки броневых плит. Карл Петрович созвал специалистов морской артиллерии, пригласил адмиралов, какие были тогда во Владивостоке, и предупредил, что они станут свидетелями опытов, обязанные подписаться под официальным актом испытаний.

— Из боя крейсеров, — сказал он, — я вынес лишь подозрения в несовершенстве наших снарядов. Теперь проверим, насколько убедительны мои подозрения в преступной косности, безграмотности и самоуспокоенности столичных бюрократов...

Позади целей были растянуты парусиновые щиты. Первый же снаряд, выпущенный из пушки в многослойный паровой котел, пробил одну его стенку, рассек вторую и третью, наконец выскочил из котла наружу и, продырявив парусину, только потом соизволил взорваться...

Иессен откомментировал:

— Даже из этого кустарного опыта, — сказал он, — легко понять, почему крейсера Камимуры держались в бою столь уверенно. Японцам заранее были известны все наши просчеты...

«Результаты испытаний, — писал Иессен, — вполне подтвердили мои предположения о совершенной недействительности фугасных снарядов нашего флота в сравнении с японскими». Советские историки подчеркивают правоту Иессена, говоря, что акт о проведении опытов адмирал Иессен справедливо именовал «прямо обвинительным и развертывающим ужасающую картину причин последовательных наших неудач и поражений всей этой войны».

Вечером он принял в гостинице иеромонаха Алексея.

— Вы решили все-таки ехать?

— Да, в Мацуяма я обещал, что доберусь до Питера.

— Воля ваша, — усмехнулся Иессен. — Но я боюсь, что все закончится ерундой... Вас просто сожрут и, наверное, даже костей не выплюнут.

— Но ради понесенных жертв, господин адмирал...

— Ради этих жертв стоит ехать, — согласился Иессен. — Я от души желаю вам не оказаться в пиковом положении. На Руси так бывало не раз со всеми борцами за правду...

Пленные офицеры в Мацуяма продолжали получать свое офицерское жалованье, которое японцы выплачивали им в иенах, заведомо зная, что после войны русское правительство возместит все расходы на пленных. Правда, с иен много не разгуляешься, но, посещая городские магазины и рестораны (что разрешалось), пленные заметно оживили японскую кулинарию и торговлю в лавочках Мацуяма. Мичман Панафидин закупил два отличных окорока, набил целую сумку печеньем, приобрел кулечки с нарядными конфетами — все это к побегу! Когда он с покупками вернулся в лагерь, ему встретилась прелестная Щутибаси Сотико, с которой он пытался поговорить по-японски...

— А что за этой бамбуковой рощей?

— Рисовые поля, — ответила Сотико.

— А дальше?

— Наверное, деревни. Здесь, на острове Сикоку, — охотно рассказывала японка, — живет очень много людей, много рисовых и чайных плантаций. Кажется, именно с Сикоку ваш профессор Краснов вывез кусты нашего чая на Кавказ, и скоро вы будете пить русский чай, не догадываясь, что он японский.

— Должно быть, у вас много и рыбаков?

— Конечно! С чего бы мы жили, если бы не рыба?

— У них хорошие лодки?

— Наверное, если выходят далеко в море...

Николай Шаламов одобрил качество окороков.

— Закуска что надо! — сказал он. — Конфетки тоже вкусные. Вижу, что в дороге не пропадем... Когда бежим-то?

Панафидин все уже продумал.

— Не будем загадывать дня, — ответил он. — Дождемся ночи с проливным дождем. Часовые попрячутся в будки, вот тогда выходи к столбу и полезем прямо через бамбук.

— Огурцов бы еще! Без огурцов кто ж удирает?

— Купим и огурцов, — согласился Панафидин...

В один из дней над Мацуяма с вечера нависла грозовая туча, деревья в саду притихли, даже не шевелилась листва. Сергей Николаевич лежал на кровати, мысленно уже прощаясь с товарищами, он рассеянно слушал их скучные разговоры о том, что на войне, как и в любви, одному повезет, а другому — никогда... Доктор Солуха убежденно доказывал:

— Как хотите, господа, а слепой случай и военное счастье имеют на войне прямо-таки роковое значение.

«Никита Пустосвят» недавно вышел из карцера.

— Еще бы! — сказал он. — У нас в отсеке восемь человек зажарило. А в углу сытинский календарь висел. С картинками! Так бумага на нем чуть по краям обуглилась. Вот и пойми после этого, что за наука — физика? Учим в гимназии одно, а в жизни все получается шиворот-навыворот.

— Бывает... У меня в каюте все разнесло. Даже борт выдрало. А зеркало осталось висеть без единой царапинки.

— Помню, когда рвануло на шкафуте, все, кто там был, в куски разлетелись. А меня только носом в палубу сунуло — и, как видите, живой. Сегодня в ресторане пиво пил...

Грянул гром, над Мацуями прошумело ливнем. Под говор товарищей, ничего им не сказав, Панафидин вышел из барака. Возле столба его дождался Шаламов, держа сетку с огурцами. Он сразу повесил себе на шею два тяжелых окорока, перевязанных бечевкой, и в этот момент великан матрос напомнил мичману образ веселого обжоры-Гаргантюа в иллюстрациях Густава Дорэ.

— А вы с конфетками и огурцами — за мной!

Он, словно дикий вепрь, вломился в заросли бамбука, а Панафидин за ним. Оказалось, что японцам незачем было ставить тут заборы и часовых — бамбук оказался страшнее. С неба сверкали молнии, лил дождь, а Шаламов где-то... пропал.

— Эй! — позвал его мичман. — Ты чего копаешься?

— Застрял, — донеслось в ответ. — Рази ж это лес? Наставили тут палок всяких, не пройти и не проехать... Вот у нас в деревне лес — так это лес! Даже с разбойниками...

Не хватало, чтобы он предался воспоминаниям.

— Пошел вперед, — понукал его мичман сзади.

Треск усилился, и казалось, что этот треск бамбука сильнее грома небесного. Шаламов в каком-то исступлении выворачивал из земли бамбучины, повергал жесткие стволы наземь, ломил напропалую, прокладывая путь через рощу, а за ним продвигался мичман Панафидин — с конфетами и огурцами.

Наконец треск кончился. Но раздался... плеск.

— Чего ты там? — спросил Панафидин, еще сидя в бамбуке.

— А, мудрена мать... — слышалось. — Да тут по горло...

— Вода, что ли? Так чего испугался? На то мы и моряки, чтобы воды не бояться. Где ты, Николай? Коля, где ты?

— Да здесь я! Спасите... тока б выбраться...

Раздался гудок паровоза, вдали потеплело от вагонных огней: это из Мацуями прошел в сторону гавани поезд. Поддерживая друг друга, матрос

с мичманом едва выкарабкались из глубокого рва, заполненного жидкой отвратной грязью. Скользя соломенными лаптями, поднялись на взгорье, за которым стояла кирпичная казарма, через окна, ярко освещенные, были видны японские солдаты, играющие в карты.

Два тяжелых окорока висели на шее Шаламова.

— Ну, ваше благородие, кажись, влипли.

— Валяй прямо, — прошептал мичман.

— Да там, эвон, часовой гуляет.

— Ну и хрен с ним! Пускай гуляет. Нам-то что?..

Продефилировали под самыми окнами. Из будки уборной выбежал японец, но даже не обратил внимания на русских беглецов. За ним глухо стукнула казарменная дверь. Под проливным дождем шли по какой-то дороге, минуя деревни и поселки фабричного типа. Отшагали всю ночь, лишь под утро свернули в сторону и углубились в мокрый лесок. Светало...

— Присядем, — сказал Панафидин. — Надо обсохнуть.

Ножа не было. Зубами, как волки, обкусывали по краям жирный и вкусный окорок, заедали его огурцами. Проснулись первые птицы. Перед беглецами открылась панорама обширной долины — там серебром блестали пруды и рисовые поля, сады напоминали субтропики. Далеко-далеко полаивали собаки.

Шаламов проникся философским настроением:

— А все-таки, скажу я вам по совести, хорошая штука — свобода! Что бы я сейчас делал, если бы не бежал? Допустим, слопал бы завтрак. Потом обед. Ну ужин... Этого всего мало для человека. Вот сижу я здесь, и мне очень хорошо.

— Прекрасно, — согласился Панафидин, умиленный.

Солнце всходило. Из деревень дорожками и тропинками шли дети. Очень много детей. Они торопились в сельские школы. А где-то за лесистой горой горланили петухи. Шаламов сказал, что он тоже ходил в школу. Из своей деревни — до села, туда и обратно верст по десяти кряду. Приятно вспомнить.

— Дети, в школу собирайтесь, петушок давно пропел, поскорее одевайтесь, а вот дальше... забыл! В литературе мне всегда не везло. Зато в арифметике... у-у-у. Хоть сейчас спрашивайте, семью восемь сколько будет, я вам сразу отвечу: будет ровно пятьдесят шесть.

Неожиданно стайка детей замерла посреди дороги. Их головы разом повернулись в сторону беглецов. Шаламов ползком на животе укрылся в кустах, за ним — мичман.

— Заметили или нет, как ты думаешь, Коля?

— Лучше тикать отседова... от детей подальше.

Но лес скоро кончился, опять завиднелись деревни, и весь день пришлось провести на опушке, сидя под высокими соснами, безропотно отдаваясь на съедение жгучим японским муравьям.

— Сами-то японцы махоньки, — рассуждал Шаламов, — зато муравьи ихние... не приведи бог — с нашего таракана! Вечером, когда стемнело, они тронулись дальше.

Ну вот мы и доехали... Санкт-Петербург!

Тяжело бьют копытами по булыжникам ломовые першероны, катят роскошные кареты, дребезжат на поворотах конки.

— Скажите, а где здесь Литейный проспект?

Когда Конечников задавал этот вопрос, прохожие с удивлением озирали человека с азиатским лицом, но в отлично пошитом костюме, с тросточкой в руках: уж не шпион ли?

— А что вам, простите, нужно на Литейном?

— Артиллерийский ученый комитет.

«Ну, конечно, шпион... И куда только полиция смотрит?»

— Об этом, сударь, вы лучше городового спросите...

Комитет был все-таки найден. Рожденная усилиями графа Аракчеева, эта научная организация пережила бурную младость, мудрую зрелость, а теперь впала в старческую дряхлость. Маститые создатели русского оружия цепко держались за свои чиновные кресла, обтянутые малиновым бархатом, а любую критику они воспринимали с такой же яростью, с какой барышни-смолянки отстаивают свою невинность... Побуждая по длинным коридорам, иеромонах уяснил, что весь этот артиллерийский Олимп боги пушечной пальбы поделили меж собой на отделы: лафетный, орудийный, пороховой, снарядный, баллистический и прочие. Было немного странно, что здесь, в этой торжественной тишине, где люди разговаривают почти шепотом, зарождаются громовые залпы орудий, в уютных кабинетах решаются вопросы смерти, побед и поражений... Мир, как известно, не без добрых людей. Нашелся человек, который выслушал Конечникова и подсказал, в какие двери надо стучаться:

— Лучше всего обратиться к генерал-лейтенанту Антону Францевичу Бринку... это как раз по его части! Бринк служит инспектором морской и

корабельной артиллерии.

Бринк сразу принял якута, кажется, больше из любопытства, очевидно приняв инородца за какого-то экзотичного принца, желающего продать России ворованные секреты оружия (такие случаи уже бывали). Он очень вежливо спросил:

— Чем могу быть полезен, сударь?

— Видите ли, я с крейсера «Рюрик»...

— Так.

— Который геройски погиб...

— Так.

— В бою первого августа возникли серьезные претензии к боевым качествам нашей артиллерии.

— Так.

— Меня, как некомбатанта, японцы депортировали, а офицеры «Рюрика» просили известить вас...

— Так.

— Точнее, известить Артиллерийский ученый комитет...

— Так.

— О том, что наша артиллерия оказалась бараклом...

— Что-о?! — возмутился Бринк, поднимаясь. — Вам ли дано судить об артиллерии? Если вы только духовный пастырь, вы не можете быть компетентны в технических вопросах.

— В этом ваше превосходительство правы, — согласился Конечников. — Я очень далек от понимания научных тайнств. Но даже я, посторонний наблюдатель, заметил в бою, что наши снаряды протыкали борта японских кораблей, не разрываясь при этом. Мне трудно судить, кто виноват: Адмиралтейство, поставлявшее на крейсера заводской брак, или ваш Артиллерийский ученый комитет, изобретавший такие снаряды...

Авторитет генерала Бринка покоился на трудах по теории стрельбы, которые переводились в Англии и Германии, и вдруг является эта «таежная морда», как мысленно обозвал Бринк священника, и смеет говорить ему всякие дерзости.

— Мы дали русскому флоту прекрасную передовую технику. И мы не отвечаем за то, что ваши безграмотные люди с крейсеров не умели правильно ее использовать. Но это вопрос уже боевой подготовки, и потому вам, милейший, с Литейного проспекта рекомендую проехать до Адмиралтейства в конце Невского...

Конечников выложил перед ним листки бумаги, подаренной еще Фудзи, исписанные ночью в японском бараке Мацуями.

— Если я не компетентен в делах артиллерии, то вот вам авторитетное мнение господ офицеров, специалистов флота... Поймите, — горячо убеждал он Бринка, — люди писали это в плену, рискуя своей головой, движимые лучшими патриотическими чувствами. Нельзя эти бумажки просто так «подшить к делу»... Пленные моряки с «Рюрика» кровно озабочены тем, чтобы в русской артиллерией впредь не возникало просчетов, которые можно назвать трагическими... хотя бы ради будущего флота!

Антон Францевич Бринк ответил по-человечески:

— Я глубоко уважаю страдания людей, оказавшихся во вражеском плену. Ради этого уважения сделаю все. Оставьте мне эти записи, я доведу их содержание до самых высших инстанций власти... В это вы можете поверить. Всего доброго.

Он сложил разноцветные бумажки, подписанные офицерами «Рюрика», и вскоре они оказались в объемном портфеле военного министра Сахарова. В конце очередного доклада императору Сахаров красивым веером разложил эти листки перед его величеством, прося обратить на них самое серьезное внимание. Николай II обратил самое серьезное внимание на то, что бумажки были очень нарядные — розовые, голубые, желтенькие.

— Виктор Викторович, откуда такая забавная бумага?

Сахарову пришлось честно сознаться:

— Простите, но это японский... пирафакс!

Император брезгливо отряхнул царственные дланi:

— Черт знает что вы мне подсунули! Они там ж... свои подтирал, а я вникать должен. В конце концов, вы могли бы перебелить все заново, а не совать мне эти подтирки...

На свою беду, Конечников, исходя из шанхайского опыта, дал обширное интервью для столичных газет, в котором повторил многое из того, что было изложено на японском пирафаксе. Дело о «строптивости» иеромонаха из высших инстанций было перенесено в благоуханные чертоги Святейшего синода, где и решили «смирить» гордыню крейсерского попа всенощными бдениями л едою на постном маслице... После очень долгого пути Алексей Конечников проснулся в санях, когда шумно вздохнули лошади, покрытые морозным инеем. Со скрипом отворились промерзлые врата святой обители, и Конечников узнал Спасо-Якутский монастырь, откуда и начиналась его дорога в громадный мир, полный всяких чудес... Он был возвращен туда, откуда и вышел. Я не знаю конца жизни этого талантливого сына якутского народа. Может, и смирился. А может, и бежал.

Только вот вопрос: куда бежать и далеко ли убежище?

Убежать можно далеко. Даже очень далеко...

Но сначала кончились огурцы, до которых Шаламов оказался большим охотником. Потом до костей обглодали окорока, уже припахивающие не тем, чем надо. В конце пиршества беглецы долго и скучно сосали японские конфетки. Субтильному-то мичману еще ничего, а вот каково громиле Шаламову?

— Воровать все равно не пойдешь, — говорил он. — Это в России народ сознательный: по шее надают и простят. А здесь, в чужой стране, да у чужих людей воровать негоже...

По вечерам от комаров не было спасения. Уютно посвечивали вдали окошки деревень. На станциях перекликались маневровые поезда. Спешили к морю курьерские. Куда-то ехали люди. У каждого свои дела. Но в самых неожиданных местах вдруг обнаруживались казармы, усердно маршировали солдаты. Японская земля была всюду тщательно ухожена, сады утопали в изобилии фруктов. Мучительно преодолевали бескрайние рисовые поля с их слякотью, где вода стояла до колен, а из воды торчали пучки риса. Человек посреди такого поля виден издалека, и это было опасно, потому беглецы переходили поля ночами.

— Скоро ли море? — все чаще спрашивал Шаламов.

— Если Сикоку остров, все равно выйдем только к морю. Ночью присмотрим шхуну, пока рыбаки спят, и уйдем подальше, чтобы этой Японии глаза мои больше не видели.

— Хорошо, что мы в сандалиях, — сказал Шаламов. — Следы после нас как японские. Иначе бы сразу выследили...

Шли гористым склоном, поросшим сосновым лесом.

Вдруг прямо перед ними появился старик японец с вязанкою сучьев за спиной. При виде русских он не выразил никакого удивления. Спокойно повернулся и пошел дальше.

— Донесет хрыч старый, — сказал Панафидин.

— Так не давить же нам его, — отвечал Шаламов.

Скоро они увидели, как из окрестных деревень сбегаются люди с маленькими флагками. Беглецы свернули в сторону, но с этого момента им казалось, что за ними постоянно следят чьи-то глаза. Много глаз! Измученные голодом, облепленные грязью рисовых полей, они заметались между деревень, рощиц, кладбищ, казарм, тропинок... Облава была самая настоящая: первые дни их преследовали десятки японцев, назавтра их были уже сотни, и, наконец, многие тысячи окрестных жителей окружали беглецов, тихо и безголосо, но удивительно организованно.

Панафидин устало опустился на землю:

— Не могу больше. Сядь и ты, Коля, не торчи тут...

Сели, прижавшись один к другому потными спинами.

Из кустов вдруг выскочил полицейский в синем мундире и белых штанах, заправленных в сапоги. Обернулись — по бокам стояли еще десять таких же — одинаковых, как куклы.

Самураи обнажили из ножен короткие сабли.

Сопротивляться было бесполезно.

Даже силач Шаламов осознал это...

— Ну, что, анаты? Небось рады? — сказал матрос.

Полицейские вели себя крайне вежливо.

Ни кандалов не надевали. Ни рук не связывали.

Но картина была впечатляющая: впереди шли русские — матрос с офицером, за ними стражи порядка, за полицейскими многотысячная толпа японцев. Всюду разевались праздничные флагги. В руках детей стучали хлопушки...

Шаламов сказал:

— Прямо как на ярмарке, ажно весело!

Беглецов провели до ближайшей деревни, где в сельской гостинице для них был приготовлен ужин. Панафидин спросил, далеко ли отсюда до Мацуями, и полицейский ответил, что от Мацуями они ушли в глубь острова на двести миль.

— Мы сразу были оповещены о вашем побеге. Но не искали вас, надеясь, что вы сами вернетесь в лагерь, когда кончатся ваши продукты. По нашим расчетам, еда у вас давно кончилась, а вы все не являлись в Мацуями, вот тогда наше начальство стало беспокоиться о вашем здоровье...

Панафидин понял слова полицейского, он перевел их Шаламову, и тот долго хохотал:

— О моем здоровье, говоришь, заботились? Так пущай мне градусник поставят. Очень люблю я температуру мерить...

Всю ночь из-под окон гостиницы не расходилась толпа, радостно возбужденная, матери поднимали грудных младенцев, чтобы они тоже увидели русских. Под утро, когда беглецов разбудили, выяснилось, что все полицейские пьяны. Однако они бодро обнажили сабли и повели беглецов до станции железной дороги. В каждой деревне, заранее оповещенные, шпалерами стояли жители, а румяные учительницы возглавляли шеренги школьников, бивших в маленькие барабаны. Полицейский старшина при входе в селения обязательно произносил короткую, но очень энергичную речь, размахивая саблей.

— Чего он хоть болтает-то? — спросил Шаламов.

— Везде одно и то же... Будто они поймали «исконных врагов народа Ямато», и теперь все японцы могут наглядно убедиться, сколько в наших сердцах злобы и зависти.

— Какая ж у меня злость? И какая зависть? — удивлялся Шаламов. — Я сам по себе в России, они сами по себе в Японии. Мне с ихних огородов все равно не бывать сытым... ну их!

В вагоне поезда, жестоко осмеянные пассажирами, беглецы увидели молодую японку, плачущую о их судьбе, и догадались, что, наверное, у нее муж или жених в русском плену.

— Спасибо тебе, дамочка, — сказал Шаламов японке, и она, будто поняв его, кивнула, глотая слезы...

Скоро выяснилось, что в Мацуями их не вернут. Японцы решили изолировать беглецов от привычной среды их товарищей по несчастью. Им предстояло прибыть в Фукуока на острове Кю-сю. Спорить, конечно, было бесполезно. Как и в день побега, хлестал проливной дождь, когда русских доставили в контору военнопленных города Фукуока. Беглецов замкнули в карцере без окон, швырнули связку тощих одеял, но спать не давали. Всю ночь часовые, проходя мимо карцера, считали своим воинским долгом дубасить прикладами в двери. Утром их навестил старенький майор Кодама, и на вопрос Панафицина, долго ли им тут сидеть, он ответил: «На время».

— На какое же время? — допытывался мичман.

— На время, — повторил майор. — Вы очень невоспитанные люди. Из-за вас наш миноносец целую неделю дежурил в Симоносекском проливе, обыскивая все рыбачьи лодки. За эту вот грубость, что вы нам причинили, предстоит и страдать...

Страдания усиливались жаждой: японцы только к вечеру вносили в карцер лохань, похожую на женское биде, наполненную теплыми помоями, которые называли чаем. Наконец им выдали хорошую обувь и сказали, что

в городе Кокура они должны предстать перед военным судом. Панафидин протестовал:

- За что? Какое мы преступление совершили?
- Вас будут судить за грубость.
- Кому мы тут нагрубили?
- Вы обидели нашего императора.
- Тыфу! — отплюнулись оба, и матрос и мичман.

Появились жандармы с наручниками, они связали моряков смехотворно-тонкой бечевкой, какой в магазинах перевязывают покупки. Повели на вокзал. Там, на перроне, вокруг беглецов собралась толпа ротозеев, и жандарм произнес перед ними речь — вроде той, какую они слышали от пьяного сельского полицейского. В городе Кокура русских привезли в здание военного суда, где познакомили со следователем. Следователь держался на коротких, как у рояля, ножках, источая такую сердечность, что мичман предупредил Шаламова:

— Ты особенно не разевайся. Гадюка попалась нам такая ласковая, что не знаешь, то ли поцеловать хочет, то ли ядом брызнет. Вали все на меня! Мол, я жестокий офицер, приказал тебе бежать, а ты не посмел послушаться.

— Ясно. Приказ будет исполнен...

Панафидин заявил, что без присутствия французского консула отвечать на вопросы не намерен. Следователь не обратил на его просьбу внимания, и на длинных полосках бумаги он очень быстро выстраивал колонки паучков-иероглифов.

— Подпишитесь вот тут, — показал он кисточкой.

— А я откуда знаю, что вы тут нарисовали?

Неожиданно следователь проявил осведомленность.

— Господин мицман, — сказал он по-русски, — мы хорошо знала, что твой цин уцилась Восточная институт...

В зале суда их ждал военный прокурор. Он сказал:

— Зачем вы своим бегством оскорбили доверие нашего императора, который к вам, пленным, так хорошо относится?

Панафидин сказал, что не выдержал тоски по дому.

— Вы же сами, японцы, сложили поговорку: любое путешествие приятно лишь до тех пор, пока не начал плакать по родине. А матрос вообще не виноват: он исполнял мой приказ.

— Я исполнял приказ офицера! — заорал Шаламов.

Прокурор что-то сказал. Жандармы снова связали подсудимых бечевкой, и они даже не сообразили, что сделались осужденными. В тесном фургоне их отвезли на окраину города, где возвышалось мрачное здание

тюрьмы военного ведомства. Ворота были железные, и, когда они со скрежетом раздвинулись перед русскими, русские стали сопротивляться:

— Я требую французского консула... сейчас же!

— Этого мы так не оставим! — буйствовал Шаламов. Во дворе тюрьмы их оглушил немыслимый хохот.

— Ха-ха-ха-ха! — неслось из всех окошек.

Что это был за смех, они поняли позже, когда и сами научились «хохотать» таким же образом... Но об этом потом.

После морских сражений, которые выдержали эскадра Того и эскадра Камимуры, японские корабли спешно ремонтировались на верфях метрополии. Броненосцы и крейсера меняли орудийные стволы, изъеденные изнутри страшными язвами от сгорания в них британских кордитов и лиддитов. Сроки поджимали японских флотоводцев, ибо Лондон точно информировал Токио о том, что 2-я Тихоокеанская эскадра сокращает сроки выхода в свое дальнее плавание...

Конечно, русские военнопленные жили больше слухами, лишь иногда довольствуясь тем, что узнавали от японцев. Присматриваясь к чужой для них жизни, русские не оханвали все подряд; напротив, многое в японском быту им даже нравилось — порядок, отсутствие браны и пьяных скандалов на улицах, всеобщее образование, любовь к природе и красоте, отсутствие «чаевых» на вокзалах и в ресторанах. Но мысли всех пленных были обращены, конечно, к милой далекой родине.

Среди солдат и матросов недовольство еще только начинало складываться в революционные настроения, а среди офицерства преобладала огульная критика верхов, делались попытки пересмотреть политику России; причины своих неудач выискивали не в порядках монархического строя, а лишь в отдельных частностях, которые никак было не свести в единый и решительный узел всеобщего возмущения... Отрезанные от родины, офицеры уже не стеснялись выражать свое возмущение, особенно доставалось от них генералу Куропаткину, о котором японские газеты писали с большим уважением.

За столиками японских ресторанов слышались пересуды:

— Куропаткин? Я бы ему и полковника не навесил. Его хваленое хладнокровие — это манера придворного, а не полководца. Где беда, все

валит на чужие головы. А где успех, там созывает к столу журналистов и начинает заливать им сказку про белого бычка.

— Англичане? Тоже хороши. Японцам продавали оружие за деньги, а Британское Библейское общество завалило нас бесплатными молитвенниками. Вот и получалось: лежит наш Ванька, убитый английским снарядом, а из кармана у него торчит молитвенник, отпечатанный для него же в Лондоне.

— Господа, господа! Минутку внимания. Все наши несчаствия начались с франко-русского альянса. Мы отвернулись от традиционной дружбы с Германией и получили войну с Японией. Франция не могла надавить на Англию с такой силой, как это способна была сделать могучая Германская империя.

— Это вы загнули, поручик! В вас говорит не русское, а курляндско-немецкое происхождение.

— Па-азвольте, штабс-капитан.

— Не позволю! Могу и в рожу дать, здесь тебе не Россия-матушка, здесь Япония, и ты меня на дуэль не вызовешь.

— Господа, будьте свидетелями. Штабс-капитан Никифоров оскорбил мою офицерскую честь, и я ему делаю вызов. Сразу по возвращении из плена извольте драться...

А война шла своим чередом. Еще в июле японские войска вышли к Ляояну. Куропаткин, предвидя важность Ляоянских позиций, произнес исторические слова:

— От Ляояна я не уйду! Ляоян — моя могила!

Русская армия сражалась прекрасно, она разбила японскую гвардию. Куроки и Оку уже начали откатываться от Ляояна, когда Куропаткин тоже отвел войска от Ляояна в сторону Мукдена, и тогда японцы, не будь дураками, заняли оставленный Ляоян. Из явной победы русского оружия Куропаткин умудрился сделать явное поражение. Это тоже надо уметь! Сразу виден «трезвый взгляд на вещи»... Отодвинутый к реке Шахе, снова получив подкрепления из России, Куропаткин не замедлил с произнесением новых исторических слов:

— Теперь пришло время навязать японцам нашу волю!

Историки еще до революции заметили, что не дух русской армии был сломлен японцами — прежде японцы сломили дух самого Куропаткина. Битва на реке Шахе завершилась тем, что никому не известный полковник Павел Николаевич Путилов оседлал сопку, названную его именем, и остановил японскую армию. «Путиловская сопка» стала символом героизма русского воина, как и знаменитая когда-то «Оборона на Шипке»...

13 октября был удален адмирал Алексеев, а Куропаткин, переняв от него обширные полномочия власти, сделался главнокомандующим. Наверное, он кокетничал своим искусственным пером, когда благодарил за эту честь Николая II: «Только бедность в людях заставила Ваше Величество остановить свой выбор на мне...»

В дождливый осенний день из портов Балтики тронулась в путь наша 2-я Тихоокеанская эскадра. Накануне выхода ее в море адмирал Зиновий Петрович Рожественский произнес страшные слова, о которых мало кто знает в нашей стране, ибо они были опубликованы в Париже лишь в 1933 году: «Русская публика, возбужденная газетными инсинуациями, слепо уверовала в мой успех. Но я-то отдаю себе отчет в том, что уготовила судьба на путях наших странствий. Не следовало бы вообще начинать это безнадежное дело. Но как я могу отказаться вести эскадру, если вся страна верит в мою победу?»

И эскадра тронулась. Пошла! Навстречу гибели.

За ними готовилась в путь 3-я эскадра Небогатова.

Надзиратели были одеты во все белое, а преступники в красные халаты. Перекличка, по словам очевидца, напоминала вопль грешников, попавших в чистилище военного ведомства самураев. Резкий голос старшего надзирателя выкрикивал по вечерам не имя, а называл только номер:

- Го-зю-ни.
- Ха! — должен отвечать арестант.
- Го-зю-сан.
- Ха!
- Го-зы-си.
- Хе-хе-хе, — отвечал Шаламов.
- Го-зю-го.
- Хи-хи-хи-хи, — заливался Панафидин...

Вот этого балагана японцы стерпеть не могли. Военная тюрьма создана не для веселья. Здесь сидят вполне серьезные люди. Нарушившие присягу. Не исполнившие приказ офицера. Наконец, почтенные господа дезертиры. Каждый из них, по мнению японских властей, должен постоянно выражать глубочайшую скорбь и раскаяние. Здесь не до шуток, и, если тебе дали 20 лет, так ты будь любезен — 20 лет подряд плели

циновки, всем наружным видом отражая свое гнусное и отвратительное ничтожество. А эти русские, кажется, не желают проникнуться раскаянием... Надзиратель внушал им:

— Вам следует отвечать «ха», а потом молчать.

— Почему же лишний раз и не посмеяться?..

Впрочем, скоро им стало не до смеха. Тюрьма была наполнена мертвою тишиною кладбища, изредка нарушающей чахоточным кашлем заключенных. Арестанты двигались тишайше, полусогнутые от унижения, говорили только шепотом, и лишь перекличка в конце каждого дня напоминала бедлам, где воцарилось повальное веселье спящивших: ха-ха-ха-ха!.. Вызывающее поведение русских не нравилось начальству. А русским, видите ли, не нравился суп из перетертоей редьки. Всем заключенным выдавались на ночь сетки от москитов, но русские — эти злостные враги народа Ямато! — еще требовали, чтобы из сеток вытрясли миллионы блох. Камеры отделялись от коридора деревянными решетками, и когда Шаламов начинал трясти эту решетку, то делалось страшно за всю тюрьму. Матроса раздражала постоянная улыбочка на лице старшего надзирателя, однажды он трахнул его затылком об стену камеры:

— Еще раз улыбнешься, я тебе таких «персики» накидаю...

От них требовали, чтобы они сами мыли полы.

— Лучше сдохну, — отвечал матрос. — Одно дело драить палубу на крейсере, другое на тюрьму шик-блеск наводить.

— А я, — добавил Панафидин, — офицер флота российского, и нас этому не учили. Требую уважения к своему званию.

— Наши офицеры мытьем полов выражают свое раскаяние.

— Так это ваши... А мне-то в чем каяться?

— Вы теперь не офицер, вы наш арестант.

— Чепуха! — отвечал Панафидин. — Я произведен в офицерский чин не микадо, и никто меня не разжаловал. Принесите мне приказ о разжаловании, и я тогда вам всю тюрьму перемою.

Кончилось тем, что японцы от них отступились, а Панафидину, как офицеру, даже разрешили читать, снабдив его очень увлекательной книгой — грамматикой новогреческого языка, которую он и запустил вдоль тюремного коридора:

— Мы требуем французского консула!..

Вместо консула явился американский миссионер с молитвенником. Явно злорадствуя, он «утешил» узников перечнем неудач Куропаткина на фронте, до небес превознося японский гений Ояма, Куроки, Ноги и Оку, а потом, осенив русских крестом, оставил на память журнал «Дидай

Чоо-Лю», в котором была опубликована антивоенная декларация Льва Толстого.

Шаламов отнесся к журналу с интересом:

— Это какой же Толстой? Не тот ли, что на «Громобое» служил в машинной команде?

— Да нет, это другой... из Ясной Поляны.

Если бы Лев Толстой выступил только против войны, это бы еще ничего. Но, по его словам, Иисус Христос никогда не учил любить отчество, зато он хотел, чтобы все люди любили всех людей на свете... Шаламов удивился:

— Так что мне теперь — и надзирателя целовать? Я, конечно, человек темный. О патриотизме не думал. Но сижу вот тут и люблю свою родину так, как никакой девки еще не любил... Без этого патриотизма до чего докатимся? Ведь хуже диких зверей станем. Да и звери-то свой лес любят...

Среди ночи Шаламов вдруг разбудил Панафицина:

— Сергей Николаевич, а сколько же нам подкинули?

— Не знаю сколько. Посадили и сидим.

— Вы бы хоть спросили у них... у японцев-то!

Панафидин долго сидел на циновке, размышляя.

— Знаешь, Коля, я так думаю, что сидим без срока. И вышибут нас отсюда японцы только в двух случаях: или когда Россия победит Японию, или когда Япония победит Россию.

— В первое я уже не верю, — сказал Шаламов.

— Но и во второе трудно поверить. Давай спи...

В самом конце года каменщики, надстраивавшие еще один этаж тюрьмы, пели веселые песни. С улицы слышались звуки военных оркестров, смех детей, трескотня хлопушек. Шаламов верно определил, что в Японии что-то стряслось:

— Небось у ихнего микадо масло подешевело...

Пришли улыбающиеся жандармы, снова связали рюриковцев веревочкой. Русским было объявлено, что по случаю всенародного торжества они освобождаются из тюрьмы и сейчас их развезут по лагерям для военнопленных.

— А какое торжество? — спросил Панафидин.

— Ваш храбрый генерал Стессель сдал Порт-Артур, мы очень уважаем Стесселя, как и вашего доблестного Куропаткина... Неожиданно для мичмана бурно разрыдался Шаламов.

19 декабря 1904 года генерал Стессель писал Николаю II: «Великий Государь, Ты прости нас. Сделали мы все, что было в силах. Суди нас, но суди милостиво...» А вот отрывок из частного письма защитника Порт-Артура: «О Куропаткине ни слуха ни духа... Тяжело нам видеть беспомощность флота, о чем многие из нас проливали горькие слезы. Но снаряды и патроны еще есть, их хватит до февраля; нужды до сих пор не терпим, питаясь консервами и свежей свининой, доставляемой к нам на джонках. Чай, сахар и хлеб имеются...»

Статья № 64 «Положения о крепостях Российской империи» предусматривала осуждение коменданта крепости за сдачу ее противнику — в любом случае, как бы самоотверженна ни была борьба гарнизона. Но 20 декабря в Чифу прорвались артурские миноносцы «Статный», «Властный», «Сердитый» и «Скорый», их командиры известили русского консула:

- Стессель сдает Порт-Артур.
- Как сдает? — изумился консул.
- За деньги.
- Да помилуй вас бог. Быть не может!
- Но так все говорят...

Озябшим миноносникам принесли горячего чая.

— Как, — спрашивал консул, — комендант Стессель мог сдать врагу крепость, если в крепости имеется Военный совет?

— Стессель и собрал его. Все генералы выступили против сдачи, но Стессель — тайком от них! — выслал к японцам парламентеров, и капитуляция явилась неожиданной для гарнизона. Мы, слава богу, вырвались из этого змеиного гнезда, где уже давненько свились в клубок мерзкие гарпии...

22 декабря вышел из печати последний номер порт-артурской газеты «Новый край», когда на улицах города-крепости уже показались первые японцы («туземное население встречало их на коленях с японскими флагами и удивлялось, почему русские не делают того же»). Через два дня генерал Ноги принял парад японских войск, стоя на веранде ресторана г-на Никобадзе. В городе открылась «Контора для приема военнопленных». Но сам Стессель и его супруга давно сидели на чемоданах.

Пленные портартурцы потом рассказывали:

- Мы же все видели! Японцы относились к Стесселю хуже, чем к

собаке, только ногами его не пинали. Не знаем, сколько он взял с них, но, говорят, что японцы его облапошили и сполна не расплатились... Теперь мы на всю жизнь опозорены, а его, сучье вымя, домой отпустили как барина. С бабой!

Сенсация имела международное значение. Потому, когда Стессель с женой прибыли в Аден на пароходе «Австралия», город уже переполняли толпы журналистов всех наречий мира. Стессель был молчалив, много не трепался, но поругивал японцев (очевидно, за то, что ему не доплатили). Генерала очень порадовало известие, что газета «Эко де-Пари» объявила подписку среди читателей, дабы поддержать бедного коменданта с его чемоданами. Благодарный, он дал интервью корреспонденту этой газеты Эмилю Данtesу (к сожалению, я не знаю, в какой степени родства он состоял с убийцей нашего великого поэта):

— Ну а что было делать? Наш запас провизии истощился. Нам доставили только одну лодку с мукой... Сущая правда! Вы думаете, у меня не разрывалось сердце от решения сдать крепость, которую я клялся перед царем отстоять?..

В это время японцы объявили пленным артурцам, что они вправе вернуться на родину, но могут оставаться и в японском плену. Это не касалось только солдат, почему офицеры гарнизона приняли решение следовать в плен за своими солдатами. Об этом тоже спрашивали Стесселя, но он ушел от ответа:

— Плен — частное дело каждого. Хотя я не понимаю, какой интерес торчать в плену, если можно вернуться на родину и быть ей полезным. Я этого не понимаю...

16 января — сразу после Кровавого воскресенья! — Стессель прибыл в Петербург, уже охваченный забастовками фабрик и заводов: революция начиналась. Царю было тогда не до него. Но я все-таки не поленился перелистать дневник Николая II — а вдруг попадется? Вот, читаю, царь принял Н. Л. Кладо, бежавшего из Владивостока, вот простился с адмиралом Зиновием Рожественским, он вторично принял Кладо, потом проводил на Дальний Восток подводные лодки... Стоп: «Ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура». Через два дня еще более потрясающая новость: императрица, катаясь на санках, сильно ушиблась. 9 января царь отметил скромно: «Тяжелый день...» Стесселя я не нашел! Зато отыскал его жену. Вера Алексеевна Стессель по возвращении в Петербург сразу купила доходный дом. С чего бы это? Ну, допустим, японцы обманули. Но во время осады мать-коменданта спекулировала, беря за корову 500 рублей, за индейку 50, а за курицу 25

рублей... Добавлю к этому прейскуранту, что собачье мясо продавалось в Порт-Артуре по 48 копеек — за фунт!

Наконец, осталось сказать последнее: в боях под Мукденом японцы раздобыли ценный трофей — кровать, на которой спал Куропаткин. Вся она была как постель для новобрачной невесты, в кружевах и рюшечках. Кровать торжественно вывезли в Токио, там ее поместили в музей, где и показывали за деньги. Японцы дружно вставали в очередь, чтобы полюбоваться лежбищем русского полководца, который суворовский девиз «глазомер, быстрота, натиск» заменил другим: «терпение, терпение и еще раз терпение». Конечно, лежа на такой кровати, можно быть терпеливым, но сколько можно испытывать терпение других?.. Приведу факт, о котором у нас мало кто знает: за время русско-японской войны Куропаткин сделался миллионером.

Читатель грамотный — пусть сам делает выводы...

В. И. Ленин в статье «Падение Порт-Артура» писал: «Главная цель войны для японцев достигнута. Прогрессивная, передовая Азия нанесла непоправимый удар отсталой и реакционной Европе. Десять лет тому назад эта реакционная Европа, с Россией во главе, обеспокоилась разгромом Китая молодой Японией и объединилась, чтобы отнять у нее лучшие плоды победы... Возвращение Порт-Артура Японией есть удар, нанесенный всей реакционной Европе».

Панафицина слишком жестоко разлучили с Шаламовым, и на прощание они крепко расцеловались. Веревочка, которой они были связаны жандармами, оказалась разорвана; матрос скатал ее в узелок, оставил себе на память... Сказал он, плача:

— У нас в деревне колдунья была — умнейшая старушка. Так вот она говорила: столкнутся люди головами нечаянно — век им жить вместе и заодно думать. Прощайте...

В пассажирском поезде целый вагон был занят китайцами очень высокого роста. Жандарм пояснил, что в Японию недавно прибыли 600 китайских офицеров старой императрицы Цыси. Обученные ранее в Германии и в России, теперь они спешат переучиваться у победоносных японцев. Панафицина на этот раз завезли далеко — в карантин острова Ниносима, еще недавно безлюдный, а теперь его новенькие бараки были заполнены пленными из гарнизона Порт-Артура.

Здесь его отыскал мичман Квантунского флотского экипажа Саша Трусов, сын командира «Рюрика»; он представил Панафидину своего товарища по несчастью — тоже в чине мичмана:

— Это Володя Витгефт, сын нашего адмирала...

Разговор не получался, тем более что Саша Трусов хотел узнать, как погиб его отец, а Панафидин во время боя не поднимался на мостик, и он нарочно завел речь о другом:

— Вот у нас в семье часто слышалось: «Это было до войны, это случилось после войны...» Образовался какой-то прочный водораздел — от и до. А мы, господа, принадлежим к поколению, которое сроками жизни никак не вмещалось в эти фатальные рамки. Повисшие над пропастью мира между войнами, мы и не ждали войны, ибо слишком много рассуждали о вечном мире... Нам казалось, что мы, наследники побед отцов и дедов, самою природою созданы только для побед!

Володя Витгефт с ним согласился:

— Да. Не потому ли мы были безразличны к политике, к развитию вооружения? Жизнь жестоко отомстила всем нам за наше постыдное равнодушие к подвигам прошлых поколений.

— Пожалуй, — кивнул Саша Трусов. — Мы привыкли относиться к ранам отцов с каким-то небрежным юмором. Нам казалось, что, вспоминая былые страхи, они преувеличивают свои заслуги... Значит, вы не видели моего отца мертвым?

— Перестань, Сашка! — нервно вздрогнул юный Витгефт. — Я, например, знаю, что от моего папы осталась только нога и ее выкинули в море, салютуя ноге из пушек... Мне от этого никак не легче. Лучше не знать всех подробностей...

Панафидин спросил, где сейчас эскадра Рожественского.

— Кажется, на Мадагаскаре, — отвечали ему. — Что ее приход теперь может изменить в нашей судьбе? Ничего.

— У меня там дядя, кавторанг Керн, ведет миноносец «Громкий»...

Панафидин мечтал вернуться в Мацуями — к своим, но японцы из каких-то соображений катали его по всей стране, нигде не давая осесть прочно, завязать дружеские связи. Он посыпал письма — и на родину и в Мацуями, но ответа не было. В 1905 году режим в лагерях для военнопленных ухудшился, а русские газеты, плохо осведомленные, продолжали курить фимиам «человеколюбию» противника. Между тем японское правительство давно призывало свой народ «потуже затянуть пояса» и, естественно, до предела затянуло пояса на отощавших телах военнопленных, которые не знали, кому здесь жаловаться. Пленных стали

держать впроголодь. Офицеров, имевших свои деньги, отдали на «кормление» паразитам-лавочникам, которые никогда не давали сдачи с любой купюры, нахально утверждая, что им нужна «благодарность». Мнение о честности японцев сильно поколебалось, когда русские столкнулись с этими шакалами, рвущими от бедняков последнюю копейку. Никто не знал, когда и как закончится война, а потому многие пленные изучали японский язык, обзавелись самоучителями французского языка Туссена, немецкого языка Лангешейда. На безделье и то дело!

После всего пережитого — в бою и в тюрьме — Панафидин, всегда отличавшийся завидной скромностью, стал замечать в себе заносчивость, нетерпимость к чужим мнениям, все стало его раздражать, в спорах он вел себя вызывающе, а потом, обидев человека, бывал вынужден перед ним же извиняться:

— Я не хотел вас обидеть. Но, знаете, нервы... нервы!

Отзвуки русской революции, искаженные в каналах вражеской информации, уже достигали берегов Японии, и никогда еще Панафидину не приходилось выслушивать столько ерунды, как в эти дни... Офицеры, настроенные реакционно, возмущались:

— Нашей ярмарке только революции сейчас и не хватало! Любая революция — это навоз, на котором произрастают всяческие сорняки. Так рассуждал еще Наполеон, будучи лейтенантом.

— Помилуйте! Неужели на этом навозе Наполеон и произрастал потом вроде дикого сорняка?

— Нет. Благоухал как цветущая лилия. Но все тираны любят забывать о том, что они наболтали в юности... Для нас, верных слуг престола, самая прекрасная демократия — это нож острый, сверху медом сладкий помазанный.

Либерально настроенные офицеры рассуждали иначе:

— Господа, не станете же вы отрицать, что благодатный ветер реформ освежит наше отчество, обновит громоздкий и дряхлеющий аппарат государственной власти... Лучше уж сейчас стравить лишнее давление из котлов, нежели ждать, когда эти котлы с грохотом взорвутся вроде Везувия.

— Да пусть летит все к чертям! — вмешивался в спор Панафидин. — Мне двадцать два года, я только вступаю в жизнь, но уже чувствую себя немощным стариком... Я хотел бы точно знать, кто виноват в наших постыдных поражениях?

— Успокойтесь, мичман, все образуется.

— Когда? — бушевал Панафидин. — Или вы надеетесь, что с моря подойдет Рожественский и вызволит вас из плена? Так я уже испытал

Цусиму! И я знаю, что другого пути для эскадры нет. Ее тоже ожидает Цусима, мимо которой она не пройдет...

Словно усиливая позор царизма, японцы собрали анкетные данные о почти поголовной безграмотности пленных солдат, едва умевших расписаться, и эта позорная статистика была опубликована в иностранной печати, наделав страшный переполох в министерских кругах Петербурга. Стало быть, царская Россия кровью расплачивалась и за повальную безграмотность.

— Не знаю, как вам, господа, а мне стыдно, — говорил Панафидин. — Выходит, дело не только в качестве снарядов, есть причины и более глубокие... Понятно, почему нас лупят. Вся Япония по утрам наполнена голосами школьников, к услугам которых в школах имеется все, даже плавательные бассейны. Японские студенты зубрят в трамваях так, что на любом повороте трамвая они падают в обмороки. А мы, великороссы, по шпаргалкам — бац! — и диплом в кармане... Все мы с вами — безбожные лентяи. Нас прежде пороть надо, а потом учить...

Япония в эти дни вдруг как-то съежилась, подозрительно притихла, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Тревожные взоры японцев были обращены в пасмурные дали океанов, откуда тянулись пути к Цусиме. Для них, для островитян, морской фактор войны по-прежнему оставался важнее фактора сухопутного.

Неожиданно притихла и война в Маньчжурии: Куропаткин, как водится, проиграл сражение под Мукденом, он снова, как ему и положено, отодвинул войска назад, а линия фронта стабилизировалась, как бы закостенев в новейших формах войны — в позиционных! Казалось, что японцы, лениво постреливая в нашу сторону, уже не были заинтересованы в дальнейшем продвижении к северу — в сторону Харбина... В чем дело? Куда делься самурайский задор? Теперь-то мы знаем, что Япония уже была истощена до предела, а центр войны с полей Маньчжурии переносился к проливам возле Цусимы, где главная схватка двух флотов должна решить исход всей войны...

Прибегая к помощи шаблонного выражения, я пишу здесь, что «весь мир затаил дыхание», когда две русские эскадры (Рожественского и Небогатова), завершив последнюю погрузку угля, легли на курс, ведущий к острову Квельпарт, за которым открывались пугающие жерла Цусимских

проливов, и где их сторожили узкие глаза адмирала Того, припавшие к линзам оптических дальномеров системы Барра и Струда... 15 мая рано утром берлинский миллионер Мендельсон переслал в Петербург срочную телеграмму на имя министра финансов В. Н. Коковцева. Содержание депеши было таково, что Коковцев на минуту оторопел. Барственным жестом, щелчком пальца поправив ослепительную манжету, министр потянулся к телефону. В здании Адмиралтейства трубку снял управляющий морским министерством:

— Адмирал Авелан у аппарата.

— Федор Карлович, вы еще ничего не знаете?

— А что я должен знать, милейший?

— Вам не поступали известия с наших эскадр?

— Поступали. О бункеровке у берегов Аннама.

— Так вот... Не знаю, как и сказать. Я держу в руках телеграмму от Мендельсона, который дружески извещает меня, что от наших эскадр в бою у Цусимы ничего не осталось.

— Это какая-то провокация банковских заправил.

— Вряд ли. Думаю, через час-два наши военно-морские атташе из Лондона и Парижа подтвердят эту... нелепость.

— Хорошо, Владимир Николаевич, — отвечал Авелан. — В любом случае я доложу об этой нелепости его величеству...

Сразу после победы при Цусиме всю Японию охватила безудержная свистопляска самого грубого, самого вульгарного шовинизма. Самурайские газеты открыто требовали расправы надо всеми «акачихе» («рыжими», как они называли всех европейцев). В эти дни русских военнопленных не выпускали из лагерей, а на улицах городов японцы избивали и оплевывали всех «акачихе» подряд — американцев, англичан, немцев и прочих. Япония лишь теперь — после Цусимы! — возомнила себя великой азиатской державой, которой в Азии и на Тихом океане все дозволено. Но в этом случае политика Токио задевала интересы Вашингтона...

На другом берегу Тихого океана президент в Белом доме испытал большую тревогу. Рузвельт втайне очень желал, чтобы Япония дралась с Россией «до тех пор, пока обе (державы) не будут полностью истощены, и тогда мир придет на условиях, которые не создадут ни желтой, ни славянской опасности», — это документальные слова Рузвельта! Поддерживая Японию, он желал ослабления России, но теперь, когда Россия потеряла свой флот, он не мог желать усиления Японии. В исторической перспективе уже проглядывали смутные пока очертания будущей японской угрозы — и для России, и для Америки тоже. За

силуэтами тонущих русских броненосцев можно было предугадать расплывчатые миражи Пирл-Харбора...

14 мая отгремела Цусима, а 18 мая Токио обратилось к Рузвельту с просьбой о посредничестве к миру. Не Россия — нет, сама же Япония обнаружила свою слабость, невольно признав, что она больше России нуждается в наступлении мира. Запуганный революцией, Николай II соглашался сесть за круглый стол переговоров, а президент Рузвельт заранее (и очень охотно) накрывал этот стол скатертью в американском Портсмуте...

Цусима! Ленин писал о ней: «Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом...» Из этого беспощадного разгрома вышли, отстреливаясь по бортам, Наши доблестные крейсера. И среди них героическая «Аврора» — с ее легендарной судьбой.

Флагманский броненосец «Миказа», на котором сражался Того, был изуродован при Цусиме до такой степени, что едва тащился на ослабевших машинах. Офицеры японского флота повидали офицеров русской эскадры уже в бараках для военнопленных, теперь им незачем было скрывать от своих противников правды, от них наши моряки узнали, что броненосцы Рожественского стреляли точно и хорошо.

— Если бы ваши снаряды обладали такой же взрывной мощью, как наши, — говорили японцы, — результат сражения мог бы закончиться для нас плачевно. Мы все удивлены стойкостью ваших кораблей, которые были способны продолжать бой, имея страшные разрушения корпусов и пожары в надстройках, когда броненосцы напоминали огромные костры.

— Нам, — отвечали японцам русские офицеры, — лестно это слышать, но... После драки кулаками не машут!

27 июня начались мирные переговоры в Портсмуте. Японцы, предчувствуя конец войны, несколько ослабили режим пленных, офицерам разрешили свободное перемещение по стране. Единственное, что они требовали от пленных, это не сидеть в ресторанах более трех часов, на одежде носить особую бирку. Пользуясь этим, Панафидин объехал множество городов, спрашивая о знакомых и близких — кто уцелел, а кто нет? Он вспомнил, что Игорь Житецкий тоже стремился попасть на эскадру Рожественского... «Что с ним? Неужели тоже погиб?» Узнавал:

— Никто из вас не встречал ли мичмана Житецкого?

— А кто он такой?

— Мичман. Состоял при кавторанге Кладо...

— Что-то мы таких не помним, — отвечали Панафидину в госпитале Майдзуру. — Кладо, правда, был на эскадре, но потом у берегов Англии куда-то исчез. А вашего мичмана Житецкого мы даже не знаем. Впервые о таком слышим...

Наконец Панафидин решился спросить о судьбе эсминца «Громкий», которым командовал его сородич Керн — «дядя Жорж», веселый и бравый капитан 2-го ранга. Ему отвечали:

— Судьба «Громкого» загадочна для всех нас. Об этом эсминце ходят легенды, будто он совершил подвиг, приравненный к подвигу «Стерегущего»... Вы уже были в Киото?

— Нет. Собирался, — сказал Панафидин.

— Так побывайте. Говорят, в Киото есть один уцелевший с «Громкого». Его фамилию легко запомнить — Потемкин...

В древнем Киото, бывшей столице Японии, переживали тяготы плена два адмирала, Рожественский и Небогатов, окруженные своими штабами и флаг-офицерами. Мичман Владимир Потемкин еще не оправился от потрясения, рассказ его напоминал телеграфную ленту, выстреливающую краткие фразы:

— Мы рвались во Владивосток. Нас преследовали. Сразу четыре миноносца. Сначала давали двадцать пять. Попадание в котел. Потянули на семнадцать. Снарядов не стало. Флаг сбило. Керн послал матроса на мачту. С гвоздями и молотком. Флаг прибили к мачте. Намертво... После этого я ничего не помню. Утонул Керн или убило его — не знаю.

Конечно, «дядя Жорж» не уцелел, и стало горько, что он уже никогда не увидит в печати «Панафинский летописец». Здесь же, в Киото, мичман встретил и Сашу Трусова.

— Прошу! — сказал Трусов, открывая тяжкие двери старинного японского храма. — Будете нашим гостем. Кстати, вы не слышали, что творится в Портсмуте? Японцы на улицах болтают, будто мир уже подписан... Проходите. Вот сюда. Смелее.

Внутри храма Хонго-Куди японцы раздвинули по углам своих позолоченных богов, а середину здания отвели для размещения пленных офицеров русского флота. Саша Трусов провел гостя в отдельный закуток, извинился за беспорядок в своей «каюте».

— Садитесь, — сказал он, показывая на раскрытый чемодан. — Решил разобрать свое барахло... Видите? Наследство былоего времени, когда я

фасонил на берегу. Отличный костюм из Гонконга, галстук и манишка с идеальным пластроном, все как надо... Мама очень любила видеть меня нарядным.

— Мама? — переспросил Панафидин. — Я был знаком с вашей матушкой и с вашей сестрой. Мы виделись на вечерах в доме врача Парчевского на Алеутской, где я играл на виолончели. Помню, ваша матушка как-то сказала, что я очень напоминаю ей сына... то есть вас, Александр Евгеньевич.

— Возможно, — согласился Трусов-младший, оглядев Панафицина. — У нас комплекция одинакова... Что вы так смотрите?

— Я смотрю... — сказал Панафидин, перебирая вещи в чемодане. — Я смотрю и думаю. А если я все это заберу у вас?

— Зачем? — удивился Трусов.

— Чтобы передать вашей матушке.

— Каким образом?

— Самым обычным.

— Что вы задумали?

Панафидин примерил чужой воротничок к своей шее:

— Как раз впору! Однажды я бежал из плена... во время войны. Что, если я попробую бежать снова... в дни мира?

Возникла долгая пауза. Потом мичман Трусов быстро покидал в чемодан все вещи своего туалета и захлопнул его.

— Мне тоже приходила в голову такая безумная мысль. Но не хватало решимости... Забирайте все вместе с чемоданом. И вот вам мои деньги. Наверное, пригодятся.

Панафидин спросил как о чем-то обыкновенном:

— Что сказать вашей матушке?

— Пусть ждет. Я скоро вернусь.

— Но я вернусь раньше вас... если мне повезет!

Это был день 23 августа — день подписания Портсмутского мира. Япония переживала такие суматошные дни, столько было драк на улицах, столько демонстраций, митингов и пожаров, что полиции было не до какого-то «акачихе», который вечером погонял дженерикшу в сторону порта Осака...

В порту стояло несколько кораблей, ярко освещенных электричеством,

но Панафидину предстояло определить, какой из них готов отдавать швартовы раньше других. Сейчас у мичмана был только один документ личности — это личная дерзость, которая иногда дороже любого пассажирского билета класса «люкс» (с ванною и двуспальной кроватью). Надо было не суетиться, дабы не привлечь внимания портовых охранников.

— Чем черт не шутит, — сказал себе мичман...

Уверенным шагом человека, знающего себе цену, Сергей Николаевич взошел по сходне французского парохода «Прованс», используя удобный момент, когда провожающие спускались на берег, а пассажиры с берега поднимались на палубу. При этом третий (или четвертый) помощник капитана, еще молодой парень, зазевался на женщин, и Панафидин, минуя его, слегка приподнял над головой котелок. После этого взбежал на променаддек, где фланнировали некие господа с развязными дамами, важно передвигался китайский компрадор, гуляли две говорливые японки. Сейчас мичман благодарил свою мать, обучившую его французскому, и Морской корпус, который безжалостно втемяшил в него прочное знание английского. Поглядывая на мостик, Панафидин заметил, что крышка путевого компаса еще не была откинута, а капитан не спешил опробовать работу машинного телеграфа. Швартовы толщиною в руку человека, свернутые в «восьмерки», по-прежнему оставались завернуты на причальные кнекты. Как можно равнодушнее он обратился к китайскому купцу:

— Кажется, наше отплытие задерживается?

Компрадор прекрасно владел английским:

— Да, полиция Осаки сбилась с ног, разыскивая этих глупых американцев, которые на днях ограбили банк, убив кассира. А куда бежать с деньгами? Только в Шанхай... Потому-то все корабли, идущие в Шанхай, полиция подвергает осмотру.

Панафидин похолодел. Японцы, конечно, откроют его чемодан, в котором скомкано кимоно-хаори с блямбою русского военнопленного. Надо что-то придумать. Но... что? Все эти газетные басни о «зайцах», пересекающих океаны на кучах угля или в трюмах, где пищат крысы, хороши только для дураков, а Панафидин-то знал, что все бункера и трюмы перед выходом в мореочно задраены. Широкая, выстланная арабскими коврами лестница со стеклянными перилами уводила его в низ парохода...

— Чем черт не шутит, — уверенно повторил он.

Панафидин очутился в баре, полутемном и почти пустынном. Небрежно попросил виски. Через широкое окно он видел, что у трапа капитан уже принимал целую свору полиции и чиновников японской таможни. Сразу была убрана сходня, дабы пресечь сообщение с берегом.

Мичман глянул вниз: если прыгнуть с корабля на причал, перелом обеих ног обеспечен — высоко!

Вот теперь он обрел полное спокойствие.

— Еще виски, — сказал он гарсону.

Память мичмана еще хранила запах отвратного супа из перетертой редьки, в ушах не утихали дикие вопли японских грешников в военной тюрьме Фукуока: «Ха-ха-ха-ха...» И вдруг он заметил одиноко сидящую женщину поразительной красоты, которая держала в тонких пальцах бокал с крюшоном. «Где же я видел ее? — обомлел Панафидин. — Неужели это она?..»

Сразу вспомнился жаркий вечер во Владивостоке. Игорь Житецкий, спешивший с телеграфа, холодный кофе глясе в кафе Адмиральского сада... Да, да! Именно в тот вечер неподалеку от них сидела эта красавица, каким-то чудом перенесенная со Светланской улицы в бар французского парохода «Прованс».

Издали он любовался обликом этой незнакомки.

Знания японского языка оказалось достаточно, чтобы понять фразу полицейского, долетевшую с верхней палубы:

— Начинаем обход с этого борта, двигаясь по часовой стрелке, чтобы закончить осмотр в ресторане для пассажиров... Терять было нечего. Панафидин подошел к женщине:

— Я не знаю, кто вы, а вы не можете знать, кто я. Но ваш облик врезался в мою память еще со встречи во Владивостоке. Я офицер русского флота, бежал из японского плена. Если меня сейчас схватят, я буду снова заключен в тюрьму. А я еще молод, мне хочется домой... во Владивосток. Помогите мне.

— Хорошо, — невозмутимо ответила женщина и не тронулась с места, пока не допила крюшон. — Теперь следуйте со мною, — поднялась она, — и рассказывайте что-либо смешное...

Незнакомка провела мичмана в отделение первого класса; одна из смежных кают служила ей спальней.

— Сразу раздевайтесь и ложитесь, — сказала она.

Очень громко щелкнули резинки ее корсета, отлетевшего в сторону, как унитарный патрон от боевого снаряда. В двери уже стучали — полиция! Панафидин затих под пунцовым одеялом, а его спасительница, чуть приоткрыв двери, позволила японцам убедиться в своей наготе.

— Но я уже сплю, — сказала она, и было слышно, как, звеня саблями, японские полицейские проследовали далее...

Наступила тишина. Женщина тихо легла рядом.

— Как вас зовут? — спросил Панафидин.

— Дженини...

За бортом громко всплеснули воду швартовы, отданные с берега, внутри «Прованса» бойко застучала машина.

— Я вам так благодарен, — сказал мичман.

— Все это очень забавно, — ответила Дженини, закидывая руку, чтобы обнять его. — Но во всем этом есть одна незначительная подробность, которая все меняет...

— Что же именно?

— Я никогда не была во Владивостоке...

И, сказав так, она вонзилась в мичмана долгим и пронзительным поцелуем. Это была уже не Виечка — с ее регламентом в три секунды.

Русский консул в Шанхае не выразил восторгов от рассказа мичмана Панафицина о своих приключениях.

— Не понимаю, ради чего вам пришло в голову рисковать, если мир уже подписан? Через месяц-другой вы были бы депортированы на родину в официальном порядке. Все русские любят взламывать двери, которые легко открываются обычным поворотом ручки. Впрочем, садитесь, господин мичман...

Он сказал, что известит посольство в Пекине о его появлении, денег на дорогу выдал только до Владивостока:

— Как-нибудь доберетесь. Желаю доброго пути...

Владивосток ничуть не изменился за время его отсутствия. Но Скрыдлова не было, адмирала отзвали в Петербург для работы в Главном морском штабе, вся морская часть теперь подчинялась Иессену. Сергей Николаевич решил, что сначала ему надобно навестить вдову капрранга Трусова.

Конечно, предстояло выдержать очень тяжелую сцену, но Панафидин принес в дом Трусовых и радостную весть для матери — ее сын жив, вот его чемодан, вот на мне, сами видите, его же костюм, возвращаю его любимый галстук. Вдова не стала выпытывать у него подробности гибели мужа на мостице «Рюрика», за что Панафидин остался ей благодарен.

— Эти проклятые крейсера, — сказала она за чаем. — Недаром я всегда их боялась. Холодные, железные, страшные, негде повернуться от тесноты... Куда же вы теперь, мичман?

— На крейсера! — отвечал ей Панафидин.

Иессен встретил мичмана приветливо:

— Но я должен сразу предупредить вас, что русский флот пережил такую страшную катастрофу, после которой не осталось кораблей, зато образовался излишек офицеров. Вакансий нет! Впрочем, — добавил контр-адмирал, — я не стану возражать, если кто-либо из командиров крейсеров похлопочет передо мною о зачислении вас в экипаж сверх штата...

Флагманская «Россия» тихо подымливалась на опустевшем рейде, но там был уже другой командир; «Громобой» попал в капитальный ремонт, а из впадины дока еще торчали мачты «Богатыря». В отделе личного состава сидел незнакомый каперанг и чинил гору исписанных карандашей, вкладывая в это дело всю свою широкую русскую натуру. Казалось, навали тут карандашей до колена, он их все перечинит. Панафидин сказал, что, очевидно, сейчас существует некая «очередь» на крейсера, а потому он согласен, чтобы его в этой «очереди» учитывали:

— Я бежал из плена. И чист аки голубь.

— Вот вы бегаете, а нам лишние хлопоты. Я вас на учет не могу поставить, пока не придут документы.

— Откуда?

— Из Японии, конечно. Надо же нам знать, сколько вы там пробыли, чтобы соблюсти законность в жалованье. Плохо, что вы не дождались организованной отправки на родину.

— Чем же я виноват, что стремился на родину!

— Могли бы и потерпеть. Теперь же до прибытия из Токио нужной документации я вас в экипажи крейсеров не запишу... Панафидин пошел к дверям, но вернулся:

— Простите, что отрываю вас от серьезного дела. За предпоследний поход на «Рюрике» я был представлен к Владимиру... кажется, даже с мечами и бантом. Что в Петербурге? Утвердили там мое представление к ордену или нет?

— Насколько мне помнится... Как ваша фамилия?

— Панафидин. Сергей Николаевич Панафидин.

— Нет. Ваше имя мне не встречалось...

Мичман вышел из штаба на Светланскую как оплеванный. В самом-то деле! Стоило ли ему так мучиться, дважды совершив побег, чтобы здесь, уже дома, с разбегу напороться на острые копья бюрократических карандашей? Очень не хотелось бы ему обращаться к помощи Стеммана, но все-таки, пересилив себя, он поехал в доки. «Богатырь» тяжко осел днищем на

распорках киль-блоков, пробоины в его корпусе, заживленные деревом, требовали покрытия листовой сталью, которой — увы! — на складах порта не оказалось. Крейсер, когда-то образцовый чистюля, теперь выглядел захламленным, красные пятна ядовитого суртика на его бортах казались незабинтованными ранами...

— Да, да, войдите! — отозвался на стук Стемман.

Под стать крейсеру выглядел и командир его, еще больше облысевший, увядший, с мешками под глазами. Одетый в будничный китель, каперанг как-то померк среди убранства своего салона, где от старых времен еще гордо сверкали зеркала, лоснился лионский бархат постельных ширм и обивки мебели.

— Догадываюсь, зачем пожаловали, — сказал Стемман.

— Нетрудно и догадаться, Александр Федорович: я молод, и, пока молод, надо делать карьеру. Я не стыжусь этого слова, ибо не карьерист, но каждый офицер нуждается в службе.

— И решили вернуться на мой «Богатырь»?

— Если посодействуете в возвращении.

Стемман сказал, что это не от него зависит:

— Кают-компания, к сожалению, не резиновая. Если вас принять, значит, кого-то надо выкинуть на берег.

— Печально... Неужели мне, молодому офицеру, теперь много лет ожидать, когда Россия восстановит и отстроит свой флот?

Стемман поднял над столом руки — как бы в раздумье и резким жестом опустил их на подлокотники кресла: шлеп!

Вопрос его был совершенно неожиданным:

— А... ваша виолончель? Так и погибла с «Рюриком»? Панафидин рассказал, при каких обстоятельствах она была расколота форштевнем японского крейсера «Адзумо».

— А-а, — улыбнулся Стемман, — на «Адзумо» был командром Фудзи... когда-то мой приятель. Мы немало с ним выпивали в Нагасаки... перед войной, конечно. Как он теперь выглядит?

Панафидин неожиданно обозлился.

— Лучше вас, — ответил нервно...

Он как-то по-новому взглянул на Стеммана. Перед ним сидел человек, явно удрученный тем, что война, от которой он ожидал адмиральского «орла» на эполетах, жаждал орденов и почестей, эта война обернулась для него крахом. От каперанга остался мелочный обыватель, который слишком долгоостоял в очереди у кассы, но получил меньше, нежели рассчитывал получить. Однако фразу мичмана о том, что Фудзи выглядит «лучше вас»,

Стемман хорошо понял, а потому решил отомстить.

— Знаете, — вдруг сказал Стемман, — мне очень жаль вашу прекрасную виолончель. Но еще больше я жалею вас... Вы очень ретиво рвались с моего «Богатыря» на «Рюрик», а теперь после «Рюрика» вернулись к моему разбитому корыту. Мне жаль вас... очень, — повторил Стемман, злорадствуя. — Вы напоминаете сейчас мужа, который, разведясь с женою, снова молит ее о прошлой любви. Будь вы разумнее, вы у меня стали бы теперь лейтенантом. И наверное, играли бы по вечерам на виолончели в доме господина Парчевского...

Панафидина даже передернуло от оскорбления.

— Позвольте откланяться? — поднялся мичман.

— Не смею задерживать... хе-хе-хе!

Нехорошие мысли одолевали мичмана после визита в доки. Консул в Шанхае, точильщик карандашей в штабе, наконец, язвительный Стемман — никто не сказал ему даже спасибо за все, что пришлось ему претерпеть, и, кажется, его побеги из плена готовы поставить не в заслугу, а в вину ему, будто он нарушил требования устава. Не зная, куда уйти от самого себя, Панафидин заглянул в нотный магазин братьев Сенкевичей, которые улыбались мичману через стекло витрины.

— Не желаете ли посмотреть у нас кое-что новенькое? Вот Скрябина прислали из Москвы, вот и Рахманинов... Все самое последнее. Отличные издания — фирмы Юргенсонов.

Панафидин небрежно перелистал ноты:

— Спасибо. Но я осиротел... увы, это так.

Стало еще гаже. Подумалось — не лечь ли в госпиталь да от чего-нибудь полечиться? Медицина штука такая: ляжешь на больничную койку, и болезни сразу найдутся. Погруженный в такие невеселые мысли, Панафидин вышел на звуки воинственного марша, доносившегося из зелени Адмиральского сада. В кафе он уселся под зонтиком. Как и в прошлый раз, заказал для себя кофе глясе. Было ему неуютно, неприкаянно, одиноко. Рассеянно обозревая публику, мичман вдруг вскочил, едва не обрушив коленями хилый столик...

Да! Как и в прошлый раз, она была здесь.

Женщина ослепительной красоты в одиночестве пила лимонад.

Но теперь-то он знал ее имя. Наконец он имел на нее мужские права...

Панафидин решительно подошел к ней:

— Дженни! Какое счастье, что я снова вас встретил. Нет слов, чтобы выразить все те сложные чувства, которые вы сумели внушить мне...

Красавица, не дослушав, стала громко кричать:

— Миша... Миша! Скорее сюда... ну где же ты?

К ним уже подходил солидный кавторанг в белом мундире и белых брюках, в штиблетах из белой кожи.

— В чем дело, моя прелесть? — спросил он, картавя.

— Стоило тебе отойти, и вот этот мичман... вдруг делает мне какие-то странные намеки. Будто я... о ужас!

Кавторанг пощипывал бородку стиля «де-катр».

— Объяснитесь. Или вы знакомы с Зинаидой Ивановной?

Панафидин и сам не знал, что тут можно объяснить:

— Видите ли, я недавно из Осаки плыл в Шанхай... конечно, без билета. Но в первом классе французского парохода «Прованс». Вряд ли ошибаюсь! Возможно ли такое совпадение?

— Какой Шанхай? — возмутился кавторанг. — Какое совпадение? Золотко мое, когда ты успела побывать в Шанхае?

Красавица даже обиделась:

— Да что я... сумасшедшая? Никогда не была в Шанхае и никогда не буду. Что мне там делать?

Панафидин в полном изумлении поклонился ей:

— Простите, тогда я ничего не понимаю.

— Я тоже, — сказал кавторанг, — отказываюсь понимать, на каком основании вы кидаетесь к dame с неприличными намеками. В конце-то концов, мне лучше знать, где бывает моя жена...

Панафидин то бледнел, то краснел от стыда:

— Я приношу вам, господин капитан второго ранга, самые глубочайшие извинения. Но ваша супруга до умопомрачения схожа с той дамой, которую я сопровождал до Шанхая...

— До Шанхая из Осаки? — спросил кавторанг.

— Так точно!

— А как вы туда попали?..

Панафидин кратко изложил одиссею своих злоключений, и кавторанг, явно заинтересованный, протянул мичману руку:

— Беклемишев Михаил Николаевич, честь имею... во Владивостоке командую подводными лодками, которые я сам и доставил из Петербурга на железнодорожных платформах. Бог с ним, с этим Шанхаем... Садитесь, мичман. Побеседуем...

Беседовать с Беклемищевым было одно удовольствие. Он оказался человеком высокой культуры, технически грамотным, на уровне последних достижений науки. Михаил Николаевич был фанатиком подводного плавания, считавшим, что будущее морских войн — удар из-под воды! Панафидин поговорил с кавторангом минут двадцать и сам загорелся желанием нырнуть в неизведанные гибельные бездны.

В ответ на его невеселый рассказ о мытарствах с крейсерами Беклемищев посочувствовал:

— Да, это тяжко, тяжко... согласен. Давайте сделаем так. — Он потянул из кармана золотые часы, щелкнул крышкой. — Зиночка, ты хотела совершить вояж по магазинам, это очень мило с твоей стороны. А мы с Сергеем Николаевичем, пока ты занята дамскими делами, совершим увлекательную прогулку...

Прогулка закончилась на транспорте «Шилка», вокруг которого покачивались 13 подлодок: «Скат», «Форель», «Налим», «Сом», «Палтус» и прочие, сверху чем-то похожие на большие галоши. Беспокойно было всюду видеть бидоны с бензином, украшенные зловещими надписями:

«Одна папироса — твоя смерть!»

— Не буду скрывать от вас, — сообщил Беклемищев, — что офицерскую публику воротит от моих подлодок, как от хорошей кастрюки. Все согласны плавать хоть на землечерпалках, только бы не видеть этих железных гробов, которые частенько тонут, горят и взрываются... Зато у нас полно вакансий!

— Я согласен. Тонуть. Гореть. Взрываться.

— Вот и отлично. Не пройдет и полугода, как я вам обещаю чин лейтенанта. Договоримся так. Сегодня у нас... что?

— Понедельник.

— До субботы вы погуляйте. А в конце недели затралим адмирала Иессена в кабинет и... все уладим. Кстати, — спросил Беклемищев, — сколько хотели бы вы получать жалованья?

— Как это сколько? — не понял вопроса мичман.

— А так... называйте любую сумму, и эту сумму вы будете иметь от казны ежемесячно. Ведь в морском министерстве нам выплачивают независимо от чинов на основании известного приказа: «Подводникам платить сколько они пожелают, потому что все равно они скоро все потонут или взорвутся...»

Сергей Николаевич остался человеком скромным:

— Можно рублей... ну хотя бы сорок.

— Так и запишем: четыреста рублей в месяц на всем готовом...

Предрекаю: на подводных лодках вас ждет удивительная жизнь и быстрая карьера! — обещал Беклемишев.

— Не сомневаюсь, — бодро отвечал Панафидин.
Будущее вдруг обрело небывалую ясность.
И весь мир озарился волшебным чарующим светом...

Пока суд да дело, Панафидин селился в номерах общежитии при Морском собрании, где обитали неприкаянные офицеры флота, потерявшие корабли и ждущие свободных вакансий. Расхватывали все должности, согласные идти хоть на портовые буксиры, чтобы толкать по рейду баржи с песком и камнями... Известие о том, что Панафидин позволил кавторангу Беклемишеву увлечь себя, они встретили без зависти:

— Тут и на воде-то не знаешь, как удержаться, а вы еще под воду полезли. Да ведь у Беклемишева на «Шилке» собирались отпетые — вроде клуба для самоубийц... Еще пожалеете!

Лейтенант с крейсера «Новик» (который, подобно «Варягу», взорвался у Сахалина) весь день терзал гитару:

В проливе чужом и далеком,
Вдали от родимой земли,
На дне океана — глубоко
Забытые спят корабли...

Из окон виделся рейд, и флагманская «Россия» по-прежнему держала котлы «на подогреве» — в боевой готовности. Между кроватями слонялись без дела офицеры, а в углу солидные механики с утра до ночи распивали пиво. Оттуда слышалось:

— У меня приятель! Такой сукин сын, не приведи бог. Уже запатентовал в Питере свое изобретение. Особый пресс для гладжения брюк. Матросня по субботам с утюгами по кораблям мечется. А тут сложил сразу дюжину, под пресс сунул — дерг, и готово! Складки, пишет, получаются идеальные. На выставке «Лиги обновления флота» сам государь император выразил ему высочайшее внимание... Теперь за этот патент он оторвет!

Панафидин зевнул. Конечно, никто не спорит: складки на штанах необходимы, но если «Лига обновления флота» начала возрождение флота со штанов, то эти господа офицеры еще не скоро дождутся свободных

корабельных вакансий. А на соседней койке лейтенант с «Новика» припадал к гитаре:

Там мертвые спят адмиралы
И дремлют матросы вокруг.
У них прорастают кораллы
Меж пальцев раскинутых рук...

Мичману все надоело. Решил прогуляться. Надел свежий воротничок с лиселями. Прицепил кортик. Взял в руку перчатки.

— Вы не знаете, что сегодня в Морском собрании?

— Лекций никаких, — ответил сосед. — Библиотека открыта. Ну и ресторан, как водится... не без этого!

На улице мичман купил с лотка пачку папирос «Дарлинг» (10 штук — 20 копеек), прочел на коробке стишата: «С тех пор как „Дарлинг“ я курю, тебя безумно я люблю». На минуту Панафидин представил себе поэта, который, содрогаясь в муках творчества, надеется заработать трешку на пропитание. Черт побери! Один соблазнил императора складками на штанах, другой убедил табачного фабриканта в своей гениальности. Каждый сверчок старается занять свой шесток.

В библиотеке Морского собрания он просмотрел последние газеты, ничего не выделив из них примечательного, кроме того, что южная часть Сахалина уступалась японцам, а Витте, сделавший японцам эту уступку в переговорах, получал титул графа. Ну что ж! Был князь Потемкин-Таврический, был Суворов-Рымникский, был князь Кутузов-Смоленский, теперь русский народ осчастливили явлениями «графа Полусахалинского».

— Мне смешно, — без смеха сказал мичман.

Перед матросом-калекою, служителем библиотеки, Панафидин выбросил на поднос рубль.

— Спасибо, ваше благородье. — Матрос поклонился ему. — Кормиться-то надо...

Мичман проследовал в ресторан и в дверях ресторана, почти нос к носу, столкнулся с Игорем Житецким, который обдал его запахом лоригана, а идеальный пробор в прическе Житецкого лоснился от превосходного бриллиантина.

Друг гардемаринской юности широко распахнул объятия:

— О, Сережа! Милый ты мой, как я рад... Панафидин даже отступил назад — в удивлении:

— Ты? А я ведь, Игорь, искал тебя.

— Где?

— По всей Японии, среди пленных с эскадры адмирала Рожественского. Но не нашел... Кладо тоже не обнаружился.

— А меня на эскадре и не было, — спокойно ответил Житецкий. — Неужели я такой дурак, чтобы влезать в эту авантюру? Николай Лаврентьевич тоже не верил в успех Зиновия.

— Но ехали-то вы на эскадру Рожественского.

— Мало ли что! Важно было уехать... Что мне здесь в этой дыре? А в Питере жизнь бьет ключом. Такие перспективы... захватывающие! Именно теперь, когда от флота остались разбитые черепки, кому, как не нам, молодежи, делать карьеру? Ведь уже ясно: старики опростоволосились при Цусиме, на смену этим архивным дуракам приходит новое поколение... такие, как мы!

Только сейчас Панафидин заметил на плечах Житецкого эполеты лейтенанта, а на груди приятеля, подле Станислава, посверкивал эмалью и орден Владимира (правда, без мечей).

Стукнув ногтем по ордену, спросил:

— За что?

Житецкий прикинулся наивным юношем:

— Даром не дают. Делали для победы все, что могли. Не всем же стрелять из пушек... Ну, ладно. Об этом потом. Ты сюда? — Он показал в зал ресторана. — Тогда мы еще увидимся...

Панафидин засел в углу ресторана перед бутылкой коньяку. Старая обида ворочалась в душе, почти физически ощущимая. Конечно, зависть ни к чему, но... «Уже лейтенант!»

— Ладно, — сказал он себе, залпом выпивая две рюмки подряд. — Черт с ними со всеми. Поныряю на подлодках с полгода и заслужу эполеты лейтенанта... честно!

Вернулся в ресторан Житецкий и, проходя мимо, с дружеской лаской обнял его за плечи:

— А чего ты в углу? Пойдем за наш столик. У меня там своя компания. Собрались люди полезные... для тебя тоже.

Панафидин до краев наполнил третью рюмку.

— Игорь, ради чего ты вернулся во Владивосток?

— А ты не догадываешься, дружище?

— Признаться, нет.

— Я приехал свататься к Вие Францевне. Можешь считать, что приглашение на нашу свадьбу тобою уже получено... Коньяк глухо шумел

в голове мичмана.

— Поздравляю... приданое богатое, не правда ли?

На лице Житецкого отразилась гримаса отвращения:

— Дело не в деньгах, и ты меня хорошо знаешь. Дело в чувствах, а Вия Францевна давно испытывает их ко мне.

— А ты?

— Что я?

— Испытываешь?

— Безусловно. Чувства проверенные. И временем. И расстоянием. Ну, пошли, пошли, — тянул он Панафицина за свой столик. — Собрались свои люди. Вон, видишь и капреранг Селищев из отдела личного состава. Если у тебя трудности с вакансией, мы сейчас за выпивкой все и обсудим...

В названном Селищеве мичман узнал того типа, который энергично и здравомысляще затачивал штабные карандаши.

— Иди к ним, — сказал он Житецкому. — Я потом...

Конъяк электрическими уколами осыпал его тело. В шуме множества голосов он улавливал тенор Житецкого:

— Господа! Каждый индивидуум на Руси — кузнец своего счастья. Если вы хотите иметь успех в жизни, постарайтесь заранее выбрать себе хороших родителей, дабы еще в эмбриональном состоянии ощущать всю прелест будущего бытия...

— Браво, Житецкий, браво! — поддержал его Селищев.

Панафидин рывком поднялся из-за стола. По прямой линии, никуда уже не сворачивая, мичман двинулся на таран этой компании хохочущих негодяев и, устремленный к цели, почти сладостно содрогался от праведного бешенства...

— Сними! — велел он Житецкому, подходя к нему.

— Что снять?

— Вот это все — и эполеты и ордена.

За столиком стало тихо. Ресторан тоже притих.

Панафидин, ощущив общее внимание, уже не говорил — он кричал:

— Ответь! Почему всем честным людям на войне всегда очень плохо и почему подлецам на войне всегда хорошо? Лицо Житецкого стало серым, почти гипсовым.

— Ну, знаешь ли, — пытался он отшутиться. — Это уже не благородный флотский «гаф», а скорее обычное «хрю-хрю».

Панафидин вцепился в его ордена и сорвал их.

— Мерзавец, подлец... Тебе ли носить их? Там, далеко отсюда, погибли тысячи... и даже креста нет на их могилах! Только волны... одни

лишь волны...

...Утром Панафидин был разбужен незнакомым лейтенантом с большим родимым пятном на щеке.

— Я тревожу вас по настоянию Игоря Петровича, моего давнего друга. Очевидно, мне предстоит быть его секундантом, и я прошу вас, господин Панафидин, озабочиться подысканием человека для секундирования вам. Желательно из дворян, чтобы поединок носил благородный характер. Вы меня поняли...

Когда в странах Европы дуэли вышли из моды, в монархической России поединки были искусственно возрождены, закрепленные в быту офицерского сословия особым указом от 18 мая 1894 года. Русское законодательство продолжало считать дуэли преступлением, но было вынуждено оправдывать офицеров, тем более что отказавшиеся от поединка удалялись в отставку без прошения...

Панафидин сел на дежурный катер, который подрулил к борту флагманской «России», отыскал лейтенанта Петрова 10-го.

— Извините. Давно помню ваш номер по спискам Петровых на флоте, но память не удерживает вашего имени-отчества.

— Алексей Константинович, — назывался Петров 10-й.

— Алексей Константинович, мне нужен секундант для дуэли, и я решил, что вы не откажете мне в этой услуге. Я вас знаю как мужественного человека, вместе с вами я не раз «призовал» японские корабли. Наконец, вы мне просто симпатичны.

— Благодарю за честь, — сказал Петров 10-й, тяжело вздохнув. — При всем моем уважении к вам лично я отказываюсь секундировать вас, ибо являюсь убежденным противником дуэлей, в которых торжествует не доказательство истины, а лишь случайный каприз выстрела. Но если бы и был сторонником дуэлей, я все равно отказал бы вам...

— Почему?

— Поймите меня правильно и не сердитесь. Дуэль в любом случае вызовет расследование, секундантов обязательно притянут в штаб к Иисусу, а там, чего доброго, глядишь, и с флота выкинут.

А я, — сказал Петров 10-й, — слишком дорожу службою на крейсерах. Наконец, я семейный человек... дети!

Панафидин не стал настаивать:

— Извините...

— Впрочем, желаю успеха, — проводил его Петров 10-й. Мичман не обиделся и посетил «Шилку», где его внимательно выслушал капитан 2-го ранга Беклемищев.

— Это совсем некстати! — огорчился он. — Но отказаться от вызова, я понимаю, вы не можете. Согласен помочь вам в этом дурацком занятии. Тем более что кому-кому, а мне-то отставка не грозит. Ибо на мое место охотников нету...

Он спросил о месте и времени дуэли.

— Утром в пятницу. На речке Объяснений.

— Это в самом конце Гнилого Угла?

— Да, именно так.

— Ну, хорошо, — сказал Беклемишев. — Я вас не подведу...

В оружейном магазине Лангелитье секунданты под залог в сто рублей взяли «напрокат» старомодный футляр с дуэльными пистолетами. По правилам кодекса о поединках противникам достанется оружие по жребию.

Как показало следствие, Беклемишев сказал лейтенанту с родимым пятном на щеке:

— Судьба людей в наших руках! Давайте сдвинем мушки на один миллиметр в сторону, чтобы они промахнулись оба... Об этом будем знать только вы и только я!

Но секундант Житецкого возроптал:

— Поединок — дело чести. Как же вы, дворянин старого рода, можете предлагать мне подобные фокусы?

Беклемишев ответил ему с надрывом:

— Да ведь миллиметр решает жизнь человеческую. Вы, лейтенант, наверное, еще не смотрели смерти в лицо, и потому вам трудно меня понять. Если бы ваша биография сложилась иначе, вы бы согласились сбить мушки даже на целый сантиметр...

Панафидин до четверга не испытывал никаких волнений, нормально спал, с аппетитом обедал, а все предстоящее на речке Объяснений казалось ему какой-то ерундой. В самом деле, ему ли, пережившему страшную бойню крейсеров возле Цусимы, бояться черного «зрачка» дуэльного пистолета?

В пятницу он привел себя в порядок, не спеша побрился, нанял извозчика и поехал в Гнилой Угол.

В конце Ботанической улицы его заметил из окна бедный старик Гусев.

— У меня новые каденции! — помахал он ему скрипкой. — А куда вы

в такую рань?

— По делам.

— Так заходите. У меня есть что сказать.

— Обязательно! Потом заеду...

Извозчик задержал лошадей в конце Гнилого Угла.

— Тпру, с вашей милости четыре с полтиной.

— Чего так дорого, братец?

— А ныне все подорожало. Овес тоже.

— Ну, ладно. Подожди. Скоро поедем обратно...

На обширной поляне, с которой была видна бухта Золотой Рог, все были в сборе. Житецкий ходил поодаль, часто посматривая на небо.

Лейтенант с родимым пятном на щеке решительно шагнул к Панафидину, держа руки с пистолетами за спиной.

— В какой руке? — спросил он.

— Мне все равно. Давайте хоть в правой...

Беклемишев выглядел сегодня неважко. Он нервно шевелил на груди золотую цепочку от часов и этим напомнил кузена Плазовского, любившего теребить шнурок от пенсне.

— Напомню о правилах, — сказал Беклемишев. — Дистанция двадцать пять шагов. Срок четыре секунды. Стрелять можете между устным счетом: «раз, два, три — стой!» Все понятно?

— Благодарю, — отозвался Панафидин.

Его и Житецкого развели по концам поляны.

Велели стать спинами друг к другу.

Затем раздалась команда:

— Можете повернуться лицом... сходитесь!

Высокая влажная трава путалась под ногами.

С неба кричали чайки: «Чьи вы? Чьи вы?»

Методичный диктат времени:

— Раз... два... три... стой!

Панафидин застыл. Выстрел был ослепляющим.

Житецкий опустил руку с пистолетом:

— Видит бог, я не хотел ему зла...

Панафидин долго еще стоял недвижим.

Потом вздохнул, глубоко заглатывая чистый утренний воздух. Стал оборачиваться куда-то в сторону и упал на бок.

Он был еще жив, и для него не успела померкнуть синева гавани. Его еще ослеплял белый камень волшебного русского города. Панафидин упрямо смотрел в сторону рейда, с которого однажды ушли крейсеры, но

обратно они не вернулись.

Остался лишь один, и он узнал своего флагмана.

— «Россия», — прошептали губы, мертвяя.

В кармане его мундира нашли выписку из какой-то книги: «Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна. Она вечна. Она несокрушима...»

«Панафидинский летописец» был опубликован в Москве через десять лет после его гибели.

Могила мичмана была забыта и безжалостно затоптана временем, как и могилы его предков.

С тех пор прошло много-много лет...

На жестком грунте, словно водруженный поверх нерушимого пьедестала, крейсер «Рюрик» остался для нас вечным памятником русского героизма. Над ним, павшим в смертельном бою, сейчас стремительно проходят новые корабли новой эпохи с экипажами новых поколений.

Над могилой «Рюрика» советские крейсера торжественно приспускают флаги, и тогда гремят салюты в его честь!

Корабли — как и люди, они тоже нуждаются в славе, в уважении и в бессмертии... Вечная им память!

Но даже у погибших кораблей тоже есть будущее.